

**Набоков  
Плевицкая  
КИНО**



сценарии

**КИНО** №2

Als das  
Wusste es nicht,  
dass es Kind war,  
alles w



«Небо  
над  
Берлином»



**ЧИТАЙТЕ**

**В НОМЕРЕ**

**КИНО** СЦЕНАРИИ № 2

**ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ**

**Владимир НАБОКОВ**

**Помощник режиссера**

**Вим ВЕНДЕРС  
Петер ХАНДКЕ**

**Небо над Берлином**

**Петр ЛУЦИК  
Алексей САМОЛЯДОВ**

**Дикое поле**

**Григорий ГОРИН**

**Записки Брата Лоренцо**

**Иван ОХЛОБЫСТИН**

**Урод**

**Василий КАТАНЯН**

**Сережу или  
Страсти по Параджанову**

**Валерий ФРИД**

**58 1/2**

**Эдуард ТОПОЛЬ**

**«Асины рассказы»**

**Алексей САМОЛЯДОВ**

**Сказки**

Журнал издается  
с 1973 года

Учредители:  
Комитет кинематографии при  
правительстве Российской Федерации  
Конфедерация Союзов  
кинематографистов



А. Чанцев

## ЯКОБЫ КИНО (про Плевицкую)

**Р**ассказ Владимира Набокова «Помощник режиссера» написан с обычным набоковским лукавством в форме то ли сценария, который рассказчик, сменивший профессию и, может статься, — кто знает? — решивший податься в кино, пока еще только примеривает к съемке, проверяя на слушателях (то есть на нас с вами) ритм и связь будущих эпизодов, то ли скорей рецензии с подробным пересказом некоего фильма голливудской выделки, тоже, впрочем, едва ли существующего в реальности, — этот рассказ нуждается в нескольких фактических пояснениях, что, хотел бы надеяться, оправдывает появление данных вступительных заметок, совершенно излишних в любом другом случае.

За исключением жизнеописания Чернышевского в «Даре», этот рассказ о певице Надежде Плевицкой (у Набокова — Марии Слав-

кой), кажется, единственная вещь писателя, имеющая документальную основу, на чем, кстати, он сам настаивал, говоря, что рассказ «основан на действительных фактах», хотя и не оговаривал, что многие факты тракуются им по-набоковски вольно. Видимо, рассчитывал на нашу догадливость, ибо произвольная трактовка часто заключает в себе больше правды, нежели сама правда, особенно если, как в биографии Плевицкой, установить правду и меру, так сказать, ее правдивости представляется делом затруднительным.

Помещенный на обложке снимок Плевицкой, отражающейся в зеркале, прекрасно иллюстрирует эту тему, поскольку, как сказано в одном псевдомистическом романе, зеркало отражает далеко не все. (Шутка, разумеется.)

А если серьезно, то задолго до криминальной истории, послужившей Набокову сюже-

## ДЕЛО ПЛЕВИЦКОЙ (сентябрь 1937 — декабрь 1938)

**Краткий обзор по страницам русских изданий в Париже: журналисты эмиграции о следствии и суде, вынесшем обвинительный приговор, но так и не установившем истину.**

### 1. Загадочное исчезновение ген. Е.К. Миллера

Сенсационное событие взволновало русскую колонию, поразив изумлением весь Париж. Ген. Е.К. Миллер, председатель РОВСа, исчез в обстановке, напоминающей похищение его предшественника, ген. А.П. Кутепова, в январе 1930 года... Ген. Е.К. Миллер пропал без вести в среду, 22 сентября, в 12 ч. 30 м. дня.

В ночь со среды на четверг, в 3-м часу утра, в не менее загадочной обстановке исчез ген. Н.В. Скоблин, командир Корниловского полка.

А вчера с утра (т.е. в четверг, 23-го) распространился слух, что исчезла без вести и жена ген. Скоблина, известная певица Н.В. Плевицкая.

Обстоятельства исчезновения ген. Е.К. Миллера были таковы, что в ночь со среды на четверг поднята была на ноги вся французская полиция... Дознание велось в секретном порядке. В

том, в Плевической уже ощущалось что-то неуловимо странное, как бы, пожалуй, не совсем реальное — в видимом противоречии с несомненностью тяжкой стати русской красавицы и аляповатой наглядностью ее сценического облика (все эти, знаете, сарафаны и кокошники с бутафорским узорочьем).

Она была родом из крестьян деревни Винниково Курской губернии, где появилась на свет божий в 1884 году. В 14 лет якобы поступила послушницей в Троицкий монастырь, вскоре (опять-таки якобы) сбежала оттуда с бродячим цирком, а еще какое-то время спустя прибилась к путешествующему хору, где и сама начала петь. За несколько лет объездила пол-России, испытав, скажем так, всякое, о чем впоследствии не распространялась.

Все, что известно, известно главным образом из весьма неискренних и скучных воспоминаний, уже в эмиграции записанных с ее слов ее горячим поклонником писателем Иваном Лукашом, кстати, берлинским приятелем Набокова, который изобразил его в романе «Подвиг» под именем беллетриста Бубнова. И все это не так любопытно само по себе, как из-за удивительного, я бы сказал — типологического, сходства со столь же недостоверно экстравагантной биографией другого идола «из народа», осенившего своей тенью последние годы монархии, — разумеется, Распутина, чье имя промелькнет в набоковском тексте, а для понимания Набокова важно помнить, что он никаких имен не упоминал зря.

К началу 10-х годов Плевическая, несомненно, стала чем-то наподобие идола или, если

выразиться помягче, символа русской нации. На ее концертах творилось безумие. Не только она Шаляпину (как у Набокова), Шаляпин тоже дарил ей свои фотографии: «Моему родному Жаворонку, Н.В. Плевической. Сердечно любящий...». Раз или два Плевическая пела царю, и он, говорят, плакал, слушая ее пение. Рассказчик в «Помощнике режиссера» напрочь отказывает ей в таланте, хотя не думаю, чтоб Набоков полностью согласился с ним. Мы же, во всяком случае, имеем массу свидетельств, заставляющих верить, что пение Плевической было и впрямь чем-то единственным в своем роде (как единственным в своем роде был и Распутин). «Очаровательно соединение чрезвычайного примитива поэзии и музыки с тончайшей деликатностью акцента, — писал о ней Александр Кугель, один из умнейших критиков эпохи. — Она вся «чуть-чуть»: чуть-чуть стонет сизым голубком, чуть-чуть воркует, чуть-чуть дразнит, чуть-чуть пугает... Все в ней «народно» в истинном и самом «стилизованном» смысле слова... «Хочется быть русским», когда слушаешь Плевическую, и совсем этого не хочется, когда гуляют националисты».

(Замечание Кугеля о «стилизованности» как высшем проявлении «народности» в канун национальной катастрофы может, пожалуй, навести на размышления тех, кто хотел бы понастоящему разобраться в искусстве и судьбе Плевической.)

В годы мировой войны Плевическую боготворили на фронтах, где она часто выступала в костюме сестры милосердия (белый фартук с красным крестом). Вероятно, она сумела по-

---

судебной полиции и учреждениях министерства внутренних дел директора департаментов и комиссары воздерживались от каких-либо заявлений. Розыски не дали пока результатов.

## **2. Н.В. Плевическая объявилась [24 сентября]**

В 10 ч. утра пропадавшую безвестно в течение суток Н.В. Плевическую встретил в Галлиполийском собрании кап. Григуль, быв. адъютант ген. Скоблина. Артистка заявила, будто узнала только что из «Последних новостей», что ее разыскивают французские власти.

— Где же вы были вчера? — спросил кап. Григуль. С жестом отчаяния, едва держась на ногах, Н.В. Плевическая ответила:

— Целый день бродила по улицам. Я не знала, что думать, искала мужа, а где его искать, сама не понимала. Я была как безумная. На каждом углу мне казалось, что вот я его сейчас увижу. Когда больше сил не было, я пошла к д-ру Ч. Это было уже перед вечером. Звонила, звонила, никто не отвечал... Тогда я опять пошла бродить по улицам... Что же вы еще хотите от меня? Я искала, с кем посоветоваться, хотела, чтобы меня успокоили. Я не могла оставаться одна.

На следующее утро, 25-го, задержанной Плевической было предъявлено обвинение в «соучастии в похищении и насилии», повлекшее за собой арест и препровождение арестованной из здания судебной полиции на набережной Орфевр в женскую тюрьму Птит Рокетт.

чувствовать (или изобразить, что чувствует) войну так же, как ее чувствовал или хотел бы чувствовать сам народ. Хотя эта сложная материя, конечно, не для краткого разговора.

В 1918 году ее очередной муж, «бывший офицер», был мобилизован в Красную Армию; она же, вероятно, в качестве любящей жены, а может, и в каком-то ином последовала за ним и оказалась «с красными». Уже на суде в Париже, защищаясь от обвинений в давнем большевизме, она заявила, что большевиков всегда ненавидела, и, более того, узнав об убийстве царской семьи, дала какой-то советской газетке интервью со словами любви и благодарности о Николае. Что касается интервью, то это было несомненное вранье, а насчет ненависти, что ж, могло быть и так и эдак. Достоверно известно, что на афишах ее концертов в красноармейских частях она именовалась «красной матерью». В остальном полтора года ее советской жизни представляя собой белое пятно.

Вам предстоит прочесть у Набокова не имеющую отношения к «биографии» весьма поэтичную версию появления Плевицкой у денкинцев, продиктованную глубинным набоковским замыслом, о коем умолчу, дабы не лишать вас предстоящего удовольствия. Как оно было на самом деле, тоже в общем-то неизвестно. После ареста Плевицкой в Париже в 1937 году русские парижане стали допытываться, каким, собственно, образом она вообще очутилась в эмиграции. Никто ничего не помнил. Не знали? Или забыли? Только один бывший денкинский кавалерист рассказал

газете, как летом 1919 года их разведка ворвалась в какую-то деревеньку под Фатежом близ Курска, где и захватила в плен красного командира с женой, сестрой милосердия. «Капитан Калянский, — писал этот кавалерист, — крепок был на язык. Увидев красную сестру милосердия, он грубо обругал ее. Сестра закинула гордо голову и сказала: «Да вы знаете, с кем говорите? Я — Надежда Васильевна Плевицкая!». Капитан, не смутившись, с лошади приложился к ручке, велел оказать пленной почет и препроводил ее в штаб батальона».

Плевицкая в общем подтвердила этот рассказ; уверяла только, будто не попала в плен, а сама кинулась навстречу белым. Расхождение получалось в частности, в «мотивации поведения», и, будь они прояснены на суде, а их не прояснили, они бы помогли многое понять в последующем.

Как бы то ни было, тем же вечером в штабе Плевицкая чуть ли не при лучине пела офицерам, капитан сопровождал ее на гармони, а офицеры пили и плакали. Естественно, Набоков, презиравший или, что верней, высокомерно делавший вид, что презирает моветонный стиль рюс с достоевщиной, водочкой и пьяной слезой над пропащей жизнью, ни при каких условиях не позволил бы себе увлечься подобной сценой, но если она и в самом деле имела, так сказать, место быть, то была, вероятно, достаточно душераздирающей. Вопрос только: имела ли место?

В 1920 году в Крыму, при Врангеле, Плевицкая встретилась с генералом Скоблиным (у

### 3. Заявление Г-жи Чекан (30 сентября)

Следов исчезнувшего ген. Миллера и бежавшего ген. Скоблина по-прежнему нет... Г-жа Чекан, дочь ген. Миллера, заявила, что, по ее мнению, ген. Скоблина «уже нет в живых».

— Когда человек больше не нужен, его уничтожают. Продолжать свою предательскую работу у нас он уже не мог, потому что был изобличен. Он знал слишком много, и его должны были убить те, кому он служил.

### 4. Фрагменты допросов Н.В. Плевицкой

Следователь настаивает, чтобы арестованная все же поподробнее объяснила, как она провела день четверга накануне задержания. Что делала? С кем встречалась? Не видела ли мужа?

— Если бы я увидела его, — истерически восклицает Плевицкая, и слезы навертываются на ее глаза, — я вцепилась бы в него, не отпустила бы от себя, на эшафот бы вместе с ним пошла, что бы он ни сделал!.. Но я не нашла его. Не нашла моего Николая... Я знаю, ген. Миллер исчез, это несчастье... Но поймайте, муж — мой муж! — бросил меня. Покинул!

— Где же вы были весь день? Где его искали?

— Я сама не знаю. Я как безумная была... Ходила, брала такси, в Булонский лес, в Сен-Клу, сама не знаю куда. Я Парижа не знаю, улиц не помню. Всегда муж возил меня в автомобиле... В каждой машине мерещилось мне, не он ли? Галлюцинации какие-то были. Я даже думала, не у Миллера ли он...

Набокова — Голубковым), они, что называется, полюбили друг друга, а в 1921-м, уже в изгнании, в Галлиполи, когда ее муж, давший ей развод, сгинул неизвестно куда, обвенчались в галлиполийской церкви.

Такова в общих чертах более или менее реальная предыстория событий, в дальнейшем довольно точно излагаемых Набоковым, так что на долю комментатора остается лишь пояснить упоминаемые в тексте персоналии и кое-какие мелочи.

1. Николай Владимирович Скоблин (1893—1937?) — военный из захолустных дворян; храбро воевал на войне 1914 года; в 1917-м поступил в ударный батальон; в начале 1918-го проделал с Корниловым Ледяной поход; впоследствии стал командиром Корниловского полка. Вопреки Набокову, его активное участие в деятельности РОВСа (Российского Общевоинского Союза в изгнании; у Набокова — ББ, то есть Союз Белых Бойцов) началось не раньше 1928 года. До той поры он в основном антрепренерствовал при Плевицкой: устраивал ее триумфальные турне по Европе и вообще «состоял при ней». Многие знали, что, будучи сильно моложе жены, он полностью был в ее власти, что в этом супружеском союзе не он, а она «носила генеральские лампы». Только в конце 20-х, когда популярность стареющей певицы резко пошла на убыль даже среди эмигрантов и ей приходилось петь даже в ресторанах, что жутко унижало ее, она благословила его на службу в РОВСе.

(Кстати, Набоков питал не только писатель-

ский интерес к таинственным исчезновениям белых генералов: в 1930 году, после состоявшегося, вероятно не без участия Скоблина, похищения и убийства генерала Кутепова чекистской агентурой в Париже, был объявлен сбор средств на организацию расследования обстоятельств похищения, и в одном из списков жертвователей, опубликованных в печати, значились несколько марок от В. Сирина.)

Слухи о двойной роли Скоблина поползли сразу же после его назначения (в начале 30-х) на ключевой пост начальника разведки и контрразведки РОВСа. В «Последних новостях» появилась статья какого-то офицера, тоже работавшего на большевиков, а потом раскаявшегося, где Скоблин (под прозрачным инициалом) прямо обвинялся в предательстве. Однако, по свидетельству И. Гессена, проверке этих обвинений «больше всего препятствовал сам Миллер», то есть последний (после Врангеля и Кутепова) председатель РОВСа генерал Евгений Карлович Миллер (1863—1937?), названный Набоковым генералом Федченко. Вероятно, Миллер дорожил честью мундира. Вероятно, ценил умелого сотрудника (людей вокруг становилось все меньше, а Скоблин был сметлив и предприимчив). Однако, вероятно, сильнее всего был страх посмотреть в лицо реальности, парализовавший волю и разум, плюс еще, разумеется, «старорежимное воспитание», мешавшее просто допустить саму возможность такой крутой концентрации человеческой гнусности, лживости и жесткого расчета. Неизвестно, знаком ли был Скоблину «упойительный трепет» двой-

---

### **Представитель семьи ген. Миллера мэтр Рибз:**

— Если вы думали, что ваш муж мог быть в доме ген. Миллера, почему же вы не поехали туда?

— Я по-французски не говорю, на какой улице была тогда, не знала... Ну как я могла знать, как туда ехать? А потом я боялась... Может быть, он не там...

— Почему вы не позвонили по телефону?

— Не умею говорить. Не могу. Вообще я растерялась...

Она соглашается, впрочем, что, если бы подумала, то нашла бы дорогу в дом Миллеров в Булони.

### **Жена ген. Миллера Н.А. Миллер (с упреком):**

— При такой дружбе, какая была между нами, как вы могли, зная, что я потеряла мужа, не заехать ко мне, не позвонить?

### **Н.В. Плевицкая (горько):**

— Почему не заехала, не позвонила? Да это все равно, что спрашивать меня, почему я не бросилась в Сену.

Защитник Плевицкой М.М. Филоненко требует занести в протокол сказанные г-жой Миллер слова о том, что «ее муж никогда не посвящал ее в свои дела». Мотив ясен: если Н.А. Миллер не знала о делах своего мужа, то почему Н.В. Плевицкая должна была знать, что делал ее муж? Мэтр Филоненко требует освобождения своей подзащитной, ибо «в том, что жена, даже очень любящая жена, утверждает, будто она не знает, что делал муж, еще нет состава преступления».

Отклонив требования адвоката, следователь подробно останавливается на обстоятельствах, сопровождавших исчезновение ген. Скоблина в ночь со среды, 22 сентября, на четверг.

Плевицкая утверждает, что она не знала, зачем ее мужа вызвали ночью в управление РОВСа: она не слышала, как полк. С.А. Мацылев говорил Скоблину в дверь, что ген. Миллер исчез, а



ной игры, приписанный Набоковым Голубкову. Зато бесспорно, что разработанный им план похищения Миллера он имел полную возможность осуществлять методично и уверенно.

2. Среди берлинских меценатов Славской-Плевицкой вам встретится имя доктора Бахраха. Под этим псевдонимом упомянут ее завязанный поклонник доктор Макс Этингон — врач-психиатр, ученик Фрейда, лечивший многих знаменитостей, вплоть до коронованных особ. Этот весьма колоритный сам по себе человек всегда выручал ее в трудную минуту, в частности, дал деньги на издание воспоминаний. Во время суда над ней высказывалось подозрение, что он-то и был то ли резидентом, то ли одним из резидентов заграничной чекистской агентуры, но это подозрение ничем не было подкреплено и осталось без последствий.

3. Само похищение Миллера Набоков описал настолько точно, как только позволяли установленные факты. Однако записку, оставленную генералом, сочинил. Вот подлинный текст записки Миллера:

«У меня сегодня в 12 час. 30 мин. свидание с ген. Скоблиным на углу улиц Жасмэн и Раффэ. Он должен отвезти меня на свидание с германским офицером, военным аташе в Балканских странах Штроманом, и с Вернером, чиновником здешнего германского посольства. Оба хорошо говорят по-русски. Свидание устраивается по инициативе Скоблина. Возможно, что это ловушка, а потому на всякий случай оставляю эту записку. 22 сентября

1937 года. Ген.-лейт. Миллер».

Поражает нарочитая, почти издевательская небрежность, с какой обставлена была эта ловушка: мало того, что ни Штрома, ни Вернера не существовало в природе, и это тотчас установило следствие; «Штрома», к тому же, по-немецки — «подставное лицо»! И даже этого не заметил простота Миллер, немец по происхождению.

Существуют две версии относительно того, куда исчез фактически разоблаченный Скоблин. Согласно первой, выбежав на улицу, он спрятался в одном из пустых автомобилей, стоявших поблизости, и там пересидел выход устремившихся вслед за ним офицеров. Согласно второй, он не спускался по лестнице, а, напротив, поднялся этажом выше, в квартиру, снятую агентами НКВД для прослушивания разговоров в управлении РОВСа, а там ему предусмотрительно распахнули навстречу дверь.

4. «Во время суда над Плевицкой, — вспоминал Гессен, — полицейский комиссар Шовино свидетельствовал, что его внимание было привлечено внезапным поспешным отплытием из Гавра советского парохода «Мария Ульянова» в день исчезновения Миллера, — отплытием тем более подозрительным, что оно произошло немедленно после доставки грузовиком большого тяжелого ящика, погруженного на пароход не носильщиками, как обычно, а четырьмя матросами. В ответ на рапорт о необходимости расследовать эти обстоятельства и попытаться задержать в пути «Марию Ульянову» из Парижа командирован

---

Скоблин, уходя, ничего ей не сказал.

**Следователь:**

— Но когда полк. Мацылев вернулся без вашего мужа, почему вашей первой мыслью было, что его заподозрили в чем-то? Разве вы не говорили того, что, заподозренный, он мог не снести оскорбления, покончить с собой?

**Плевицкая:**

— Нет, я этого не говорила! Я не думала, что моего мужа могли в чем-то подозревать.

— Когда вы узнали про исчезновение ген. Миллера?

— Узнала от полк. Мацылева тогда, когда он приехал ночью спрашивать, не вернулся ли Николай Владимирович.

— вспомните точно, что вы тогда сказали. Какие были ваши первые слова?

**Н.В. Плевицкая разводит руками:**

— Ну как я могу вспомнить?.. Я страшно испугалась, начала спрашивать: «Где мой муж? Что вы сделали с ним?» Потом, когда полк. Мацылев сказал, что с ним приехали адм. Кедров и ген. Кусонский (ближайшие сотрудники Миллера. — *Ред.*) и ждут на улице, я высунулась в окно и крикнула, что Николай Владимирович, может быть, у Н.А. Миллер или в Галлиполийском собрании. А они мне сказали: «Когда Н.В. вернется, пришлите его в полицейский комиссариат. Мы все сейчас туда едем».

Несколько дней спустя следователь прямо ставит вопрос:

— Считаете ли вы вашего мужа виновным в похищении ген. Миллера?

Плевицкая опускает голову и долго молчит.

— Не знаю... Раз он мог бросить меня, значит правда, случилось что-то невероятное. Я не могу допустить, что он виноват, считала его порядочным, честным человеком. Нет, невозможно

был чиновник, который заявил Шовино:

— Ваш рапорт весьма неуместен. Мы поддерживаем сердечные отношения с (советским. — А.Ч.) полпредством, а ваши глупости грозят их испортить».

5. В 1941 году, умирая в тюремной больнице в Эльзас-Лотарингии, Плевницкая, по свидетельству Н. Берберовой, наконец призналась навестившему ее адвокату М. Филоненко, что не только принимала участие в похищении Миллера, но и сама когда-то завербовала Скоблина и на всем протяжении жизни с ним руководила его тайной деятельностью.

Вот так. И последнее. Выше, мельком упомянув о глубинном замысле рассказа Набокова, конечно же, не сводящемся к детективной канве, я всячески избегал касаться его подробнее, опасаясь нечаянно и, может быть, без достаточных оснований навязать читателю какие-то предвзятые идеи. Но буде, что, впрочем, маловероятно, объявится безумец или энтузиаст, вознамерившийся превратить набоксовское «якобы кино» в настоящий фильм, ему так или иначе придется считаться по крайней мере с одним существенным обстоятельством.

Имею в виду рассказчика, «сменившего профессию». Под этим неловким эфемизмом я попытался до поры до времени скрыть

священника, снявшего сан, так как именно бывший священник рассказывает нам эту историю, что, конечно, заметит внимательный читатель и даже выяснит его имя: отец Федор. Это важнейший факт для понимания набоксовского отношения к данной истории. Оно ни в коем случае не исчерпывалось либеральной усмешкой над «примитивным гитлеризмом» Русской Правой, к которой Плевницкая принадлежала в эмиграции (и которую, впрочем, продавала), а уж тем более над толпой русских беженцев, в чьих глазах эта певица олицетворяла Россию. Это было как минимум мучительно двойственное отношение. И сан, снятый рассказчиком — очевидно, не без колебаний, — как раз и является знаком набоксовской муки, из гордости запрятанной в глубокий подтекст. Так что если не будет найден какой-то «мучительный» киноэквивалент, фильма тоже не будет.

P.S. Чуть не забыл: парижская рю Пьер Лябим, на которой в рассказе (а не в жизни) совершилось похищение Федченко-Миллера, названа именем несуществующего философа и сама не существует на карте Парижа, что и отмечено Набоковым. Однако для окончательной ясности следует добавить, что «l'abîme» по-французски — «бездна».

---

допустить... Но записка ген. Миллера и то, что он меня бросил, — против него.

На неоднократное обращение следователя, поддерживаемое защитником: «Умоляем вас, скажите правду!» — Н.В. Плевницкая всякий раз отвечала: «Не знаю. Я правду говорю. Я ничего, ровно ничего не знала».

## **5. Позиция следственных властей [1 октября]**

...не сомневаясь, что ген. Скоблин является «главным виновником» похищения, власти стараются выяснить, по каким мотивам, по чьему наущению и при чьей помощи ген. Скоблин мог совершить преступление.

...существуют три гипотезы: агенты ГПУ, агенты гестапо, агенты ген. Франко. Несколько десятков свидетелей опрошены уже в судебной полиции на тему об отношениях РОВСа и лично ген. Миллера к Советской России, к гитлеровской Германии и к испанской распре. Власти не торопятся пока с выводами...

## **6. Что такое «Внутренняя линия»?**

Председатель Национально-Трудового Союза нового поколения (НТСНП) В.Д. Поремский посетил 6 октября адм. Кедрова и подробно ознакомил его с данными, касающимися существования «Внутренней линии» и ее преступной деятельности внутри РОВСа и в других эмигрантских организациях.



## Владимир Набоков

# ПОМОЩНИК РЕЖИССЕРА

*Владимир Набоков  
(Фото 30-х годов)*

1

**И** как же это понимать? Да видите ли, порою жизнь именно и бывает — помощником режиссера. Сегодня пойдём в кино. Назад в тридцатые и дальше — в двадцатые, а там уж рукой подать до старенького европейского «Иллюзиона». Она была знаменитой певицей. Не опера, нет, даже не «Сельская честь». «La Slavka» звали ее французы. Стиль: десятая часть цыганщины, одна седьмая от русской бабы (каковой она и была изначально) и на пять девятых «расхожий» — под «расхожим» я разумею гоголь-моголь из

поддельного фольклора, армейской мелодрамы и казенного патриотизма. Дроби, оставшейся незаполненной, довольно, полагаю, чтобы дать представление о физическом великолепии ее чудовищного голоса.

Выйдя из мест, бывших, по крайней мере географически, самым сердцем России, она с годами достигла больших городов — Москвы, Санкт-Петербурга, а там и Двора, где стиль этого рода весьма одобрялся. В артистической Федора Шаляпина висела ее фотография: осыпанный жемчугами кокошник, подпирающая

*Из открытого письма члена правления НТСНП А. Столыпина:*

В настоящие дни, когда идет следствие по делу трагического исчезновения ген. Миллера, я считаю долгом нарушить молчание насчет некоторых серьезных обстоятельств.

...мы, руководители русской национальной молодежи, не со вчерашнего дня, а уже в течение нескольких лет знаем о темной деятельности Скоблина и его сообщников. Ибо эти сообщники есть, и чем громче это провозгласить, тем больше будет надежды остановить в корне их преступную деятельность. Но провокационная работа такого калибра никогда не оставляет письменных следов и материальных доказательств. Врага такой породы можно изобличить лишь по результатам его деятельности. Нам было поэтому невозможно начать против Скоблина газетную кампанию и изобличить его во всеуслышание. Нам пришлось ограничиться

щеку рука, спелые губы, слепящие зубы и неуклюжие каракули поперек: «Тебе, Федюша». Снежные звезды, являвшие, пока не оплывали края, свое симметрическое устройство, нежно ложились на плечи, на рукава, на шапки и на усы, ждущие в очереди открытия кассы. До самой смерти своей она пуще любых сокровищ берегла — или притворялась, что бережет, — затейливую медаль и громоздкую брошь, подаренную царицей. Сработавшая их ювелирная фирма наживала порядочные барыши, при всяком торжественном случае преподнося императорской чете ту или иную эмблему тяжеловесной державы (и что ни год — все более дорогую): скажем, аметистовую глыбу с утыканной рубинами бронзовой тройкой, застрявшей на вершине, словно Ноев ковчег на горе Арарат; или хрустальный шар величиною в арбуз, увенчанный золотым орлом с квадратными бриллиантовыми глазами, очень похожими на Распутинские (много лет спустя Советы показали наименее символические из этих поделок на Всемирной выставке — в качестве образчиков своего процветающего искусства).

Шло бы все так, как должно было по всем приметам идти, она могла бы еще и сегодня петь в оснащенной центральным отоплением благородном Собрании или в Царском, я выключал бы поющий ее голосом приемник где-нибудь в дальнем степном углу Сибири-матушки. Но судьба сбилась с пути, И тогда приключилась Революция, а за нею — война Белых и Красных, ее лукавая крестьянская душа выбрала партию попрacticalней.

Сквозь тающее имя помощника режиссера мы видим, как мчатся вскачь призрачные полки призрачных казаков верхами на призрачных лошадях. Затем возникает лощеный генерал Голубков, лениво озирающий поле боя в театральный бинокль. Когда фильмы и мы еще были молоды, нам обычно показывали то, что открывалось взорам, в двух аккуратно слепленных кружках. Теперь не то. Теперь мы видим, как вялость покидает Голубкова, как он взлетает в седло, мгновенье маячит в небе на вздыбленном жеребце и бешено скачет в атаку.

Но вот неожиданный инфракрасный в спектре Искусства: вымещая условный пулеметный рефлекс — привычное «тра-та-та» — женский голос запеваает вдали. Он близится, близится и, наконец, заполняет собою все. Прекрасное контральто ширится в русских напевах, удачно подобранных музыкальным директором в студийном архиве. Кто это там, во главе инфракрасных? Женщина. Певучая душа вон того, отменно обученного батальона. Идет впереди, топчет люцерну и разливаается в песне про Волгу-Волгу. Лощеный и дерзкий джигит Голубков (теперь-то нам ясно, кого это он углядел), невзирая на множество ран, на полном скаку подхватил роскошно бьющуюся добычу и умчал ее вдале.

Странное дело, но сама жизнь поставила этот убогий сценарий: я лично знал по меньшей мере двух очевидцев события; часовые истории пропустили его, не окликнув. Вскоре мы видим ее сводящей с ума офицерское общество своей полногрудой красотой и буй-

---

торжественными и повторными предостережениями, сделанными заинтересованным русским кругам, а также дружественным французам.

Впрочем, вот факты.

Гнусное дело, последствия которого мы ныне переживаем, началось после исчезновения ген. Кутепова в 1930 году. Когда ген. Кутепов, вождь в полном смысле этого слова, был убран, советское проникновение стало возможным. Достаточно было поставить двух-трех изменников на командные посты военной организации, построенной на принципе безоговорочной дисциплины, и разлагающая работа могла начаться. Два-три офицера, в их числе и Скоблин, сгруппировали вокруг себя маленькое число своих бывших подчиненных, наиболее слепо им преданных. Они использовали этих своих товарищей по оружию, сделав из них бессознательное оружие Советов. Эта маленькая, но сугубо опасная ячейка, которая скоро распространила свои щупальца, назвалась «Внутренней линией».

С 1934 года «Внутренняя линия» захотела взять под свой контроль НТСНП и обуздать руководителей Союза, в том числе и меня. Она подслала нескольких агентов, коим было поручено захватить руководство молодым движением. Но не в добрый час они пожаловали. Мы ответили им на это беспощадной и полной чисткой. В конце 1935 г. люди «Внутренней линии», оперируя в Белграде, попытались убить председателя НТСНП и совершили нападение с кражей документов в центре нашего движения.

В силу этих и иных, менее красноречивых, фактов, начальники нашего Союза отправились к ген. Миллеру в январе 1936 года. У них произошел продолжительный разговор, возымевший фатальные последствия, ибо, несмотря на изобличающие данные, доставленные и уточненные его посетителями, ген. Миллер, верный понятиям военной солидарности и чести, не признал

ными, бурными песнями. То была Belle Dame с порядочной примесью Merci и с напором, коего недоставало Луизе фон Ленц или Зеленой Леди. Она подсластила горечь отступления Белых, начавшегося вскоре за ее появлением в стане генерала Голубкова. Мы видим мрачные промельки воронов, или ворон, или каких там птиц удалось раздобыть, чтобы реяли в сумерках и опускались, кружа, на усеянную телами равнину где-нибудь в округе Вентура. Окоченелая рука солдата белых сжимает медальон с портретом матери. А на развороченной груди павшего рядом красного бойца трепещет письмо из дома, и та же старушка моргает за его наплывающими на зрителя строками.

А затем привычный контраст — взрывается бурная музыка и слышится пение, мерно хлопают руки и топают сапоги — перед нами попойка в штабе генерала Голубкова: танцует с кинжалом точеный грузин, сконфуженный самовар перекашивает лица, и Славская, гортанно смеясь, откидывает голову, и в стельку пьяный жирный штабной, разодрав ворот и выпятив сальные губы для животного поцелуя, тянется через стол (крупный план опрокинутого стакана), чтобы облапить — пустоту, ибо подтянутый и совершенно трезвый Голубков ловко выдергивает ее из-за стола, и они стоят перед пьяной оравой, и Голубков произносит холодным и ясным голосом: «Господа, вот моя невеста», — и в наступившем ошеломленном молчании шальная пуля разбивает засиневшее на рассвете стекло, и канонада. рукоплесканий приветствует романти-

ческую чету.

Я почти не сомневаюсь, что ее пленение не было только игрою случая. Случайности на студию не допускаются. И еще менее сомневаюсь я в том, что, когда начался великий исход, и они, подобно многим иным, потянулись через Секердже к Мотц-штрассе и рю Вожирар, генерал с женою уже трудились на пару, общая была у них песня и общий шифр. Став, что было вполне естественно, деятельным членом Б.Б. («Союза Белых Бойцов»), он непрестанно разъезжал, организуя военные курсы для русских юношей, устраивая благотворительные вечера, подыскивая для бездомных бараки, улаживая местные разногласия — и все это самым неприятельным образом. Я полагаю, какая-то польза от него была — от этого Б.Б. Но на беду для его духовного здравия, он не смог обособиться от монархических группировок, не сознавая того, что создала эмигрантская интеллигенция: невыносимой пошлости, зауряд-гитлеризма этих потешных, но противных сообществ. Когда благонамеренные американцы спрашивают, знаком ли мне обаятельный полковник Такой-то или величавый старый князь де Вышибальски, у меня не хватает духу открыть им прискорбную правду.

Хотя, разумеется, состояли в Б.Б. и личности иного разбора. Я говорю о тех искателях приключений, что, служа общему делу, переходили границу где-нибудь в оглушенном снегом еловом бору, и, побродив по родной стороне в обличиях, некогда употреблявшихся, странно сказать, эсерами, мирно возвращались,

---

преступной деятельностью «Внутренней линии» и не поверил предательству своих старых соратников. Все же с этого дня доверие ген. Миллера к Скоблину и к его сообщникам было непоправимо поколеблено. Скоблин, вероятно, это почувствовал и увеличил знаки внимания и предупредительности к своему начальнику. Он знал, что разумный и осторожный старик, раз убедившись в гнусной измене, не поцеремонился бы с виновными. Исчезновение ген. Миллера должно было прежде всего облегчить Скоблину и его друзьям захват руководства РОВСом».

## **7. Резюме обвинительного акта по делу Н.В. Плевичкой**

1) Скоблин на французской территории совместно с сообщниками, оставшимися неразысканными, а) совершил 22 сентября 1937 года покушение на личную свободу ген. Миллера, причем принудительное лишение свободы длится более одного месяца; б) учинил грубое насилие над ген. Миллером; в) сделал это с заранее обдуманной намерением и г) воспользовался для своих целей завлечением ген. Миллера в западню.

2) Надежда Винникова, по сцене Плевичкая, а по мужу Скоблина, на французской территории 22 сентября 1937 года и в последующие дни проявила себя участницей названных выше преступлений, совершенных Скоблиным и его неизвестными сообщниками, оказав им сознательную помощь в подготовке, облегчении и осуществлении задуманного дела.

Дознание выявило следующие обстоятельства.

22 сентября около 12 ч. 15 м. дня ген. Миллер покинул свой кабинет на улице Колизэ, сообщив генеральному секретарю («начальнику канцелярии») ген. П.А. Кусонскому, что уходит на

доставляя в маленькое парижское safe под вывеской «Esh-Bublik» или в крошечную — без вывески — берлинскую Кнейре разные полезные разности, какие шпионы обыкновенно доставляют своим хозяевам. С течением времени иные из них завязли в хитросплетеньях иноземных разведок и забавно подскакивали,

когда к ним подходили сзади и хлопали по плечу. Другие хаживали за кордон для собственного удовольствия. Один или двое, возможно, и вправду верили, что каким-то таинственным образом готовят воскрешение священного, пусть отчасти и затхлого прошлого.

## 2

Нас ожидает теперь череда несосветимо скучных событий. Первый из почивших председателей Б.Б. стоял во главе всего Белого Движения и, безусловно, был самым достойным в нем человеком; кое-какие смутные симптомы, сопровождавшие его неожиданный недуг, приводят на ум тень отравителя. Его премника — крупного, сильного мужчину с громовым голосом и головой, как пушечное ядро, — похитили неизвестные, и есть основания полагать, что умер он от непомерной дозы хлороформа. Третий председатель — однако моя бобина крутится слишком шибко. На деле устранение первых двух взяло семь лет, и не потому, что такие дела скорее не делаются, а просто имелись особые обстоятельства, и они диктовали точные сроки, ибо надлежало соизмерять внезапность возникновенья вакансий с постепенным продвижением по службе некоего лица. Объяснимся.

Голубков был не только многократным шпионом (тройным, говоря точнее), но также и преамбициозным человеком. Почему мечты

о главенстве в организации, одной ногой стоящей в могиле, были ему так милы — загадка лишь для того, кто не ведает ни увлечений, ни страстей. Ему страсть как хотелось — и только. Труднее понять его уверенность в том, что он сумеет сохранить свою ничтожную жизнь, затесавшись меж грозных противников, чьи опасные деньги и опасную помощь он принимал. Мне понадобится все ваше внимание, потому что будет жаль, если вы упустите тонкость этой картины.

Советы навряд ли тревожила весьма маловероятная перспектива того, что химерическая Белая Армия сумеет когда-либо возобновить военные действия против их слитной машины; но то обстоятельство, что крохи информации об их фортах и факториях, собираемые пролазами из Б.Б., автоматически попадают в благодарные немецкие руки, раздражало их чрезвычайно. Немцев же мало интересовали трудноразличимые цветковые оттенки эмигрантской политики, — но сердил бестолковый патриотизм председателя Б.Б.,

---

свидание, назначенное в 12 ч. 30 м., и не вернется к завтраку; перед уходом он вручил ген. Кусонскому запечатанный конверт, сказав: «Не думайте, будто я сошел с ума, но на этот раз оставляю вам запечатанный конверт, который прошу вскрыть только в том случае, если вы больше меня не увидите».

Ген. Миллер не вернулся. В 10 ч. 30 м. вечера в тот же день ген. Кусонский вскрыл конверт и нашел в нем записку...<sup>1</sup> В полночь ген. Кусонский и Мацылев послали за Скоблиным. На вопрос, не знает ли он, куда исчез ген. Миллер, Скоблин ответил, что не видел его в течение всего дня. Тогда ему предъявили записку, оставленную ген. Миллером. Скоблин смутился и, уловив момент, когда собеседники его удалились в другую комнату, чтобы обсудить положение, — бежал.

Дознанием установлено, что в ту же ночь, около 2 ч. 45 м. утра, Скоблин явился в книжный магазин Кривошеева в Нейи. Попросив стакан воды, взял в долг 200 франков и поспешно исчез. Обнаружить его местопребывание оказалось невозможным.

Поведение Скоблина доказывает его виновность. С другой стороны, свидетель Пик, находившийся 22 сентября 1937 года в 12 ч. 55 м. у выхода из метро «Жасмен», обратил внимание на двух человек, разговаривавших по-русски. В одном из них он определенно узнал Скоблина по фотографии.

В записной книжке обвиняемого, которую <его> жена пыталась скрыть в момент ареста, отмечено свидание с указанием часа 12 ч. 30 м.

В беседе с ген. Кусонским ночью 22 сентября Скоблин заявил, что в день исчезновения ген.

<sup>1</sup> Текст записки Миллера приведен на с.7

время от времени воздвигавшего на этических основаниях препоны гладкому потоку дружеского сотрудничества.

Получалось, что Голубкова едва ли не Бог послал. Советы питали твердую уверенность, что при его главенстве все шпионы Б.Б. будут им ведомы и хитроумно снабжаемы ложными сведениями на жадную немецкую потребу. Равно и немцы не сомневались, что сумеют при нем внедрить изрядное множество своих абсолютно надежных людей в ряды обычных агентов Б.Б. Ни одна из сторон не обманывалась касательно преданности Голубкова, но каждая надеялась обратить к собственной выгоде его переменчивое вероломство. Ну а чаяния простых русских людей, семейств, тяжело трудящихся в отдаленных частях российской диаспоры, перебиваясь скудным, но честным промыслом, словно и не покидали они Саратова или Твери, растящих хилых детей, и наивно почитающих Б.Б. своего рода рыцарством Круглого Стола, олицетворяющим все, что было и будет милого, достойного, сильного на баснословной Руси, — эти чаянья наверняка покажутся монтажерам чрезмерным уклонением от главной темы картины.

При основании Б.Б. кандидатура генерала Голубкова (разумеется, чисто теоретическая, ибо смерти председателя никто не ожидал) располагалась в самом низу списка — не то чтобы соратники-офицеры не ценили его легендарной отваги, а просто он оказался самым молодым генералом в Армии. Ко времени выборов следующего председателя Голубков уже обнаружил столь разительные орга-

низаторские способности, что полагал для себя возможным уверенно вымарать несколько имен, промежуточных в списке, спасая, кстати, жизни их обладателям. По устранении второго генерала многие члены Б.Б. были убеждены, что очередной кандидат — генерал Федченко — уступит человеку помоложе и порасторпней его те привилегии, вкусить от которых ему позволяли возраст, доброе имя и академическая выучка. Однако старик, хоть и испытывал сомнения относительно вкуса предлагаемых яств, счел за трусость уклонение от поста, уже двоим стоившего жизни. Пришлось Голубкову, стиснув зубы, рыть новую яму.

Ему не доставало внешней привлекательности. Не было в нем ничего от столь популярного у нас русского генерала — то есть особи здоровой, дородной, толстошей и пучглазой. Он был тощ, узок, остролиц, с пробритыми усиками и прической, у русских называемой «ежилом» — короткой, колючей, стоящей торчком и плотной. Тонкий серебряный браслет облегал его волосистое запястье; он угощал вас домодельными русскими папиросами или английскими «капстенами», как он их называл, аккуратно лежавшими в старом поместительном портсигаре черной кожи, который сопутствовал ему в предположительном дыму бесчисленных битв. Он был до крайности вежлив и до крайности неприметен.

Всякий раз что Славская «принимала» в доме у какого-либо ее покровителя (бесцветного балтийского барона; доктора Бахраха, чья первая жена была знаменитой Кармен; рус-

---

Миллера он не покидал жены между 12 ч. 15 м. и 15 ч. 30 м. Жена Скоблина, со своей стороны, представила точно такое же алиби. Она уверяла, будто завтракала с мужем в ресторане Сердечного около 12 ч. 15 м., а затем в сопровождении Скоблина посетила модный дом «Каролина» на авеню Виктор Гюго и съездила на Северный вокзал (чтобы вместе с мужем, командиром Корниловского полка, проводить г-жу Корнилову-Шапрон, дочь ген. Л.Г. Корнилова).

Дознание установило, что супруги Скоблины действительно завтракали в ресторане Сердечного, но покинули ресторан в 11 ч. 20 м., а затем жена Скоблина одна явилась в модный дом «Каролина» между 11 ч. 40 м. и 11 ч. 50 м. и одна ушла оттуда около 13 ч. 50 м.

(Хозяин «Каролины» г. Эпштейн показал: «Мадам Плевницкая заказала два платья стоимостью в 2700 фр. и заплатила вперед 900 фр. Она оставалась у нас до 1 ч. 40 м. дня, почти два часа! Уходя, спросила, который час. Несколько раз напоминала нам, что муж с машиной ждет ее на улице, но сама не спешила. Когда я предложил пригласить генерала к нам в салон, она ответила уклончиво. Я смотрел несколько раз в окно, но не видел ни разу ни мужа, ни автомобиля».)

Через несколько минут после ее ухода в магазин «Каролина» явился Скоблин за женой.

На вокзал, куда они должны были явиться вместе, супруги Скоблины явились врозь — муж на несколько минут позже жены.

Такое совпадение обстоятельств приводит к заключению, что похищение ген. Миллера произошло во время пребывания Плевницкой в магазине. Настойчивость, с которой жена Скоблина убеждала г. Эпштейна, будто муж ждет на улице, отказ ее предложить ему подождать в магазине, ложь, при помощи которой она объяснила на перроне Северного

ского купца старого закала, отменно коротавшего время в обезумелом от инфляции Берлине, где он скупал дома прямо кварталами — по десять фунтов штука), безмолвный муж ее неприметно сновал по гостиной, принося вам бутерброд с колбасой и огурчик или запотелую стопку водки; и пока Славская пела (на этих непринужденных вечерах она обыкновенно певала, сидя с кулаком у шеи и баюкая локоть в ладони), он стоял в сторонке, к чему-нибудь прислонясь, или на цыпочках крался к далекой пельнице, чтобы нежно поставить ее на толстый подлокотник вашего кресла.

Пожалуй, в рассуждении актерства он ма-

лость пережимал по части неприметности, нечаянно внося в создаваемый образ черты наемного лакея, — что задним числом представляется удивительно верным; с другой стороны, он, полагаю, пытался выстроить роль на контрасте и, верно, испытывал дивный трепет, узнавая по определенным сладостным знакам — наклону головы, вращению глаз, — что в дальнем углу комнаты Такой-то привлекает внимание новичка к тому обаятельному обстоятельству, что столь невзрачный, скромный человек совершал в пору легендарной войны небывалые подвиги (в одиночку брал города и прочее в этом роде).

### 3

В те дни (в аккурат перед тем, как дитя света выучилось говорить) немецкие фильмовые компании, плодившиеся, точно поганки, задешево нанимали тех русских эмигрантов, чьим единственным упованием и ремеслом оставалось их прошлое, — то есть людей вполне нереальных — чтобы они представляли в картинах «реальную» публику. От такого сцепления двух фантазмов человеку чувствительному начинало казаться, будто он очутился в зеркальной камере или, лучше сказать, в зеркальной тюрьме, где уже и себя-то от зеркала не отличишь.

Так вот, когда я вспоминаю берлинские и парижские залы, где пела Славская, и попадавших там людей, мне чудится, будто я

переснимаю на «техникolor» и озвучиваю какую-то допотопную фильму, в которой жизнь представляла сереньким трепыханьем, похороны — резвой пробежкой, и только море было окрашено (тошной синькой), а за экраном неведомо кто крутил ручку машины, не попадая имитируя шум прибора. Некий темный субъект, кошмар благотворительных обществ, лысый, с безумным взором, наискось переплывает поле моего зрения (напоминая в сидячей позе пожилого зародыша) и чудесным образом всаживается в кресло заднего ряда. Наш милый князь тоже здесь во всей красе: стоячий воротничок и линияе гетры. И маститый, но приверженный мирскому ба-тюшка с крестом, мерно вздымающимся на

---

вокзала опоздание мужа, свидетельствуют, что между супругами существовал сговор, предшествовавший преступлению. Из данных предварительного следствия явствует, что супруги не выдались с того момента, как Скоблин дал это алиби ночью 22 сентября, до того момента, когда жена его, в свою очередь, дала те же объяснения на допросе.

К этим точным фактам следует прибавить некоторые другие данные. Будучи на семь лет старше мужа, Скоблина-Плевицкая, по общему отзыву, имела огромное влияние на него. Она была в курсе всех действий мужа, принимала деятельное участие во всех его начинаниях, получала на свое имя шифрованные письма и документы политического значения, причем в некоторых документах указывалось даже, что содержание их не должно сообщаться мужу. Некоторые свидетели прямо называют ее злым гением Скоблина, хотя Плевицкая это энергично отрицает. К тому же экспертиза домашних счетов супругов Скоблиных показала, что они жили значительно шире своих средств, что должны были существовать другие, скрытые ими, тайные доходы.

## 9. Обращение Н.В. Плевицкой к Президенту Республики

...жена бежавшего от следствия и суда Скоблина сочла уместным в письме, адресованном на имя главы Французской Республики, настаивать на обыске в советском доме на бульваре Монморанси.

Письмо вызвало во французской печати презрительные комментарии.

«Обращение это, — пишет «Эко де Пари», — свидетельствует о бесстыдстве, смешном и



его обширной груди, сидя в первом ряду, смотрит прямо перед собой.

Выступавшие на этих празднествах русских правых, воскрешаемых в моей памяти именем Славской, отличались природой столь же призрачной, что и публика, их посещавшая. Виртуоз-гитарист с поддельной славянской фамилией, из тех, что мельтешат в мюзикхолльной афишке среди первых дешевых ее номеров, здесь пожинал небывалые лавры — и ослепительная роскошь его инкрустированного стеклом инструмента, и шелковые небесно-голубые штаны приходились под стать остальному действу. Следом за ним выходил пожилой, бородатый прохвост в ветхой визитке, бывший член союза «Святая Русь превыше всего», и расписывал, что вытворяют с русским народом Сыны Израилевы и масоны (два потаенных семитских клана).

А теперь, дамы и господа, мы имеем огромную честь и удовольствие... И она возникала на жутком фоне из пальм и национальных флагов, и облизывала бледным языком обильно накрашенные губы, и возлагала лайковые ладони на стяннутый корсетом живот, а тем временем ее постоянный аккомпаниатор, мраморноликий Иосиф Левинский, забредавший в тени ее пения и в личный концертный зал царя, и в салон товарища Луначарского, и в неопикуемые константинопольские заведения, проигрывал вступительную фразу, несколько нотных камушков, брошенных через ручей.

Иногда, в определенного рода домах, она начинала с исполнения национального гимна,

а там уж переходила к бедноватому, но с неизменным восторгом принимаемому репертуару. За ним обязательно следовала «Старая калужская дорога» (с разбитой молнией сосной на сорок девятой вирше), а затем песня, начинавшаяся — в немецком переводе, отпечатанном пониже русского текста, — словами «Du bist im Schnee begraben, mein Russland», и старинная народная (сочиненная в восьмидесятых частным лицом) — про разбойничьего атамана и его персидскую красавицу-княжну, которую он, обвиненный товарищами в мягкотелости, выкинул в Волгу.

Вкус у нее был никакой, техника беспорядочная, общий тон ужасающий; и все же люди, для которых музыка и сентиментальность — одно, или те, кто желал, чтобы песни доносили дух обстоятельства, в которых они их когда-то впервые услышали, благодарно отыскивали в могучих звуках ее голоса и ностальгическое утолнение, и патриотический порыв. Считалось, что она особенно трогает сердце, когда звучит в ее пении нота буйного безрассудства. Кабы не вопиющая фальшь этих порывов, они еще могли бы спасти ее от законченной пошлости. Но то мелкое и жесткое, что заменяло ей душу, лезло из ее пения наружу, и наивысшим достижением ее темперамента был водокрут, но никак не вольный поток. Когда теперь в каком-нибудь русском доме заводят граммофон и слышится ее законсервированное контральто, я с чем-то похожим на содрогание вспоминаю эту мишурную имитацию вокального апофеоза: последний страстный вопль обнаруживал всю анатомию рта,

---

отвратительном. Плевицкая знает, что теперь уже поздно. Как можно слушать без смеха ее утверждение о том, что Скоблин — жертва? Никто не сомневается в том, что Скоблин виноват и что Плевицкая была его сообщницей. Цинизм г-жи Скоблиной может ввести в заблуждение только дураков».

Мы можем только порадоваться, что арестантке тюрьмы Птит Рокетт в распространенной французской газете дана столь суровая отповедь.

## 9. Впечатления из зала суда (декабрь 1938 года)

**Юлия Финикова:** Какие трепетные воспоминания связаны с этим именем, с этим образом!.. Залитые огнями концертные залы... Блестящие мундиры, декольтированные дамы... Бриллианты, цветы, овалы... Государь... Разливается безбрежная, захватывает до слез, кружит до мучительного трепета, до сладостной боли русская народная песня... Широкая, глубокая, простая, правдивая...

Суд присяжных в Париже: За окнами — дождь, проливной, безнадежный... Толпа русских людей... Притихшие, угнетенные — они пришли увидеть эпилог драмы, ранившей их сердца. Пришли узнать правду... Страшную, мучительную.

Все глаза обращены на скамью подсудимых.

Да это она... Похудевшая, бледная, с выступающими скулами, с запавшими щеками, вся в черном. Туго стянуты черною повязкой темные волосы, руки в черных перчатках смиренно сложены. Поникшая поза, размеренные жесты...

красиво веяли иссиня-черные волосы, скрещенные руки сжимали увитую в ленты медаль на груди — она благодарила за оргию овец, и ее широкое, смуглое тело оставалось

скованным, даже когда она кланялась, втиснутое в жесткий серебристый атлас, придававший ей сходство то ли со снежной бабой, то ли с почетной ундиной.

## 4

Вам предстоит увидеть ее (ежели цензор не сочтет дальнейшее оскорблением религиозного чувства) преклонившей колена в медовой дымке переполненной русской церкви, сладко плачущей бок о бок с женой или вдовой (она-то в точности знала — с кем) генерала, чье похищение так ловко подстроил ее муж и так толково произвели те крупные, расторопные, безмянные мужчины, которых шеф прислал в Париж.

Вы увидите ее и в иной день, два-три года спустя, поющей в одной квартирке на рю Жорж-Санд для тесного круга поклонников, — смотрите, глаза ее чуть сужаются, поющая улыбка тает, это муж, задержанный улаживаньем последних деталей одного подручного дельца, проскальзывает в залу и с мягким укором отвергает попытку седого полковника уступить ему место; и сквозь бессознательные рулады, изливаемые в десятитысячный раз, она (слегка близорукая, как Анна Каренина) вглядывается в мужа, пытаясь различить некие знаки, и вот, когда та, наконец, потонула, и уплыли расписные челны, и последний предательский круг на поверхности Волги-реки (округ Самара) расточился в унылой вечности

— ибо эту песню она всегда пела последней, — муж подошел к ней и голосом, которого не смогли заглушить никакие хлопки человеческих рук, произнес:

— Маша, завтра уж дерево срубят!

Этот пустячок насчет дерева был единственной актерской шалостью, которую Голубков позволил себе за все время своей мирной, поголубиному серой карьеры. Мы простим ему эту несдержанность, если припомним, что речь шла о последнем из генералов, стоявших у него на пути, и что события следующего дня автоматически привели его к избранию. Последнее время их друзья ласково подшучивали (птичка русского юмора легко насыщается крошками) над забавной распрей двух больших детей: она вздорно настаивала, чтобы срубили разросшийся старый тополь, затемнявший окно ее студии в их летнем пригородном домике, а он уверял, что этот стойкий старик — среди ее поклонников самый цветущий (уморительно, правда?) и хотя бы поэтому следует его пощадить. Отметим еще добродушно-грубоватую даму в горностаевом палантине, корящую галантного генерала за слишком поспешную капитуляцию, и сияю-

---

Как не вяжется этот облик с тою Плевницкой, которую мы видели на допросах! Там была растрепанная, кричащая, рыдающая, то умоляющая, то кидаящаяся из стороны в сторону... Обезумевшая от страха баба.

А тут неволью направивается мысль, что этот неожиданный облик, этот «темный лик» женщины-вамп создан опытной актрисой, привыкшей владеть зрительным залом.

Не учла она лишь одного: что ramпы с ее огнями нет. Что нарочитость, неискренность, расчет при дневном тусклом свете режут глаз.

Неволью кажется, что она избегает, не смеет смотреть на толпу понятных, близких ей русских людей, что чувствует она их враждебность — свое одиночество. Все против одной! Одна — против всех...

**Андрей Седых:** Чтобы попасть в зал суда присяжных на дело Плевницкой, нужно было проявить много изобретательности. В течение нескольких дней адвокатов, выступающих в процессе, осаждали просители... Один из них, особенно настойчивый, пять раз звонил к М.М. Филоненко. На шестой раз защитник Плевницкой не выдержал и в сердцах сказал своей жене:

— Скажи ему, пожалуйста, что хочешь, лишь бы он оставил меня в покое... Скажи, я молюсь.

Поручение было в точности исполнено:

— Максимилиан Максимилианович молится.

— Ах, в таком случае — простите! — И он больше не звонил.

В публике можно было видеть многих важных представителей русской эмиграции. В первом ряду свидетелей — характерная голова А.И. Деникина, неподалеку от которого «на всякий случай» поместился человек полицейского вида... В.Л. Бурцев не пропускал ни одного слова,

щую улыбку Славской, раскрывшей холодные, словно студень, объятия.

Назавтра, ближе к вечеру, генерал Голубков проводил жену к портнихе, посидел там несколько времени, читая «Paris-Soir», а затем был ею отправлен за платьем, которое она собиралась расставить, да запомнила прихватить. Через уместные промежутки времени она сносно изображала телефонные переговоры с домом, громогласно направляя мужнины поиски. Армянка-портниха и белошвейка, маленькая княгиня Туманова, немало потешались в смежной комнате над разнообразием ее деревенской божбы (помогавшей не

пересушить роль, для импровизирования которой одного лишь воображения ей не хватало). Это поношенное алиби не имело целью латание прошлого на случай, если вдруг что-то не сладится, — ибо «не сладиться» ничего не могло; а просто должно было снабдить человека, стоявшего вне любых подозрений, рутинным отчетом о его передвижениях, если кому-то приспичит вдруг выяснять, кто видел генерала Федченко последним. Перерыв достаточное количество воображаемых гардеробов, Голубков объявился с платьем (разумеется, давно лежавшим в машине). Пока жена продолжала примерку, он дочитал газету.

## 5

Тридцати пяти примерно минут его отсутствия хватило с лихвой. Около того времени, когда она принялась дурачиться с молчащим мертвую телефоном, он, уже подобрав генерала на пустынном углу, вез его на выдуманное свидание, заблаговременно обставленное так, чтобы сделать его таинственностью натуральной, а участие в нем. — непременно долгим. Через несколько минут он заглушил мотор, и оба вылезли из машины.

— Это не та улица, — сказал генерал Федченко.

— Не та, — сказал генерал Голубков, — но машину лучше оставить здесь. Не нужно, чтобы она маячила перед кафе. Мы пройдем этой улочкой, тут рядом. Всего две минуты

ходьбы.

— Хорошо, пойдемте, — сказал старик и откашлялся.

Улицы в этой части Парижа носят имена различных философов, и ту, которой они пошли, некий начитанный отец города назвал «рю Пьер-Лябим». Она неторопливо текла мимо темной церкви и каких-то строительных лесов в смутный квартал запертых особняков, отъединенно стоявших в окружении собственных парков за чугунными оградами, на которых медлили по пути с голых ветвей на мокрую мостовую умирающие кленовые листья. По левой стороне улочки тянулась длинная стена, и там и сям виднелась на шершавой ее середине кирпичная крестоловица; в одном месте

---

сидя рядом с В.М. Зензиновым. Внимание французов обращал на себя «старейший невозвращенец» Г.З. Беседовский. М.А. Алданов сидел среди судебных хроникеров и что-то тщательно записывал в свою книжечку. Лучше всех устроился П.Н. Переверзев: в качестве б. министра юстиции (Временного правительства. — *Ред.*) ему разрешили занять место за креслами суда, среди особо почетных гостей.

Два раза Плевницкая улыбнулась. Два раза она заплакала. Улыбалась она фотографам и знакомой даме, которую увидела в глубине зала и которая всячески облегчала ее положение в тюрьме. Плакала она, когда говорили о Скоблине, о том, что он бросил ее на произвол судьбы.

И все же сквозь улыбки и слезы она прекрасно собой владела, взвешивала каждое слово, говорила мало, но довольно красочно. Когда председатель характеризовал ее как женщину умную, руководившую деятельностью мужа, Плевницкая певуче, по-бабьи ответила:

— Спасибо, что он меня в министры произвел... Глупой я никогда не была, но и министром тоже... Я такая, какая есть!

Был момент, когда она не на шутку обиделась. Председатель напомнил, что в Орле, когда в город вошли белые, висели еще афиши, оповещавшие о концерте «красной матушки» Плевницкой.

— Я тогда была еще слишком молода, чтобы меня «матушкой» величали, — поджала губы Плевницкая.

Многое в этом процессе было французам непонятно. Как, например, объяснить, что д-р

имелась в этой стене зеленая дверца.

Когда они приблизились к ней, генерал Голубков извлек покрытый боевыми шрамами портсигар и остановился, закуривая. Генерал Федченко, человек не курящий, но вежливый, остановился тоже. Дул, ероша сумерки, порывистый ветер, первая спичка погасла.

— Я все же думаю, — сказал генерал Федченко, возобновляя разговор об одном незначительном деле, которое они только что обсуждали, — я все же думаю, — сказал он (чтобы хоть что-то сказать, стоя так близко к зеленой дверце), — что уж если отец Федор непременно желает платить за жилье из собственных средств, то мы могли бы хоть топливом его обеспечивать.

И вторая спичка погасла. Спина прохожего, смутно маячившая вдаль, наконец исчезла. Во весь голос генерал Голубков выбралил ветер и, поскольку то был сигнал к нападению, зеленая дверь отпахнулась, и три пары рук с невероятной скоростью и сноровкой смахнули старика с глаз долой. Дверца захлопнулась. Генерал Голубков закурил, наконец, и торопливо пошел назад.

Больше никто старика не видел. Тихие иностранцы, на один тихий месяц снявшие некий тихий особнячок, оказались невинными датчанами или голландцами. Обман зрения, не более. Нет никакой зеленой двери, есть только серая, и ее никакими человеческими силами не взломать. Тщетно я рылся в превосходных энциклопедиях: философа по имени Пьер Лябим не существует.

Но я — я заглядывал гадине в глаза. Ходит у нас, у русских, поговорка: «Всего двое и есть — смерть да совесть». Тем-то и замечательна человеческая природа, что можно порой совершить добро и того не заметить, но зло всякий творит сознательно. Один ужасный преступник, чья жена была еще хуже него, однажды рассказывал мне — я был в ту пору священником, — что его вечно томил потаенный стыд за то, что стыд еще более потаенный не позволяет ему спросить у жены: презирает ли она его в сердце своем или сама втайне гадает, не презирает ли он ее в сердце своем. Поэтому я хорошо представляю, какие были лица у генерала Голубкова и его жены, когда они, наконец, остались наедине.

## 6

Впрочем, ненадолго. Часов около 10 утра генерал Р. известил по телефону генерала Л., секретаря Б.Б., что госпожа Федченко очень встревожена необъяснимым отсутствием мужа. Тут только вспомнил генерал Л., что за завтра-

ком председатель сказал ему — довольно небрежно (но таков уже был обычай старика), — что у него после полудня есть в городе дело и что если он к 8 утра не вернется, то не будет ли генерал Л. любезен прочесть записку,

---

Эйтингон «одевал Плевичкую с головы до ног» и делал ей ценные денежные подарки? Французы не знают, что д-р Эйтингон и его брат-меховщик, живущий в Нью-Йорке, — очень богатые люди, немало помогающие артистам и писателям.

Можно было предположить, что д-р Эйтингон «одевал с головы до ног» женщину, с которой его связывали интимные отношения. Плевичка на это ответила:

— Я себя никогда не продавала и за это денег не получала. Эйтингоны были нашими друзьями и делали нам подарки. А чести русской женщины я не замарала...

В первые дни Плевичка держалась строго и прямо, принимала позы, делала мечтательный вид. Постепенно все это ей надоело. На третий день она сняла свои лайковые перчатки и почти перестала слушать свидетелей. Когда у нее спрашивали, поняла ли она, что они говорили, подсудимая устало отвечала: «Поняла. Ругал меня...». За неделю процесса она успела подружиться с двумя жандармами, которые все время сидели за ее спиной. В перерыве жандармы приносили ей из буфета сэндвичи и вино.

**Ген. Кусонский** пережил у свидетельского барьера несколько неприятных минут. На вопросы председателя он давал длинные ответы, пускался в рассуждения и, видимо, не отдавал себе отчета в том, какую печальную роль он сыграл в деле ген. Миллера.

— Вы совершили две тяжелые ошибки, — сказал ему председатель. — Вскрыли письмо слишком поздно. А затем, вместо того чтобы сразу предупредить полицию, начали допрашивать Скоблина, вступили в разговоры с адм. Кедровым и, в конце концов, выпустили Скоблина.

Готовясь к ответу, ген. Кусонский начал улыбаться. Председатель пришел в ярость:

оставленную в среднем ящике председательского стола. Теперь два генерала кинулись к кабинету, помешкали там недолго, побежали назад за ключами, забытыми генералом Л., и, наконец, совершенно убежавшись, отыскали записку. В ней говорилось: «Меня гнетет странное предчувствие, которого я, может быть, впоследствии устыжусь. На 5.30 у меня назначена встреча в кафе на рю Декарт, 45. Предстоит знакомство с информатором с той стороны. Я пододреваю ловушку. Встречу готовил генерал Голубков, он же отвезет меня в своей машине».

Опустим слова генерала Л. и ответные речи генерала Р. Ясно одно — соображали оба туго, да к тому же много потратили времени на путаные телефонные препирательства с гневливым владельцем кафе. Уже около полуночи Славская, кутаясь в цветастый халат и стараясь казаться заспанной, впустила их в дом. Ей не хотелось тревожить мужа, уже, как она уверяла, уснувшего. Ей хотелось узнать в чем дело, уж не стряслось ли чего с генералом Федченко?

— Он исчез, — сообщил честный генерал Л.

— Ах! — сказала Славская и упала без чувств, едва не обрушив при этом маленькую гостиную. Что бы ни думало большинство ее поклонников, в ее лице сцена потеряла не так уж и много.

Так или иначе генералы умудрились не поговориться Голубкову о записке, и он, сопровождая их в штаб-квартиру Б.Б., полагал, что генералы и вправду намерены обсудить с ним, звонить ли в полицию сразу или прежде по-

советоваться с восьмидесятивосьмилетним адмиралом Громобоевым, который по какой-то смутной причине считался Соломоном Б.Б.

— Что это значит? — спросил генерал Л., протягивая Голубкову роковую записку. — Прочитайте внимательно, прошу вас.

Голубков прочитал внимательно — и сразу же понял, что все пропало. Мы не станем заглядывать в пропасть его чувств. Пожав узкими плечами, он возвратил записку.

— Если это действительно писал генерал, — сказал он, — а должен признать, рука очень похожа, то я могу сказать только одно: кто-то выдал себя за меня. Впрочем, я имею основания думать, что адмирал Громобоев сможет меня оправдать. Предлагаю сейчас же ехать к нему.

— Да, — сказал генерал Л., — поедem сейчас же, хоть время и позднее.

Генерал Голубков, со свистом надев дождевик, вышел первым. Генерал Р. помог генералу Л. отыскать его шарф. Шарф соскользнул за одно из тех кресел в прихожей, чей удел — принимать в себя не людей, а вещи. Вздыхая, генерал Л. надел старую фетровую шляпу, прибегнув для исполнения этого тонкого дела к услугам обеих рук. Затем шагнул к двери.

— Минуту, генерал, — понизив голос, сказал генерал Р. — Я хочу кое о чем вас спросить. Как офицер офицеру — вы совершенно уверены, что... ну что генерал Голубков говорит правду?

— Это нам и следует выяснить, — ответил генерал Л., принадлежавший к числу людей, полагающих будто всякое предложение, если

---

— Вы улыбаетесь, господин Кусонский? По-моему, это не смешно. Если бы вы не мешкали, Скоблин сидел бы сегодня на скамье подсудимых, рядом с Плевицкой!

**П.Н. Переверзев:** ...впечатление она производила скорее неблагоприятное, впечатление холодной решимости защищаться во что бы то ни стало, без всякого волнения и гнева, строго следя за собой, заранее подготавливая эффект своих ответов и жестов...

...если всё останется до конца в пределах фактов, приведенных в обвинительном акте, то будет ли обвинена или оправдана Н. Плевицкая, мы все равно не узнаем, кто и с какой целью похитил и по всей вероятности лишил жизни ген. Миллера.

Собственно говоря, в деле есть только весьма легкие косвенные улики виновности Плевицкой в гибели ген. Миллера; даже это и не улики, а скорее предположения, и предположения сомнительные, которые нельзя толковать непременно во вред обвиняемой... Несомненным остается только желание Плевицкой спасти мужа от преследования судебных властей. Судя по тому, как Плевицкая решила защищаться, она ничего не раскроет в этом процессе, что могло бы дать хоть малое удовлетворение глубокому чувству гнева и скорби, охватившему при вести о похищении ген. Миллера всех русских.

## 10. Вердикт: виновна! (14 декабря)

Присяжным поставлено 7 вопросов:

1. Было ли совершено 22 сентября 1937 года на французской территории похищение и

в нем все слова на месте, непременно что-нибудь значит.

В дверях они слегка поддержали друг дружку за локти. Наконец генерал постарше принял уступку и не без лихости вышел. Затем оба остановились на площадке, ибо лестница поразила их полным своим безмолвием. «Генерал!» — крикнул в пролет генерал Л. Затем они посмотрели один на другого. Затем торопливо и неловко загрохотали по выщербленным ступеням вниз, вышли наружу и встали под черной моросью, посмотрели туда, сюда и снова один на другого.

Ее арестовали ранним утром следующего дня. Во все время следствия она ни разу не вышла из образа убитой горем невинности. Французская полиция проявляла странную вялость, исследуя возможные версии, как если

б она полагала, что исчезновение русских генералов — это своего рода занятный туземный обычай, восточное диво, которому, возможно, лучше бы и не случаться, да только как его упредишь? Создавалось, впрочем, впечатление, что о технике трюка с исчезновением Sûrete знает куда больше, чем позволяет ей высказать дипломатическая осмотрительность. Европейские газеты писали о деле сочувственно, но как бы посмеиваясь и скучая. В общем «L'affaire Slavska» большой сенсации не произвело — русская эмиграция была решительно не в фокусе. По забавному совпадению и немецкое, и советское агентства печати коротко сообщили, что два генерала белых скрылись из Парижа, прихватив с собой казну Белой Армии.

## 7

Судебное разбирательство получилось на удивление путаным и недоказательным, свидетели отнюдь не блистали, а окончательный приговор, вынесенный Славской по обвинению в насильственном похищении, был юридически очень спорным. Незначачие мелочи постоянно заслоняли основной предмет разбирательства. Люди, не внушающие доверия, вспоминали именно то, что требовалось, и наоборот. всплыл какой-то счет, подписанный неким Гастоном Куло, фермером, «roug un arbre abattu». Генерал Л. и генерал Р. ужасно

намучились в лапах ката-адвоката. Парижский «клошар», живописно небритое существо с хорошо вызревшим красочным носом (эта роль и вовсе простая) из тех, что таскают все свое земное достояние в обширных карманах, а износивши последний носок, обертывают ступню слоями драной газеты и вечно сидят, растопыря ноги и приладив рядом бутылку вина, под осыпающейся стеной какого-нибудь недостроенного дома, который никогда и не будет достроен, потряс публику рассказом о том, как грубо обошлись у него

---

лишение свободы? 2. Длилось ли лишение свободы больше одного месяца? 3. Была ли Плевицкая сообщницей? 4. Было ли совершено 22 сентября 1937 года на французской территории насилие над ген. Миллером? 5. Если было, то не с обдуманым ли заранее намерением? 6. Если было, то не с завлечением ли в западню? 7. Была ли Плевицкая сообщницей?

Первые 2 вопроса, а также 4-й, 5-й и 6-й устанавливают факт похищения ген. Миллера и относятся к подлинному виновнику преступления. (Скоблин не назван, потому что суд будет разбирать дело о нем заочно, в особом порядке.) Собственно Плевицкой касаются только 3-й и 7-й вопросы...

Старейшина присяжных поднимается и торжественно, положив руку на сердце, объявляет вердикт: «Да!» на все вопросы, поставленные судом.

Плевицкая шатается, но тотчас овладевает собой. Рука судорожно тянется к горлу...

М.М. Филоненко (взволнованно): Обстоятельства преступления остались невыясненными. Все темно и загадочно. Я склоняюсь перед вердиктом. Но дайте Плевицкой дожить до того дня, когда обнаружится истинный виновник.

Суд обращается к подсудимой. Она имеет право на последнее слово.

Плевицкая нерешительно глядит на защитников, на судей и на публику. Она отвечает деревянным, едва слышным голосом:

— Я... не... знаю...

Присяжные заседатели и судьи удаляются для вынесения приговора.

5 ч. 30 м. дня... Плевицкая стоит, опираясь на барьер. Она овладела собой, разговаривает спокойно. Стая фотографов налетает на нее. Щелкают аппараты, вспыхивают лампы. Плевицкая отворачивается от ярких вспышек, закрывает глаза рукой.

на глазах с пожилым человеком. Две русские дамы, из которых одну какое-то время тому лечили от острой формы истерии, показали, что в день преступления видели, как генерал Голубков куда-то вез в машине генерала Федченко. Русский скрипач, обедая в вагон-ресторане немецкого поезда... — впрочем, что пользы пересказывать все эти несурзные слухи.

Мелькают последние кадры — Славская в тюрьме. Смирненно вяжет в углу. Пишет, обливаясь слезами, письма к госпоже Федченко, в них говорится, что теперь они — сестры, потому что мужа обеих схвачены большевиками. Просит разрешить ей губную помаду. Рыдает и молится в объятиях юной русской монашенки, которая пришла поведать о бывшем ей видении, открывшем невинность генерала Голубкова. Причитает, требуя вернуть ей Новый завет, который полиция держит у себя, — держит главным образом подальше от экспертов, так славно начавших расшифро-

вывать кое-какие заметки, нацарапанные на полях Евангелия от Иоанна. Вскоре после начала второй мировой войны у нее обнаружилось непонятное внутреннее расстройство, и когда одним летним утром три немецких офицера появились в тюремной гошпитали и пожелали увидеть ее, немедленно, им сказали, что она умерла, — и может быть, не солгали.

*Бостон, 1943*

**Примечания переводчика.**

1. Belle Dame ... Merci — отсылка к знаменитой балладе Китса «La Belle Dame Sans Merci» («Прекрасная дама, лишенная сострадания»).

2. Sûrete — la Sûrete, Французская сыскальная полиция.

3. «pour un arbre abattu» — «за срубленное дерево» (фр.).

*Перевод с английского  
Сергея Ильина*

---

Оглашается приговор: 20 лет каторжных работ, 10 лет запрещения пребывания во Франции. Приговор — необыкновенно суров. Возгласы изумления послышались в публике. Высказывались мнения, что Плевицкая, как бы ни была виновата, не заслужила столь тяжкой кары. Но смысл приговора понятен. Его объяснил прокурор Флаш в обращении к присяжным заседателям: суд дал примерное предостережение тем, кто, будучи иностранцами, совершают преступление на французской земле.

**Составил А.Чанцев**

*Редакция благодарит Давида Саркисяна  
за идею и организацию материалов рубрики.*

# АНОНС

**В следующем номере журнала  
"Киносценарий" читайте:**

**Райнер Вернер Фассбиндер "Кокаин"** -  
либретто последнего сценария.

**Юрий Арабов "Две танцовщицы"** -  
непоставленный сценарий.

**"Касабланка"** - сценарий золотой классики  
Голливуда.

Авторы: Джулиус Дж. Эпстайн  
Филип Г. Эпстайн  
Хауард Коч

В главных ролях: **Ингрид Бергман,  
Хамфри Богард.**

**Григорий Горин "Записки брата Лоренцо"**

**Александр Бородянский "Американская дочь"**  
**Карен Шахназаров**

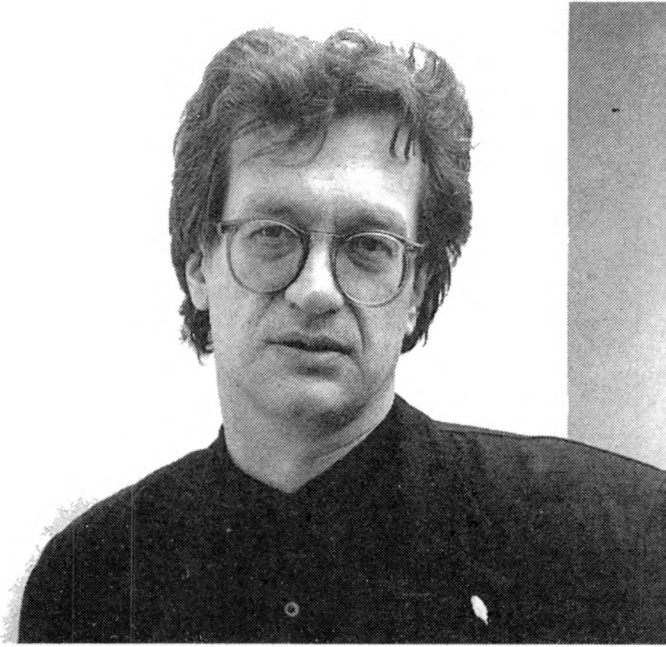
**Наталья Рязанцева "Никто не хотел уезжать"**

В следующем номере мы представляем новые имена, продолжаем публикацию мемуаров **Валерия Фрида** "58 <sup>1</sup>/<sub>2</sub>", **Василия Катаняна** "Сережк или Страсти по Параджанову", прозу известных и молодых кинодраматургов, материалы из личных архивов кинематографистов, рассказы о звездах мирового экрана и другие материалы для всех, кто интересуется

## КИНО



# ВИМ ВЕНДЕРС:



## *«Настоящая жизнь существует только в настоящей жизни»*

Вим Вендерс - счастливчик, баловень судьбы, любимец критиков и фанатов кино. Мало кому из режиссеров его поколения удалось снискать так много похвал и восторгов. Мало кто из современных кинематографистов обладает такой внушительной коллекцией наград самых престижных кинофестивалей. 1982: Золотой Лев Святого Марка кинофестиваля в Венеции (ф. «Положение вещей»). 1984: Золотая пальмовая ветвь и премия Фипресси кинофестиваля в Каннах (ф. «Париж—Техас»). 1987: Премия за лучшую кинорежиссуру фестиваля в Каннах и Европейская премия «Феликс» («Небо над Берлином»). 1993: Большой специальный приз жюри кинофестиваля в Каннах (ф. «Так далеко, так близко»). Что и говорить, впечатляющий список!

Кинорежиссура для Вендерса — не столько профессия, сколько стиль жизни. Бродить по миру с камерой, постоянно менять пристанища, проникать в самые отдаленные уголки света, ловить сюжеты, а потом за монтажным столом придавать им четко выверенную форму. Поэтому каждый фильм Вендерса, даже из числа тех, что принято называть экранизациями, несет на себе печать его опыта и сиюминутных переживаний. Однажды во время интервью Вендерса спросили, чем закончится снимаемый им фильм, и он чистосердечно признался, что еще не знает. Все определится позднее на съемочной площадке, когда вступят в непосредственное соприкосновение актер и среда, а внутренний настрой режиссера обретет четко выраженную форму.

Родившийся спустя три месяца после окончания войны, Вендерс вырос, как тогда говорили, в атмосфере тотального господства американской популярной культуры. Впрочем, сам он воспринимал, как величайшее благо, возможность слушать американскую поп-музыку, джаз и смотреть американские фильмы. Рок-музыкантом ему стать не удалось, хотя и очень хотелось. Он выбрал не менее увлекательную профессию – кинорежиссер. К великому огорчению рода Вендерсов, давших Голландии и Германии немало уважаемых врачей и аптекарей.

Американизм на долгие годы стал творческой религией Вендерса. Свой путь в большом кино он начинал с экранизации романа классика американской литературы Н. Готорна «Алая буква» (1972). А самый знаменитый фильм немецкого периода творчества «Американский друг» (1977) был снят им по произведениям американской писательницы П. Хайсмит. Кстати, благодаря этому фильму Вендерс был приглашен на работу в Америку. Знаменитый режиссер и продюсер Ф. Коппола правильно прочел намек, содержащийся в названии фильма немецкого коллеги, доверив ему постановку биографической ленты о знаменитом авторе детективов Д. Хэммете. Постановка затянулась на четыре года. Не привыкший к застоям, Вендерс снял еще три фильма — два документальных («Молния над водой» и «Когда я пробуждаюсь») и картину «Положение вещей», с которой началась его мировая слава.

Когда в 1982 году «Хэммет» был, наконец, выпущен на экраны, то не понравился ни американцам, ни европейцам, ясно показав невозможность соединения двух различных систем производства — европейской и американской. И все же эта работа не прошла бесследно. Вендерс получил возможность увидеть Америку изнутри, проникнуться ее духом, понять ее проблемы. Насколько успешным было это постижение, можно судить по фильму «Париж—Техас» (1984), захватывающему эпосу, показывающему титаническую борьбу человека со своим одиночеством.

Американская действительность, отдающая предпочтение внешнему, а не внутреннему содержанию, начала тяготить Вендерса, и он вернулся в Германию, выбрав для жительства не буржуазный Дюссельдорф или аристократический Мюнхен, а трагический город Берлин, в 1986 году еще разделенный на две части. Истории этого города, чувствам его жителей и посвятил Вендерс свой фильм «Небо над Берлином» (1986). Но во главу угла он поставил трогательную историю любви живущего в небе над Берлином ангела Дамиэля и воздушной гимнастки Марион. Чтобы быть рядом с любимой, Дамиэль меняет свое бессмертие на участь простого смертного. И как выясняется впоследствии, нисколько не жалеет об этом.

Сценарий «Небо над Берлином» Вендерс писал вместе со знаменитым австрийским писателем Петером Хандке. И это был один из немногих случаев в его режиссерской практике, когда он приступил к съемкам, имея перед собой твердую сценарную основу. Это и помогло ему создать произведение необыкновенно целостное, органично сочетающее сказочность темы ангелов с подчеркнуто документальной манерой изображения жизни большого, разделенного города, философские раздумья о судьбах немецкого народа с остроумными жанровыми зарисовками.

Мудрая притча Вендерса была по достоинству оценена зрителями во всем мире. В 1992 году Вендерс продолжил историю ангела Дамиэля и его друга Кассиэля. Правда, вторая часть фильма получилась не столь органичной, но никто, даже такие обласканные судьбой счастливицы, как Вендерс, не застрахованы от неудач.

В конце 1993 года в Москве прошла ретроспектива фильмов Вима Вендерса, где демонстрировался его новый фильм «Ариша, медведь и каменное кольцо».

*Гарена Краснова*

# Вим Вендерс, Петер Хандке

## Небо над Берлином

### *Рука пишет на бумаге:*

*Когда ребенок был ребенком,  
он не осознавал,  
что это значит, быть ребенком,  
все его приводило в восторг.*

### **Голос Дамиэля:**

Когда ребенок был ребенком, он ходил с опущенными руками,  
Хотел, чтобы ручей стал речкой, речка — большой рекой, а лужа — морем.  
Когда ребенок был ребенком, он не осознавал, что это значит, быть ребенком, все его приводило в восторг, и все души были для него едины.  
Когда ребенок был ребенком, у него не было суждений, не было привычек, он любил сидеть на корточках, бегал вприпрыжку, носил в волосах настоящее воронье гнездо и не строил серьезной мины во время фотографирования.

Небо в облаках. Город с высоты птичьего полета. На башне собора стоит ангел Дамиэль и смотрит вниз.

Прохожие переходят улицу. Ребенок застывает на середине перехода и замороженно смотрит вверх. Гул голосов, звучащих не только по-немецки.

Маленькая девочка смотрит вверх. Две девочки в автобусе. Одна из них поднимает голову и толкает локтем подружку. Обе замороженно смотрят вверх. Автобус исчезает из кадра.

Камера удаляется от собора. Фигурка ангела, смотрящего вниз, становится все меньше.


Камера приближается к молодому человеку, который несет за плечами ребенка. Малыш смотрит в небо.

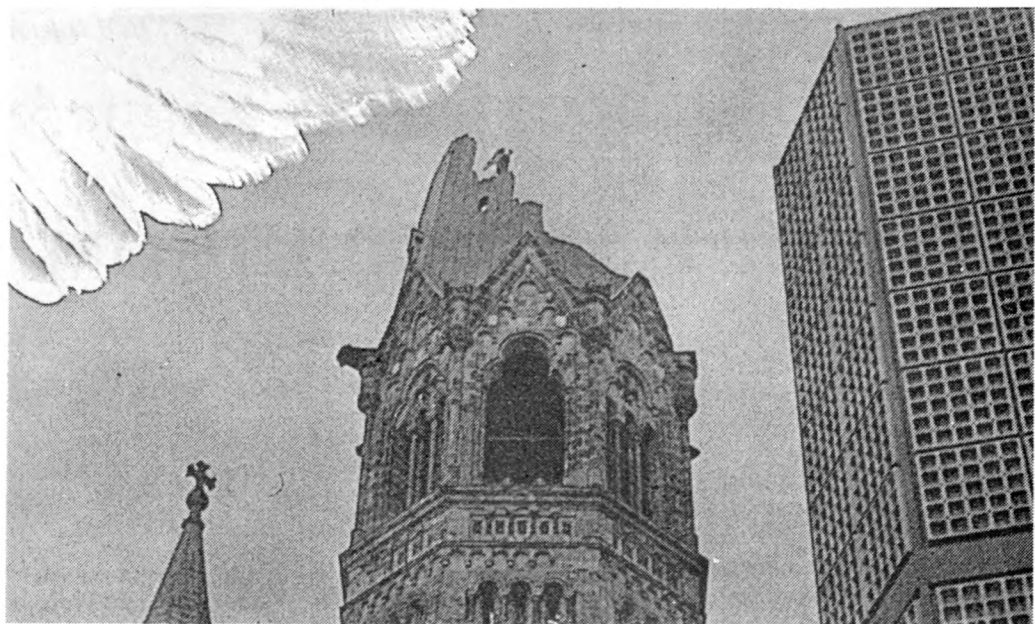
### *Мысли мужчины с ребенком:*

*Какое наслаждение поднять голову к свету, который струится вокруг, какое наслаждение получаешь от просветленных светом красок, которые воспринимает наш глаз.*

*Женщина на велосипеде, сзади нее маленькая девочка. Она тоже смотрит на небо.*

*Als das Kind Kind war,  
wusste es nicht,  
dass es Kind war,  
alles w*





**Мысли женщины:**

*Наконец двигаюсь, наконец больше не одна, наконец двигаюсь, наконец спасена. Наконец двигаюсь, наконец спокойна, наконец, внутренний свет.*

В небе летит самолет. Салон самолета. Камера движется по проходу. Пассажиры развлекаются, кто как может. Молодой человек слушает музыку. Женщина пристегивается ремнями. Другая женщина успокаивает ребенка, один пассажир разговаривает сам с собой. Пара молодых людей перешептывается друг с другом. Девочка рисует, потом поднимает голову и смотрит прямо в камеру. Детский голосок, поющий песню «Вверх на желтом автомобиле».

**Мысли девочки:**

*...и побежала к нему, побежала и потом обняла его. Здесь маленький домик в два этажа и еще есть терраса. Каждый день мы ходим купаться. Мужчину, который здесь живет, зовут Петро.*

Появляется Дамиэль, останавливается, словно пронзенный насквозь взглядом ребенка. Девочка рассматривает Дамиэля, улыбаясь ему. Он отвечает ей взглядом, внимательно рассматривая рисунок.

Дамиэль переводит взгляд на пассажира, сидящего у окна. Тот ест земляные орешки, без особого интереса перелистывая сценарий. Это знаменитый американский актер Питер Фолк. Он летит в Берлин, чтобы принять участие в съемках фильма.

**Мысли Питера Фолка:**

*...как мало я знаю об этой роли. Может быть, она проявится во время съемок. Хорошо бы получить соответствующий костюм. Это уже половина дела. Эмиль Яннингс, Кеннеди, фон Штауффенберг, чертов парень...*

Стюардесса идет по проходу мимо рисующей девочки и Питера Фолка. Она не замечает Дамиэля, который едва успевает отклониться и потом исчезает из кадра.

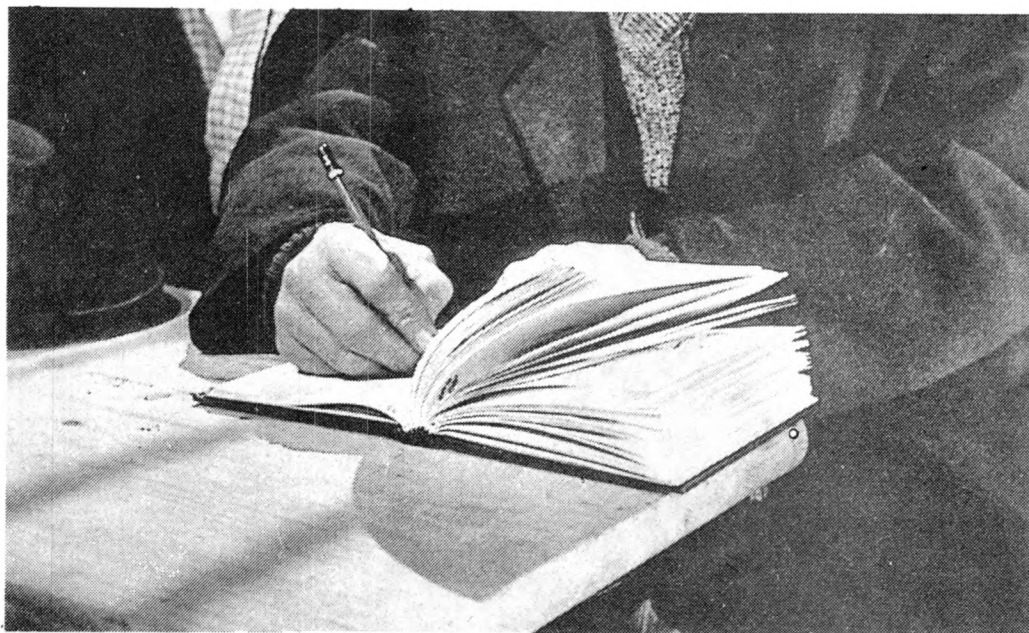
**Стюардесса:** Не могли бы вы пристегнуться? А ты нарисовала потрясающую картину!

Питер Фолк возбужденно смотрит в том направлении, в котором исчез Дамиэль, потом озабоченно чешет голову и переводит взгляд в иллюминатор.

**Мысли Питера Фолка:**

*Если бы мама была здесь, она бы сказала: «Гулять, иди прогуляйся». Токио, Киото, Париж, Лондон, Триест, Берлин.*

Через просвет в облаках далеко внизу можно увидеть Берлин. Появляется линия горизонта. Самолет делает круг над городом и ныряет в пелену облаков. В поле зрения камеры появляется берлинская радиомачта. Сделав полукруг вокруг нее, камера приближается к кварталу старых зданий, расположенных вдоль шоссе. Радиомонтаж голосов, говорящих на самых разных языках. Задержав взгляд на ярмарочном павильоне и городском шоссе, камера ныряет в окно старого дома. На диване сидит юноша и смотрит телевизор. Слепая женщина внутренне приободряется, словно чувствуя приближение ангела (камеры).



**Мысли юноши:**

*Мы уже ждем целый час, и нет ничего интересного.*

**Мысли слепой женщины:**

*Вам дано слишком много красок, чтобы вы могли разбираться во времени. Вы ошибаетесь в красках и не можете быть точными.*

Камера продолжает свои блуждания в пространстве. Вот она задерживается возле транзисторного приемника, стоящего на подоконнике, и вползает в комнату, где женщина занята уборкой. Она полностью поглощена работой, продолжая оглядывать свое маленькое царство.

**Мысли женщины:**

*Комната оказалась даже меньше, чем я думала. Как я это все сумею вычистить? Стиральная машина, холодильник... Ах, я должна что-то придумать!*

Молодой человек в военном обмундировании входит в комнату, которая была пристанищем его недавно умершей матери. На полу разложены письма и фотографии, рассортированные по ящичкам и сверткам. Молодой человек пересекает комнату, садится в кресло, оглядывается вокруг себя. Камера рассматривает фото, особо выделяя фотографию молодого человека в детском возрасте.

**Мысли молодого военного:**

*Она все собирала — этикетки, билеты, не могла ни с чем расстаться. Мама! Моя мама! В сущности, она не была ею. Отец, он был моим отцом. Теперь она мертва. Ни слез, ни боли... может быть, они придут позднее. Боже,*

*как я уже стар. Моя сестра ушла. Я должен уйти отсюда, и поскорее. Быстрее отсюда.*

Камера выплывает из окна и оказывается во дворе, где ребяташки играют в ловушку. Камера поворачивается и приближается к фасаду дома, стоящего напротив. Из одного окна раздается громкая музыка. Молодой человек сидит на краю постели, бессмысленно уставившись перед собой.

**Мысли юноши:**

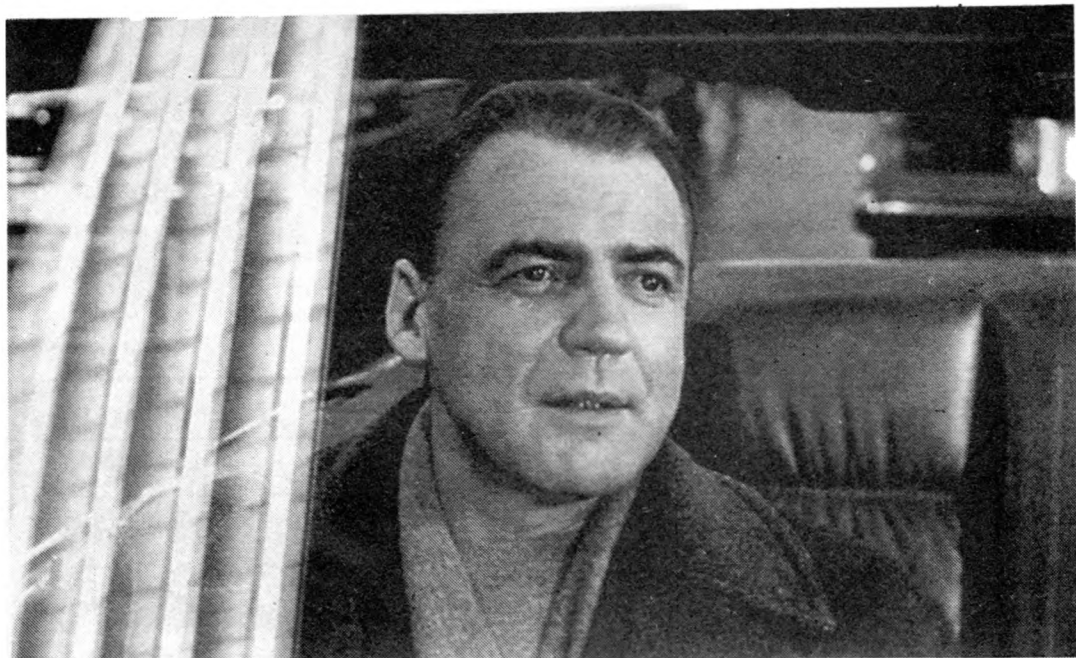
*Она тебя не любила! Но ведь и ты не любил ее. Так радуйся, что она тебя забыла. Наконец, ты свободен. Она сказала: «Я бы хотела умереть, а потом воскреснуть и пережить все сначала».*

Камера останавливается перед дверью, на которой висит табличка: «Не беспокоить!» Оттуда несется громкая музыка, которой наслаждается молодой человек. Камера поворачивается и приближается к полутемной комнате, в которой перед телевизором сидит старик и о чем-то размышляет. Камера очень точно воспроизводит угол зрения старика, который смотрит в камеру, словно в телевизор.

**Мысли старика:**

*Что будет с этим парнем? Ведь у него в голове только музыка. Нет, я не могу больше этого выносить. Что ему еще нужно? Гитару я ему купил, так теперь он хочет ударную установку. Но это все стоит денег. Постепенно он вытянет из меня все. Одумается он или нет?*

На экране телевизора крупный план женщины, которая считает деньги.



### *Дамиэль — Бруно Танц*

**Женщина:** Уже потом, когда деньги были у меня в руках, я рассмотрела каждую монетку в отдельности. Была ли это марка, 10 пфеннигов или пять...

Камера движется по направлению к кухне, где за столом сидит жена старика. Она помещивает кофе и тяжело вздыхает.

#### ***Мысли старухи:***

*Нет ничего удивительного в том, что его интересует только рок-н-ролл. Чем он увлечется на следующий день, этого никто не знает.*

Камера покидает комнату и приближается к лестничной клетке. Во дворе стоит голая лиственница. Затем камера попадает в комнату, сплошь заставленную различной аппаратурой. Перед телевизором сидят трое мальчиков, полностью погруженных в видеоигру.

**Первый мальчик:** Толкай его, толкай его с дороги, тогда у тебя станет меньше.

**Второй мальчик:** Отстань!

**Третий мальчик:** Оставь меня в покое...

**Первый мальчик:** Нет, нет, теперь моя очередь...

**Второй мальчик:** Проеду еще разок.

**Третий мальчик:** Ну хорошо, Паульхен.

**Первый мальчик:** У нас осталось всего 13 секунд. Больше нам ничего не сделать.

**Третий мальчик:** Отстань, давай еще раз.

**Первый мальчик:** Мы ничего больше не сможем сделать, парень.

**Второй мальчик:** Теперь моя очередь... Я! Я!

Детская комната. В дверях стоит Дамиэль и смотрит, как мать, стоящая на коленях перед детской кроваткой, пытается одеть дочку. Та сопротивляется. Через толстые стекла очков девочка смотрит в камеру, ее лицо озаряет открытая улыбка.

**Мать:** Ты должна сегодня пойти одна.

**Дочь:** Я знаю.

Дамиэль, приближаясь, очень серьезно рассматривает девочку.

**Голос Дамиэля:**

Когда ребенок был ребенком, это было время следующих вопросов:

Почему я — это я и почему не ты? Почему я здесь и почему не там?

Где начинается время и кончается пространство?

И разве жизнь под солнцем не есть только мечта?

Разве то, что я вижу, слышу и обоняю, не есть только видимость мира? На самом ли деле существуют зло и злые люди? Как могло случиться, что я, который есть Я, прежде чем стать мной, был никем и что однажды Я, который есть Я, больше не буду тем, который есть Я?

Камера парит над домами и улицами, медленно приближаясь к санитарной машине, которая с включенной сиреной несется по городу. Внутри санитарной машины на носилках в родовых муках лежит молодая женщи-



**Кассиэль — Отто Зандерс**

на. Рядом с ней сидит муж, держа ее за руку. Камера медленно отъезжает. Округлость живота заполняет экран. Рука Дамиэля ложится на живот. Камера отъезжает. Дамиэль стоит между женщиной и его женой. Та улыбается. Кажется, что боли покинули ее.

**Мысли будущего отца:**

*Надеюсь, что скоро все закончится, Лотта. Жаль, что я никак не могу тебе помочь. Лучше бы я сам испытал эти боли. Скоро все это отдалится от нас, однако сейчас мы должны пройти через это.*

**Мысли беременной женщины:**

*Я должна дышать животом. Ребенок нуждается в кислороде. Дышать животом, но это причиняет мне боль. Сейчас это пройдет. Мой беспомощный, я очень рада тебе. Но я очень напряжена, как ты видишь.*

По шоссе движется вереница автомобилей. За рулем «фольксвагена» мужчина, сидящая рядом с ним женщина бьет его, а потом, всхлипывая, припадает к его плечу.

**Мысли мужчины за рулем:**

*Погубят тебя эти женщины.*

**Плачущая женщина:** Ах ты, дерьмовый тип!

За рулем «мерседеса» пожилая женщина. Рядом с ней на сиденье большой черный дог.

**Мысли старой женщины с собакой:**

*Я думаю, Блэки, что мы сбились с пути. Ведь*

*намнужно к лесному кладбищу. Мы ведь давно не были здесь, не так ли?*

Мимо проплывает еще один «мерседес». В нем большая турецкая семья — трое взрослых, трое детей.

Выставочный салон фирмы, торгующей автомобилями. Несколько рядов выставленных на продажу автомобилей. В одном из них, что стоит у самой витрины, на переднем сиденье открытой модели «БМВ-кабриолет» сидят уже хорошо знакомый нам ангел Дамиэль и его приятель ангел Кассиэль. На ветровом стекле машины играют блики неоновой подсветки, потому изображения ангелов кажутся расплывчатыми. Камера трогается с места и объезжает Дамиэля с боку, так что виден его профиль. Затем она повторяет это движение с другой стороны, показывая профиль Кассиэля. Тот достает записную книжку и начинает зачитывать из нее.

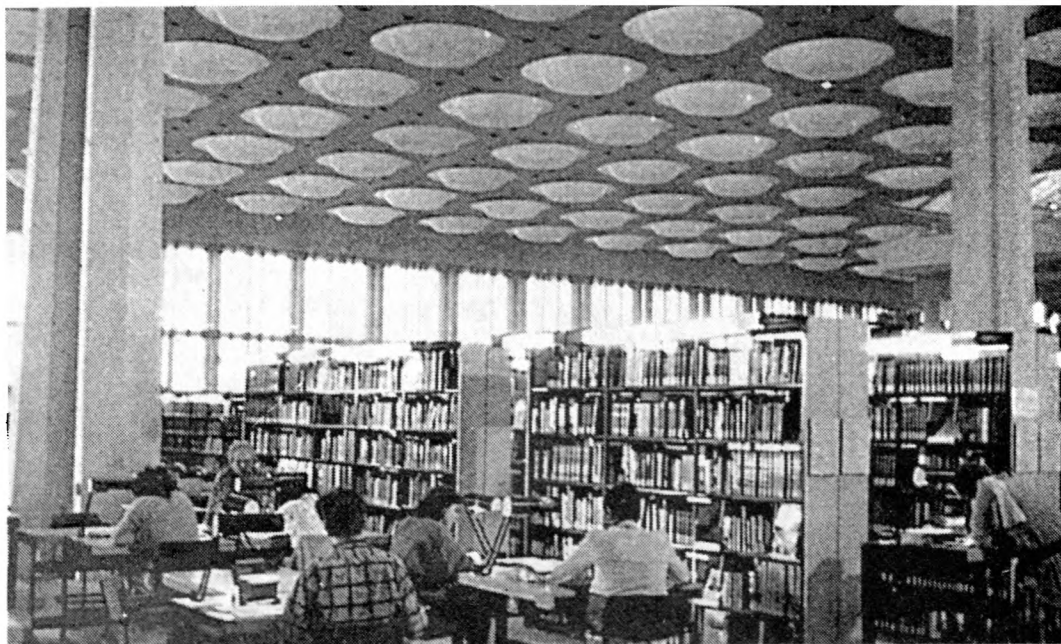
**Кассиэль:** Восход солнца в 7.22, заход в 14.28. Восход луны — 19.04, заход — ... Уровень воды в Хавеле и Шпрее... 20 лет назад советский истребитель упал в Штессензее вблизи Хеерштрассе. 50 лет назад была...

**Дамиэль:** Олимпиада.

**Кассиэль:** 200 лет назад Николас Франсуа Бланшар перелетел город на воздушном шаре.

**Дамиэль:** А сегодня это делают некоторые беженцы...

**Кассиэль:** И сегодня...



Дамиэль прерывает друга и показывает пальцем на парочку влюбленных, которые целуются прямо у витрины. Кассиэль продолжает чтение.

**Кассиэль:** В почтовом отделении номер 44 один человек, решивший подвести черту под собственной жизнью, наклеил на свои прощальные письма особые марки. Потом он вышел на Марианнплац и поговорил по-английски с американским солдатом, в первый раз со школьных времен и вполне сносно... В исправительной тюрьме Плетцензее один заключенный, прежде чем удариться головой об стену, крикнул: «Сейчас!»... А на станции метро водитель поезда, вместо того чтобы объявить название станции, неожиданно выкрикнул, «Огненная земля».

**Дамиэль:** Прекрасно!

**Кассиэль:** Ну, а ты что расскажешь?

Перед витриной автомобильного салона остановилась парочка. Они с вождением рассматривают выставленную в витрине новую модель автомобиля. Ангелы, ведущие беседу на переднем сиденье машины, остаются для них невидимыми. На руках у мужчины ребенок, завернутый в серебристый анорак. Дамиэль достает книжку и начинает зачитывать из нее монотонным, безрадостным голосом.

**Дамиэль:** Проходящая, которая в разгар дождя закрыла зонтик и вся промокла... Ученик, который описал своему учителю, как растет из земли папоротник, изумленное лицо учителя... Слепая женщина, которая по своим внутренним часам почувствовала мое приближение.

Дамиэль неожиданно прерывает свой доклад, но потом продолжает уже другим тоном.

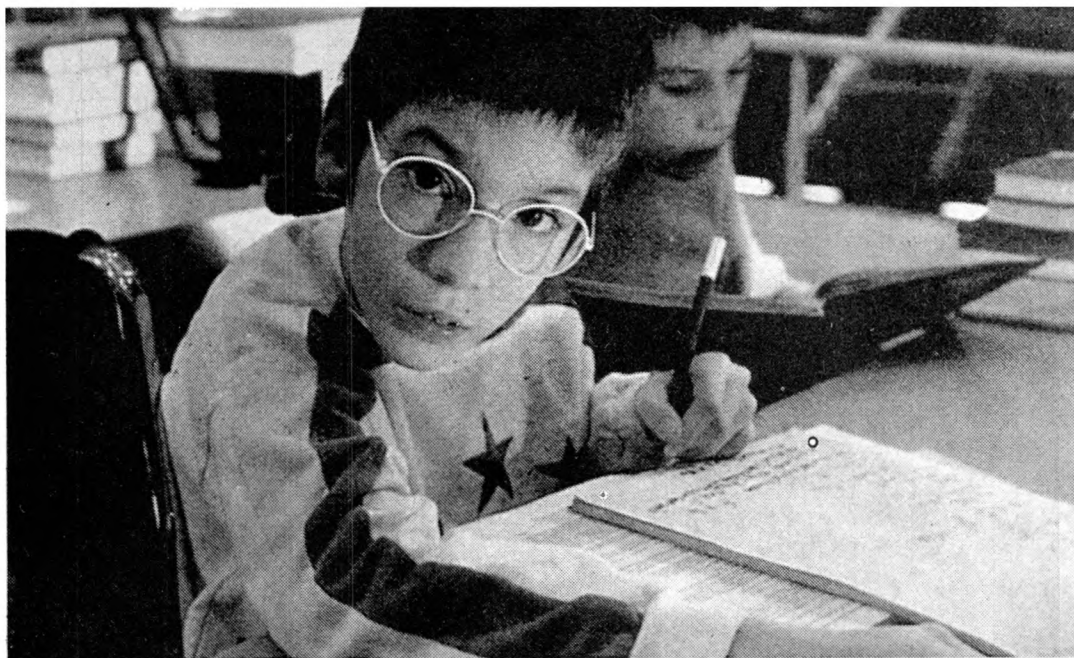
**Дамиэль:** Это так замечательно — жить только во имя духовного и день за днем составлять для вечности отчеты о жизни людей, но для меня становится мое вечное духовное существование невыносимым. Я не хочу больше парить в воздухе, а хочу обрести вес, который бы лишил меня бесплотности и привязал к земле.

Перед витриной автосалона останавливается старик, его седые волосы разметал ветер, он неподвижно устался на автомобиль. Кассиэль внимательно слушает Дамиэля.

**Дамиэль:** Сесть на свободное место за карточным столом, кивком головы приветствовать друзей. Все время, в котором мы соучаствовали, было только видимостью. Нам позволяли принять участие в борьбе на ринге, которая заканчивалась видимостью перелома бедра. Мы наслаждались видимостью ловли рыбы, видимостью трапезы, видимостью напитков и еды. Нам позволялось зажарить барашка и пить вино в шатре, раскинутом в пустыне, но это опять была только видимость! Я бы хотел произвести на свет ребенка или посадить дерево. Это было бы уже что-то. Прийти домой после долгого дня и, как Филипп Марлоу, подкармливать кошек... Иметь температуру, черный палец от постоянного чтения газет и не только воодушевляться духом, но и процессом еды, линией затылка, ухом. Лгать... Как это невыносимо!

**Кассиэль:** При ходьбе ощущать весь свой костяк





**Дамиэль:** Наконец, догадаться, что можно узнать все, что можно! Сказать «Ах» и «Ох», «Ах и больно», вместе «Да и аминь».

**Кассиэль:** И однажды придти в воодушевление от сил зла. Привлечь к себе всех демонов земли, начать охоту... стать дикарем.

Дамиэль имитирует дикаря.

**Дамиэль:** Или, наконец, почувствовать, что это такое снять — под столом туфлю и пошевелить пальцами, походить босиком.

**Кассиэль:** Остаться одному. Как можно допустить такое! Стань, наконец, серьезным! Мы можем остаться девственными, только сохраняя серьезность! Не делать ничего другого, только наблюдать, собирать, свидетельствовать, охранять, оставаться духом. Сохрани дистанцию. Запечатлей себя в слове!

Девушка и парень с восторгом разглядывают автомобиль, в котором сидят ангелы, естественно, не замечая их. Те, ослабившись, наблюдают за людьми.

**Молодой человек:** Это невозможно купить. Можно только угнать. Кто-то уже пытался.

**Молодая женщина:** Ты только представь себе! Влезаешь в машину и подальше от этого смога.

**Молодой человек:** Нам с тобой по средствам только телега!

## ГОСУДАРСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА

Камера медленно движется по ее огромному, наполненному воздухом пространству, где над книгами склонились многочисленные чи-

татели. Женщина-ангел рядом со студенткой-медичкой посылает камере привет. Появляются Дамиэль и Кассиэль. Вскоре они разъединяются. Кассиэль остается один, закрывает глаза и начинает вслушиваться в хор голосов, которые наполняют государственную библиотеку, словно кафедральный собор.

**Первый читатель:** Тропический лес выстраивается в пять ярусов. Рост деревьев происходит в условиях недостатка света. Потому почву застилает толстый ковер из мхов и папоротников, которые не нуждаются в свете. Папоротники достигают порой 6-метровой высоты.

**Второй читатель:** Вальтер Беньямин купил в 1921 году акварель Поля Клее «Ангелус новус». Вплоть до его бегства из Парижа в июне 1940 года она висела в его рабочих кабинетах (постоянно меняющихся). В своем последнем сочинении «К понятию истории» (1940) он трактовал ее как аллегория ретроспективного взгляда на историю.

**Третий читатель:** Лето движется к концу. Скоро наступит осень. В путь собираются журавли, они улетают в страну весны. Абдаль не видел их, но слышал их пронзительные крики.

**Четвертый читатель:** Вспоминая о своем прошлом, Антуан Абу констатировал, что его жизнь может быть разделена на две равные части: на ту, где он повиновался, и ту, где им повелевали. Об этой первой части он сохранил самые неприятные воспоминания.

**Пятый читатель:** Что произошло потом? Мы проникли внутрь. И здесь на поле, совсем близко от нас стоял маленький желтый аэроп-



лан, подготовленный к полету. Мы увидели Блерио и рядом с ним его ученика Лебланка. Они выстроились на поле. Блерио стоял у одного крыла, гордо держа голову, и показывал на пальцах механикам, как следует обращаться с мотором.

На этой фитилюшке он хотел подняться в воздух? Прежде чем устремиться к морю, люди сначала упражняются в луже, потом в пруду, потом в реке. Для этих же есть только море.

**Шестой читатель:** Большинство продуктов беременности должны быть в наличии до ее начала. Ни пространственные, ни защитные механизмы недостаточны для дальнейшего развития плода. Яйцо погружается не только в свою постель, но и в свой гроб. Смерть плода происходит обычно на второй или третий месяц беременности, редко в более поздние сроки. Внематочные беременности сопровождаются разрывом труб.

**Седьмой читатель:** К понятию прибавочной стоимости. Воздорожание товаров осуществляется в форме прибавочной стоимости. В процессе изготовления и распространения товара есть несколько ступеней: производство, обработка и распространение. На каждой ступени возникает прибавочная стоимость, которая выражается в различии между производственной и продажной ценой.

**Восьмой читатель:** Во второй половине декабря каждый день «Новая вечерняя газета» Осаки извещала читателей, что начиная с 20 января текущего года на протяжении трех дней на стадионе Ханшин должен состояться

бой быков. Когда первые листы с этим объявлением пришли из наборного цеха, шеф-редактор Тоугами сунул экземпляр в карман и вышел вместе с Тасиро, поджидавшим его в холодном зале приемов, на улицу. Уже несколько дней как похолодало. Пронзительный декабрьский ветер поднимал вихри пыли.

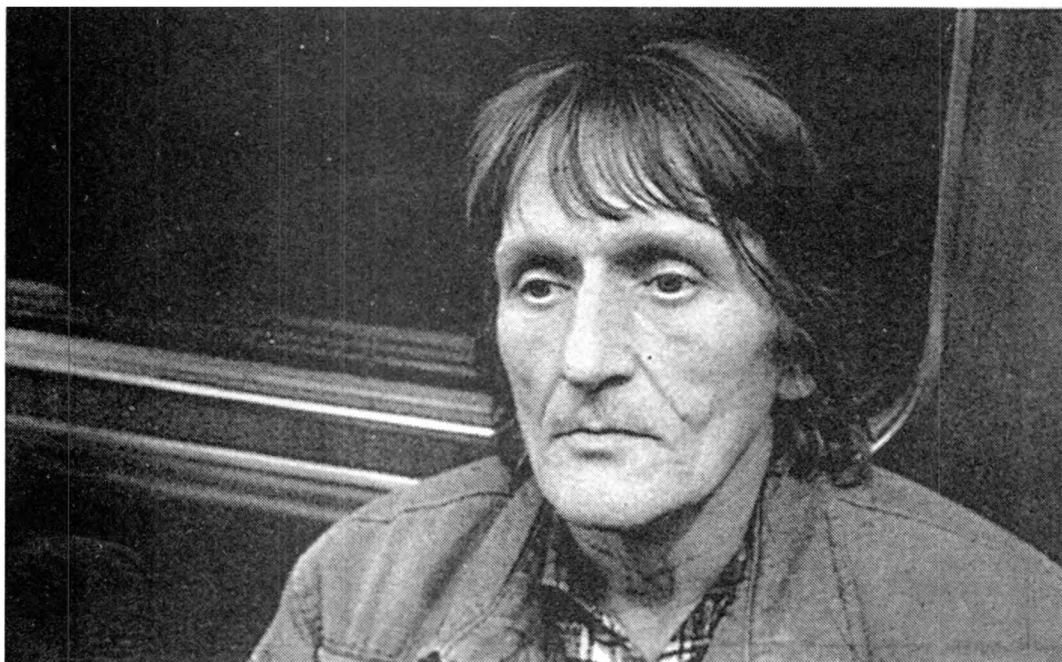
**Девятый читатель:** Все это бесконечное множество сравнений можно выразить с помощью одного единственного, который содержит в себе вариации «а» и «b», так называемую формулу. Выгода этого образа действия состоит в том, что для всех сравнений формула  $x^2 + ax + b = 0$  может дать одно решение.

Мальчик, который изучает формулу, поднимает голову от книги и пристально смотрит в камеру. Дамиэль улыбается мальчику и потом смотрит на стул, к которому направляется студент, чтобы занять свое место. Ангел, сидящий на стуле, поднимается и поворачивается к другой читательнице.

Дамиэль проходит по государственной библиотеке. Его приветствуют два других ангела. Камера покидает Дамиэля и обращает свой взор на ряды читающих по другую сторону лестницы. Женщина-ангел, заметив камеру, смеясь приветствует ее.

**Одиннадцатый читатель:**

Я вас любил, любовь, еще, быть может, в душе моей угасла не совсем, но пусть она вас больше не тревожит, я не хочу печалить вас ничем. Я вас любил безмолвно, безнадежно, то робостью, то ревностью томим, я вас любил так искренне, так нежно, как дай вам бог



любимой быть другим.

**Двенадцатый читатель:** Ее висок прижался к двери. Она услышала звон колокола. Открыв дверь, она выглянула наружу. Дом стоял в сиянии майского солнца. Кругом была разлила умиротворенность воскресного дня. Она подумала о девушке и мужчине, бегущих в своих новых весенних костюмах вдоль улицы по направлению к холодному размеренному звуку колоколов. Она посмотрела на свои туфли. Они были грязными. Она их почистила.

**Тринадцатый читатель:** Птица величиной не больше пальца скользнула в сумрачные, высотой в человеческий рост, заросли тиса и уже не появилась назад. Стрекот одномоторного самолета над местностью заставил вспомнить Аляску, как, впрочем, и звонкий гудок поезда, который курсировал вокруг города. Можно было услышать шум радара, доносящийся из-за горизонта, царапанье мыши под лестницей, а также дребезжание холодильника из кладовой. Уже второй раз за этот день писатель полил растения на лужайке, которые вместе со стеклянной стеной создавали видимость теплицы, погладил кошку и почистил ручку входной двери. Это напомнило ему, что пора приниматься за письмо, но не сейчас, а, может быть, позднее — где-нибудь в городе.

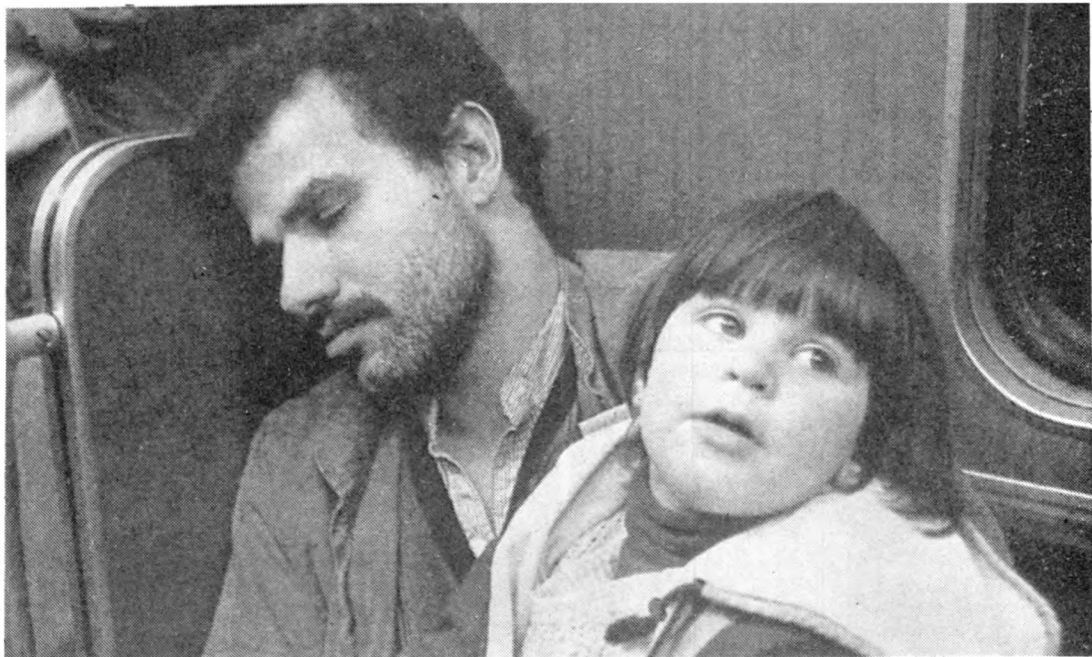
**Четырнадцатый читатель:** Я бы хотел поговорить с ангелом, если бы он предстал моим глазам. Если бы он спросил: «Ты видишь рай?» Я бы ответил: «Рай сгорел». Мои уста я бы хотел обратить к нему, как один из тех, кому не выпало больших успехов. И если бы ангел

спросил меня: «Ты чувствуешь жизнь?», я бы ответил: «Жизнь истощается». Если бы он нашел во мне ту радость, которая остается вечной в его духе, и если бы он взял ее в свои руки, я бы мог сказать: «Радость вводит в заблуждение».

**Пятнадцатый читатель:** Кассиэль (Касиэль, Касциэль, Кафциэль) — ангел одиночества и слез, который всегда показывает единство вечного царства. Кассиэль — одно из правил планеты Сатурн, правящий принц Седьмого неба и один из принцев закона силы. Порой он проявляется как ангел сдержанности.

Молодой музыкант переписывает письмо Альбана Берга. Рука Дамиэля появляется в кадре и тянется к белому карандашу, лежащему на столе. Карандаш оказывается в руках Дамиэля, но это не карандаш, а его отражение, ибо сам карандаш продолжает лежать на столе.

**Молодой музыкант:** Целое явилось мне — как маленький праздник, такой редкий и неожиданный. По пути домой, когда я проходил мимо различных ресторанов и слышал эту музыку, я как бы вернулся к себе самому и начал думать о тысячах этих бедных собак, которые безвольно и бесчувственно стоят на военных фронтах и страдают. У меня в левом глазу — ячмень, который я почувствовал еще вчера. Надеюсь, что он не станет увеличиваться. Станным образом, но многие страдают подобным заболеванием — воспалением глаза, воспалением связок. Вспомни Чарли, которого мы видели в этом местечке. У него в глазу нечто похожее.



Дамиэль приближается к камере, держа в руках «карандаш». Он остается стоять, поигрывая им. Его глаза закрыты, он внимательно вслушивается в хор голосов, которые со всех сторон обступают его. Потом встряхивает головой, словно голоса доставили ему боль. Направляется к выходу из библиотеки, все еще держа в руках белый карандаш. Встречает другого ангела, который приветствует его без слов. Садится в кресло, стоящее у лестницы, внимательно изучает свой карандаш. Кладет его на колени. Его пронзает боль. Уж не потому ли, что он не может держать в руках настоящий карандаш? Он хватается руками за перила лестницы. Камера покидает Дамиэля и начинает двигаться по пространству библиотеки. В поле зрения попадает Кассиэль, который стоит на верхней площадке лестницы, словно в куполе храма, и оглядывается вокруг.

По лестнице поднимается древний старик. Его имя Гомер. Он проходит мимо Дамиэля. Тот провожает его взглядом и переводит взор на Кассиэля, внимательно наблюдающего за старцем. Тот же смотрит прямо перед собой, не чувствуя присутствия ангелов. Утомленный долгим подъемом по лестнице, он присаживается на стул, который занимал Дамиэль. Достает из кармана очки, пытается водрузить их на нос, но испытывает трудности с дужками.

#### **Мысли Гомера:**

*Расскажи, Муза, о рассказчике, который пришел к нам из лукавой древности и сделал его имя известным каждому.*

*Со временем мои слушатели стали читателями, они больше не садятся в кружок, а каждый занимается сам с собой, ничего не зная о другом. Я стал старцем с надтреснутым голосом, но рассказы все еще всплывают из глубин моей памяти, и открытые уста повторяют их легко и без усилия, как во время литургии, где никто не нуждается быть освященным. Слова и предложения становятся общими.*

#### **ВАГОН МЕТРО**

Среди пассажиров метро Дамиэль. Он внимательно прислушивается к мыслям пассажиров, заполнивших вагон.

#### **Мысли худого мужчины:**

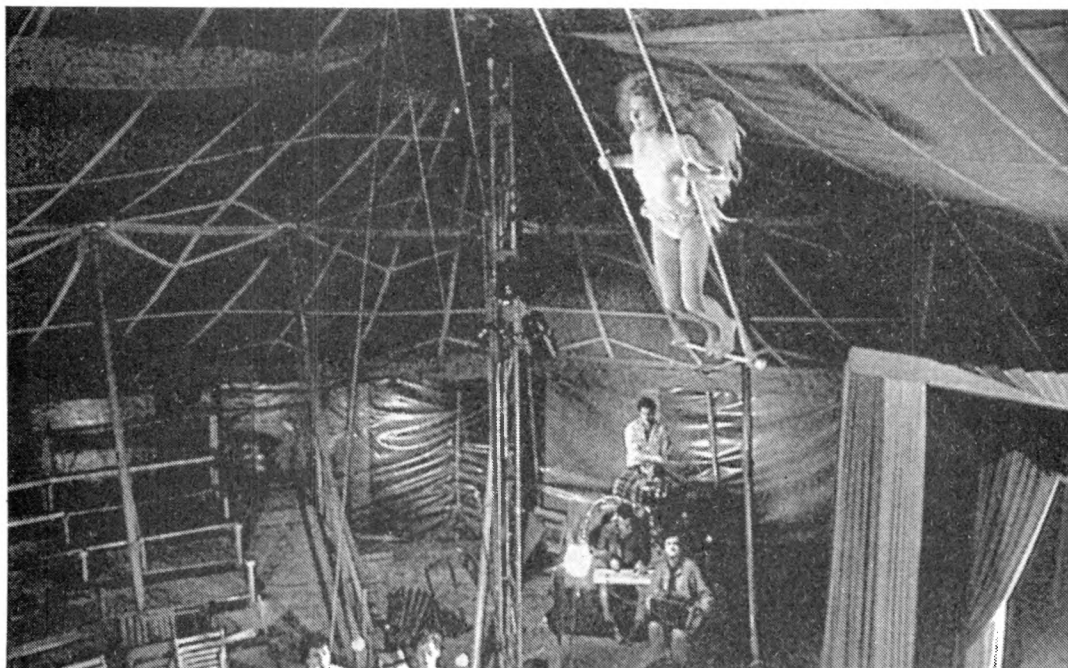
*Возможно, у нее не было денег на другого врача. Я не видел ее уже четыре года, а она уже два года как больна. Я должен к ней съездить. Другой доктор смог бы ей помочь.*

#### **Мысли изможденной женщины:**

*Когда станут, наконец, благодарить его другими словами и не только за вечную жизнь? Все его предали, все без исключения! Предатели, беженцы, мертвецы верили ему. Я не знаю, кто его предал.*

#### **Мысли седой женщины:**

*Я должна сказать, что не могу больше выполнять этого. Для меня это слишком большая нагрузка. Если бы мне жилось хоть чуть-чуть легче! Но сюда пришли молодые люди, глухие ко всему постороннему. Им все равно. Что мне делать?*



**Мысли «нервной» женщины:**

*Всё — дерьмо! Почему я вообще живу? Почему я живу?*

**Мысли человека в очках:**

*Кто первым стоял на Тойфельсберг?*

*Кто первым переплыл Ваннзее?*

*Кто первым пересек город по диагонали?*

**Мысли женщины в кели:**

*Они хотят освободить больше людей. Уверена, что опять это будут только старухи. Наконец, у меня есть квартира... Как я буду все это оплачивать? Такая маленькая пенсия, ни туда, ни сюда. Ах, если бы мне выпало счастье! Хоть немного счастья!*

**Мысли турчанки:**

*Я не знаю, что мне делать с таким количеством белья. Я не знаю, как долго это продлится. Потом я должна вернуться домой, готовить еду, мыть посуду, купать ребенка. Потом домой придет мой муж, и я должна буду все приготовить, все подать.*

**Мысли женщины в кольцах:**

*Почему ты не ищешь обходных путей, а идешь всегда напролом? Пожалуй, я не буду удалять эту родинку.*

*Дамиэль проходит по вагону и задерживает взгляд на человеке с печальным лицом. Останавливается возле него, кладет руку на плечо.*

**Мысли печального человека:**

*Ты проиграл, но это может тянуться еще долго. Твои родители покинули тебя, твоя жена предала тебя, твой друг в другом городе. Твои дети вспоминают только о твоих ошибках в произношении. Ты бы мог нанести себе*

*удар перед зеркалом. Что это? Кто-то тут есть? Я все еще здесь. Если бы я захотел. Мне надо только захотеть, и тогда я освобожусь от всего этого. Если я совершу промах, я могу вновь повторить его. Моя мать была права, говоря: «Не позволяй себя так толкать!»*

*Внутренне что-то почувствовав, мужчина оторвал свой взор от пола и принял более уверенную позу. Удовлетворенный, Дамиэль улыбается и откидывается назад. Шейла, маленькая дочь перса, наблюдает эту сцену и спрашивает отца:*

*— Что это у мужчины на руке?*

*Метропоезд скрывается вдали.*

## НА УЛИЦЕ ПЕРЕД МЕТРО

*Перед вентиляционной шахтой метро на коленях сидят двое мальчишек. В руках одного — магнит на веревке, с помощью которого он пытается достать из шахты монету. В некотором отдалении группа из троих мальчишек, которые о чем-то ожесточенно спорят. Дамиэль проходит мимо и останавливается возле мальчика, стоящего в одиночестве, улыбается ему.*

**Мысли одинокого мальчика:**

*Я так одинок. Значит, я вне общества. С теми тремя мне было бы так чудесно!*

*Внимание Дамиэля привлекает пролетающий самолет. Камера поворачивается и выезжает из двора. В отдалении на пустом поле раскинут купол цирка. Рядом с ним толчется огромный слон.*



## ЦИРК АЛЕКАН

Дамиэль входит в цирк. На трапеции раскачивается воздушная гимнастка Марион, на ее спине прикреплены два крыла. Тренер Ласло стоит внизу и комментирует ее упражнения. Маленький оркестр (Чико — на ударных, Арчи — на гармонике, Лури — на синтезаторе) играет довольно плохо. Отто и Кристоф занимаются жонглированием. Марион прыгает с трапеции и вновь взлетает вверх.

**Ласло:** Марион, что это такое? Боже мой! Нужно с полетом, а не с силой. Да что ты делаешь! Не болтайся ты в воздухе, летай! Ты же ангел!

**Марион:** Небо, проклятье и гром небесный! Да не могу я летать с этими обрубками!

Дамиэль, примостившись в куполе цирка, с интересом наблюдает за занятиями циркачей.

**Ласло:** Конечно же, ты сможешь. С крыльями так же просто, как и без них.

**Марион:** Но только не с этими... куриными перьями.

**Ласло:** Марион, да сконцентрируйся ты, наконец.

**Отто:** Некоторым приходится много работать...

**Кристоф:** ...с их любимыми пернатыми.

**Отто и Кристоф (вместе):** Марион, возьми себя в руки!

Марион садится на трапецию и при одном повороте неожиданно откидывается назад. Зацепившись ногами за канат, она повисает в воздухе.

**Марион:** Возьми себя в руки. Конечно, я

возьму себя в руки. Что, ты думаешь, я здесь делаю? Я бы давно летела вниз головой, если бы не держала себя в руках!

И вдруг черно-белое изображение фильма становится цветным. Марион висит вниз головой на своей трапеции и раскручивается.

На арене появляется менеджер.

**Менеджер:** Слушайте все! Мы больше не можем оплачивать аренду помещения и электричество. Мы обанкротились. Так что с утра начнем собирать, и по зимним квартирам. Кукушечка улетела, и на этот год цирк умер. К сожалению!

**Мысли Марион:**

*С мечтой покончено! Снова нет времени, чтобы довести ее до конца. Моя мечта о цирке! Сегодня должно состояться мое последнее представление с этим номером. И сегодня как раз ночь полнолуния. Во время него многие артисты сломали себе шею. Успокойся! Не могу себе представить этого прощания с цирком. А вдруг в этот прощальный вечер никто не придет, и мы будем играть как деревенщины, а я буду летать над манежем, как курица для супа... А потом я снова буду официанткой.*

Марион продолжает раскачиваться на трапеции, потом она повисает на руках, делает вращательное движение и по страховочному канату соскальзывает на манеж. Дамиэль, внимательно слушавший прощальную речь девушки, наклоняется вперед, чтобы лучше ее рассмотреть. Марион спрыгивает на мат, надевает туфли. Камера внимательно следит за всеми ее движениями. Бросив прощальный



взгляд на трапецию, Марион направляется к выходу. Отто и Кристоф репетируют акробатический номер.

**Мысли Марион:**

*Дерьмо! Я задумываюсь о себе только из необходимости. Такие мгновения, как это, все проясняют. А что, если само время является болезнью? Как будто нужно благодарить кого-то за дальнейшую жизнь... Жить! Одного взгляда было бы достаточно. Его мне будет не хватать, цирка. Смешно, но я ничего не чувствую. Ведь это конец, а я ничего не чувствую!*

Марион проходит мимо Отто и Кристофа, делающего стойку на голове.

**Кристоф:** О! Ангел уходит...

Дамиэль испуганно кружит вокруг артиста, когда замечает, что тот теряет равновесие. Марион идет к выходу, как будто не слышит шуточки Кристофа. Чико старается схватить Марион.

**Чико:** Марион! О-ля-ля!

**Мысли Марион:**

*Должно быть, моя совесть нечиста, если я ничего не чувствую. Как будто боль не имеет прошлого.*

Дамиэль, улыбаясь, рассматривает членов маленького оркестра. Потом поворачивается, но девушка уже исчезла.

Перед цирковым шатром. Обхватив руками плечи, Марион в купальном халате, одетом задом наперед, сидит на капоте старого «рено» и смотрит перед собой. За ее плечами ангельские крылья. Чья-то рука касается плеча Марион, но она этого не замечает. Камера отъ-

езжает, и мы видим Дамиэля, который внимательно слушает Марион и, может быть, даже пытается что-то сказать.

**Мысли Марион:**

*Всех людей, которых я встретила, я сохраняю в своих воспоминаниях. Все прекращается, едва начавшись. Слишком прекрасное, чтобы быть правдой. Наконец я в городе. Кто я, кем стала? Сколько себя помню, я всегда была печальной. Целую вечность я ждала того, кто бы сказал мне слова любви. Потом я уехала в чужую страну. Хотя бы нашелся тот, кто бы сказал мне: «Сегодня я так люблю тебя». Ах, это было прекрасно! Мне бы только распрямиться, и мир предстанет моим глазам.*

К Марион подходит Арчи. Он присаживается на лестницу вагончика и начинает играть. Дамиэль стоит незамеченным между этими двумя. Марион, поникнув головой, печально слушает Арчи, потом отстегивает ангельские крылья и прислоняет их к спине Арчи, который продолжает играть на гармонике.

**Мысли Марион:**

*Когда я была ребенком, мне хотелось жить на острове. Быть одинокой, но сильной. Одинокой... Так оно и вышло. Все так пусто! Пустота... Страх, страх, страх, страх!*

Марион направляется к своему вагончику (камера следует параллельно ей). По дороге она встречает Ласло. Он протягивает ей руку. Халат Марион падает на землю. Ласло хватает девушку, поворачивает ее вокруг себя, забрасывает на плечи, потом принимает на руки и ставит на землю. Они обмениваются понима-



ющими жестами, после чего Ласло идет прочь. Марион входит в вагончик, закрывает дверь.

**Мысли Марион:**

*Как маленький зверь, который заблудился в лесу: «Кто ты?». Этого я больше не знаю. Знаю только, что больше не артистка. Конец репетиции! Невероятное решение, в которое, однако, приходится верить. Только не плакать. Уж это было бы слишком. Заплакать не трудно. Куда труднее сдержаться. Все идет не так, как хотелось бы. Так пусто... Как все пусто.*

Марион садится на постель, кладет на проигрыватель пластинку Ника Кейва «Ваши похороны — мой суд». Дамиэль бродит по другой половине вагончика, рассматривая нехитрое царство Марион.

Марион вытягивается на постели, слушая музыку. Дамиэль медленно приближается к ней. Садится рядом с ней на постель и наклоняет голову, чтобы лучше разобрать ее мысли:

**Мысли Марион:**

*Больше думать не о чем. Просто быть здесь. Берлин! Здесь я чужая, несмотря на то что все знаю. Во всяком случае, отсюда нельзя убежать — постоянно натыкаешься на стену. Ждать перед фотоавтоматом свою фотографию, а получить фотографию с лицом другого человека. Так может начаться история. Я испытываю радость, разглядывая лица. Может быть, я найду место официантки. Я боюсь сегодняшнего вечера. Безумие! Страх делает меня больной, потому что только одна часть меня испытывает страх, а другая об этом даже не догадывается. «Как жить дальше?» Это не вопрос.*

*«Как я должна думать» — вот проблема, ведь я знаю так мало. Я всегда была только любопытна. Возможно, я думала неправильно, потому что думала так, как будто излагала свои мысли кому-то другому.*

Марион лежит на спине и смотрит вверх. Потом ее голова поворачивается, и она смотрит прямо в камеру... в глаза Дамиэля, который издает короткий смешок, но потом отводит свой взгляд, словно сознание того, что девушка не может видеть его, причиняет ему боль. Он поднимается и подходит к окну, вокруг которого развешены фотографии Марион и ее близких. Здесь фото Марион-ребенка, пара новобрачных, план города Нанси. Дамиэль переводит взгляд на Марион, которая сидит, обхватив ноги руками, словно сравнивая ее с изображениями на фотографиях. Затем он начинает рассматривать собрание различных предметов на комод. Его взгляд привлекает толстый булыжник. Он протягивает к нему руку, берет его. При этом сам камень остается лежать на комод, в руке же Дамиэля только его отражение.

**Мысли Марион:**

Под веками закрытых глаз еще раз закрыть глаза... так живут даже камни. Быть красочным. Краски. Неоновый свет в ночном небе. Красные и желтые цвета подземки.

Дамиэль стоит, играя с камнем, он подбрасывает его, словно пытаюсь ощутить его вес. Позади него на постели Марион пытается расстегнуть молнию на своем тренировочном трико. Дамиэль кружит вокруг нее. Трико спа-





дает, обнажая спину Марион. В кадре появляется рука Дамиэля. Двумя пальцами Дамиэль медленно проводит от шеи к рукам, как будто хочет очертить линию девичьей наготы.

**Мысли Марион:**

*Я должна быть готова, что каждый мужчина мира будет меня рассматривать. Тоска. Тоска по любви поднимается во мне. Безрадостность — вот что делает меня такой неловкой. Радость любить...*

Дамиэль отдергивает руку. Секунду он еще смотрит на обнаженную спину Марион и потом отводит взгляд в сторону. Камера показывает крупно камень в его руке, который он вращает туда-сюда. Затем Дамиэль выходит из кадра.

Марион сидит на постели, обхватив правой рукой левое плечо, словно ощущая прикосновение ангела. Потом она поворачивается, берет халат, начинает его надевать. Черно-белый кадр медленно становится цветным. Японская гравюра над постелью, сама постель, елочные украшения, развешенные над потолком, одежда Марион — все обретает окраску. Марион поднимается и идет на другую половину вагончика, где в вазе лежат оранжевые апельсины. Она берет три апельсина и начинает ими жонглировать. Постепенно изображение снова становится черно-белым.

## ЭСТАКАДА В ШЕНЕБЕРГЕ

«Мерседес» сбил мотоциклиста, который

лежит в сточной канаве неподалеку от своего мотоцикла. Водитель «мерседеса» и прохожие собрались вокруг и обсуждают происшествие. Умирающий пытается прислонить голову к кромке тротуара. Нижняя часть его тела парализована, из ушей струится кровь.

**Мысли умирающего:**

*(слышны обрывки фраз, как будто от страха в нем заговорило сразу несколько голосов)*

*Да не смотри ты так безумно. Ты что, никогда не видел, как подымают? Дерьмо, это так просто! Я лежу в луже крови и воняю, как настоящий танкер. Может быть, я еще не подохну. Все так ясно. Что они все выстроились? Что они на меня уставились? Масляные пятна...*

Дамиэль подходит к умирающему, становится перед ним на колени, кладет обе руки на голову и начинает говорить с ним шепотом. Камера медленно движется перед умирающим туда-сюда. С левой стороны по мосту приближаются две турчанки с детской коляской, издали бегит молодой человек.

**Мысли умирающего:**

*Карин, я должен был сказать тебе это еще вчера. Эта штука меня просто сбила. Мне очень жаль, Карин. Теперь я лежу здесь. Но я не могу так просто уйти. Я должен еще, Карин, я должен еще сделать так много. Карин, детка, мне не повезло.*

(его речь становится невнятной, и Дамиэлю приходится вслушиваться в то, что он бормочет)



**Дамиэль** (обращение к миру):

Когда я спустился с гор, из тумана появилось солнце. Пламя на краю долины... Картофельны в золе... Лодка далеко в море.

**Дамиэль и умирающий** (вместе):

Далекий Восток, Высокий Север, Дикий Запад, Великое Медвежье озеро.

**Умирающий** (один):

Остров Тристана де Кунха, дельта Миссисипи, Стромбли, старые дома Шарлоттенбурга. Альбер Камю. Утренний свет, глаза ребенка, купание в водопаде.

**Молодой человек:** Скажите! Что они стоят вокруг? Глазеют, что происходит. Хоть кто-нибудь вызвал бы «скорую». Ах ты, кошмар, из ушей идет кровь. Должно быть, перелом черепа.

**Мысли умирающего:**

*Пятна от первых капель дождя. Солнце. Хлеб и вино. Бег вприпрыжку, Пасха, прожилка листочка, растущая трава, краски камня, галька на дне ручья, белый галстук в праздничный день. Покой воскресного дня. Горизонт. Солнечный свет в комнате. В саду. Ночной самолет. Поездка на велосипеде. Прекрасная незнакомка. Мой отец. Моя мать. Моя жена. Мой ребенок.*

Дамиэль поднимается с колен и отходит от умирающего, медленно удаляясь от места катастрофы. Камера смотрит вслед вагону метро, который движется в направлении Колоненбрюке.

Дамиэль сидит на плече статуи Виктории. Он поворачивает голову в сторону запада,

туда где улица 17 июня. Затем поворачивает голову в противоположную сторону на восток, в направлении Бранденбургских ворот и телебашни Восточного Берлина. Теперь Дамиэль сидит на плече ангела победы и смотрит вверх. Небо над Берлином затянуто облаками.

## ГОСУДАРСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА

В географическом отделе библиотеки камера обнаруживает Гомера, который сидит за столом рядом с глобусом и с большим удовлетворением рассматривает модель Солнечной системы, где каждая планета вращается с присущей ей скоростью. Камера продвигается вперед и обнаруживает Кассиэля, который наблюдает за старцем, внимательно рассматривающим фотоальбом Августа Зандера «Люди XX века».

**Мысли Гомера:**

*Мир, кажется, продолжает пребывать в грезах. В самом начале в моих песнях, которые меня поддерживали, я приукрашивал события нашей эпохи и делал это во имя будущего. Покончено с блужданиями во времени, когда можно было перепрыгивать вперед и назад через столетия. Теперь можно думать только день за днем.*

Врезка. Документальные кадры времен второй мировой войны. Утро после налета бомбардировочной авиации. На мостовой лежат мертвые. Оставшиеся в живых, приложив платки к лицам, ищут среди них своих родных и



знакомых. Один солдат фотографирует. Старая женщина рассматривает мертвецов. Мертвый ребенок, лицо которого так безмятежно, будто он спит. Два мертвых ребенка, голова к голове.

**Мысли Гомера:**

*Герои и цари больше не стоят в центре моих рассказов, но многочисленные приметы мира, выпадающего на долю людей в перерыве между войнами. Вызывающий слезы лук так же хорош, как и ствол дерева, помогающий утопающему выбраться из болота.*

Гомер и Кассиэль сидят голова к голове, закрыв глаза, словно Гомер погрузился в свои воспоминания, а Кассиэль захотел их увидеть. Гомер открыл глаза и продолжает листать альбом фотографий Августа Зандера. Кассиэль рассматривает его.

**Мысли Гомера:**

*Еще никому не удавалось сложить эпос мирного времени. Почему же никто не восхищается его протяженностью и не стремится рассказать о нем? Должен и я отказаться? Если я откажусь, тогда человечество потеряет своего рассказчика. И если оно однажды потеряло своего рассказчика, значит оно потеряло также и свое детство.*

Взгляд камеры задерживается на двух портретах из альбома Зандера. Руки Гомера тяжело лежат на книге. Потом он начинает ее перелистывать.

Дамиэль продолжает сидеть на плечах ангела победы. Колонна победы с золотым ангелом наверху возвышается в центре города.

**СТЕНА В РАЙОНЕ  
ПОТСДАМСКОЙ ПЛОЩАДИ**

Вблизи нее в сопровождении своего ангела прогуливается Гомер. Видны опоры железной дороги.

**Мысли Гомера:**

*Я не могу найти Потсдамской площади. Она должна быть здесь. Здесь еще было кафе Июсти. Я часто сиживал в нем после обеда, пил кофе, рассматривал публику, прежде чем выкурить сигару от Лехзе и Вольфа, чья знаменитая табачная фирма находилась как раз напротив. Почему же ее здесь нет, Потсдамской площади? И никого нет, чтобы спросить об этом. Это было оживленное место.*

Врезка. Документальные архивные кадры.

Руины, остовы домов, за которыми просматривается голубое небо. Гомер медленно бредет с закрытыми глазами, зрелище руин предстает перед его внутренним взором. Слово берега старца, Кассиэль кладет руку на плечо Гомера.

**Мысли Гомера:**

*Трамвай, омнибусы, запряженные лошадей, и два автомобиля. Один — мой, другой — владельца шоколадной фабрики Хаманна. Универмаг Вертхайма находился здесь. И потом неожиданно появились эти знамена... Ими была увешана вся площадь.*

Гомер и Кассиэль проходят перед камерой и попадают на ничейную землю, расположенную в центре города. Они бредут среди высокой травы к креслу, в которое и усаживается



Гомер. Кассиэль остается стоять в стороне, наблюдая за стариком, тот потирает голову.

**Мысли Гомера:**

*И люди больше не были дружелюбны и полиция тоже. Но я не прекращаю поиски, пока не найду Потсдамскую площадь. Где вы, мои герои? Где вы, мои дети? Где вы, мои родные, первородные?*

*Возьми меня, Муза, бедного бессмертного певца, который забыт своими смертными слушателями, потерял голос...*

Гомер в кресле среди высокой травы. Он печально оглядывается вокруг. Видны железная дорога и стена.

Гомер перед сувенирной лавочкой на Потсдамской площади. В руках он держит часы с музыкой. Он заводит их, и мы слышим первые такты мелодии «Это — берлинский воздух». Гомер удовлетворенно улыбается.

**Мысли Гомера:**

*...став в глазах ангела ухмыляющимся шарманщиком на пороге ничейной земли.*

## ТЕРРИТОРИЯ ТРАМВАЙНОГО ДЕПО

Под мостом между двумя опорами туда-сюда прыгает молоденькая девчонка. Она озябла и прячет руки под свой тоненький жакетик. Кассиэль стоит неподалеку от нее.

**Мысли уличной девчонки:**

*20 марок, 40 марок, 80 марок. За одну неделю я могу заработать пять сотен. Махнуть бы на юг. Идиотство стоять здесь. Все проез-*

*жают мимо. Дерьмовый драчун. А этот приходит сюда уже в третий раз и только для того, чтобы сделать дырку в снегу. Скорее бы убраться отсюда. Подцепить бы такого, кто меня знает, тогда бы все пошло гладко.*

*Клаус мог бы сейчас пригодиться. Он бы мог меня пристроить. Это было бы хорошо... просто замечательно.*

Из темного гаража под мостом выползает старый «мерседес» довоенных времен и медленно едет под опорами моста. Камера следит за его движением, а потом поворачивается к Кассиэлю.

**Мысли шофера:**

*Существуют ли ныне границы? Даже больше, чем прежде. Теперь каждая улица имеет свой пограничный знак. Между этими пограничными знаками располагаются другие, замаскированные под изгороди или воду. Кто туда попадет, будет встречен лучом лазера. Форели в воде на самом деле является ищейками.*

«Мерседес» заворачивает за угол. Оказывается, что внутри него сидит Кассиэль. Он смотрит через стекло «мерседеса», видит Потсдамскую площадь и Бюлоуштрассе. Затем переводит взгляд на шофера, сидящего перед ним.

**Мысли шофера:**

*Каждый владелец дома или квартиры прибывает на двери табличку с именем, словно это герб, и изучает утренние газеты с таким видом, будто он властелин мира. Немецкий народ распылен на маленькие государства. Каждый отдельный человек и целые государ-*



*ственные структуры подвижны. Каждый носит свое имущество с собой и предъявляет пропуск, если хочет навестить другого. Так обстоят дела на границе. И внутри этих маленьких государств можно передвигаться, только зная определенные пароли.*

Кассиэль внимательно слушает шофера «мерседеса», изредка помечая что-то в своей записной книжке.

Внезапно качество изображения начинает меняться, на экране появляются кадры старого документального фильма, снятые тайно из окна такого же автомобиля. Берлин 1945 года. Мужчины с лопатами занимаются расчисткой завалов после бомбежки. Другие идут по улице, неся за спиной весь свой скарб.

Снова появляются кадры документального фильма, сделанные неизвестным оператором теперь уже через ветровое стекло машины. Выжженные улицы на следующее утро после бомбежки. Люди, копающиеся в руинах. Виден водитель, похожий на... шофера «мерседеса». Автомобиль ныряет под Иорк-брюке.

### **БУНКЕР**

Во времена второй мировой войны бункер служил защитой от налетов авиации. Сейчас здесь расположилась группа американских киношников, которые снимают телевизионный фильм из времен третьего рейха. «Мерседес» через ворота въезжает на территорию бункера. Здесь и там видны статисты, одетые в костюмы 40-х годов, а также члены съемоч-

ного коллектива. Среди них можно узнать пассажира самолета — актера Питера Фолка, который по-английски беседует с подростком в униформе гитлерюгенда.

**Питер Фолк:** Ты вчера говорил мне о книге. Она здесь?

**Подросток:** Да, эта книга здесь.

**Питер Фолк:** «Двойник». Так что? У Гитлера был двойник?

**Подросток:** Да, да.

**Питер Фолк:** В Германии было два Гитлера?

**Подросток:** Не вполне так. Гитлер вернулся с Восточного фронта и умер раньше, чем мог укрыться в своем доме в Альпах.

**Питер Фолк:** Ну да! И Геббельс нашел актера, чтобы тот стал Гитлером.

**Подросток:** Да, потому что он не хотел, чтобы кто-то узнал...

**Питер Фолк:** Позволь мне сказать. Эта история не внушает мне доверия.

Кассиэль стоит в отдалении и внимательно следит за происходящим. Группа офицеров в форме СС угощает карамелью. Немного в стороне статист с желтой звездой на пальто. Действия СС — офицеров, занятых карамельками, вызывают у Кассиэля улыбку. Затем его взгляд возвращается на беседующих между собой Питера Фолка и подростка в форме гитлерюгенда. Появляется ассистент режиссера.

**Ассистент:** Мистер Фолк, ваша съемка через час, ОК?

**Питер Фолк:** Чудесно.

**Подросток:** Мне лично эта история кажется



достовернее, чем та, которую мы снимаем.

**Питер Фолк:** Разрешите мне объяснить тебе. Люди любят смотреть детективы. Так что используется любая возможность сделать детективный фильм. Это как наркотик. Я тебе говорю — это наркотик!

В кадре появляется женщина-фотограф и делает фотографии Питера Фолка. Тот прерывает разговор с мальчиком и поворачивается к ней.

**Питер Фолк:** Эрика, иди сюда, моя сладкая.

**Подросток:** Встретимся позднее!

**Питер Фолк:** Я очень сожалею! Хочу поговорить с тобой, моя милая. Ты сделала уже достаточно фотографий. Так что не надо больше фотографировать.

Питер Фолк замечает костюмершу и направляется к ней.

**Питер Фолк:** О, Хеллен, я искал тебя повсюду! Я не могу носить эту дерьмовую шляпу.

**Костюмерша:** Да что вы! Это превосходная шляпа! Она выглядит великолепно!

**Питер Фолк:** Так носи ее сама!

**Костюмерша:** Ну хорошо, пойдемте, у нас есть другие шляпы, вы можете их примерить.

Камера начинает медленно обозревать огромное пространство бункера. Через громадную дыру на одном из этажей можно разглядеть, что творится на других этажах. Статисты дожидаются своего выхода. Трюкачи разогреваются перед предстоящими выступлениями. Костюмеры и реквизиторы разбирают свое имущество. После прогулки по бункеру камера вновь возвращается к Питеру Фолку, кото-

рый примеряет перед зеркалом шляпы. Костюмерша подает одну шляпу за другой, но Фолк отклоняет их после короткого взгляда в зеркало. Кассиэль стоит совсем рядом с Фолком и, завороченный игрой, улыбается, потом выходит из кадра.

**Костюмерша:** Хорошо! Какой тип шляпы вы предпочитаете? Что вы думаете насчет этой?

**Питер Фолк:** Я хочу быть похожим на негца, я хочу иметь вид анонима, я хочу затеряться в толпе.

**Костюмерша:** В этой вы похожи на Хэмфри Богарта, примерьте эту!

**Питер Фолк:** Эта для оперы!

**Костюмерша:** Вовсе нет, вы похожи в ней на еврейского рабби.

**Питер Фолк:** Ну да, а в этой я как букмекер с 42-й улицы. Вы знаете, кто такие букмекеры? Что за черт торчит рядом со мной? Ну хорошо! Продолжаем...

**Костюмерша:** А как насчет этой?

**Питер Фолк:** Христа ради, Хеллен. Дайте мне хорошую шляпу. Поймите, я не хочу привлекать внимание к своей внешности.

**Костюмерша:** Ну а как насчет этой?

**Питер Фолк:** Ужасно смешная шляпа, но она не подходит к моему костюму. Все они выглядят как гангстерские шляпы.

**Костюмерша:** Вот эта — не гангстерская!

**Питер Фолк:** Ну в ней только сочетаться браком! А эта для Лондона, для скачек!

Кассиэль с восторгом наблюдает эту сцену примерки шляп. У нее есть и еще один заинтересованный зритель — Дамиэль, который



стоит под крышей бункера, однако дыра на одном из этажей позволяет ему видеть все происходящее.

**Костюмерша:** Возьмите эту! В ней вы похожи на чьего-то дедушку.

**Питер Фолк** (с китайским акцентом): Чарли Чанг, номер один, не слишком умный! ОК, взгляните, эта — великолепна!

**Костюмерша:** Это — супершляпа!

**Питер Фолк:** Эта будет великолепна. (Целует костюмершу.) И вы были великолепны!

**Костюмерша:** Я рада.

Питер Фолк рассматривает себя в зеркале с большим удовлетворением. Кассиэль наблюдает за ним смеясь, потом дружески кладет руку на его плечо и отходит. Питер Фолк направляется в сторону статистов и вдруг останавливается, чем-то возбужденный, словно почувствовал взгляд ангела. Помедлив секунду, он продолжает свой путь.

**Мысли Питера Фолка:**

*У Коломбо не было шляпы, зато был костюм, причем его собственный костюм. Эй, Питер, а где твой плащ? Отдан в чистку. Что это с тобой, Питер? Почему твой ум в смятении? Чувствую, что ночью у меня опять будет кошмар. Интересно, умеют ли немцы делать муку? Может быть, паста, томат и базилик? Умеют ли немцы делать пасту?*

Дамиэль выслушивает монолог Питера Фолка с легким удивлением. В бункере обычная суета, сопровождающая съемки фильмов. Костюмерша пришивает звезду Сиона на пальто молоденькой девушки. Юный статист в

униформе СС стоит перед игральным автоматом. Группа статистов в костюмах 40-х годов мучаются от безделья — покуривают, скучают, ведут незначительные разговоры. На переднем плане пожилой статист, погруженный в свои мысли. Рядом молодой человек в офицерской униформе.

**Девушка:** Можно попросить огня?

**Офицер:** Огня, но не пламени!

**Девушка:** Спасибо!

**Пожилой статист:** Рады услужить.

**Мысли старого господина с еврейской звездой:**

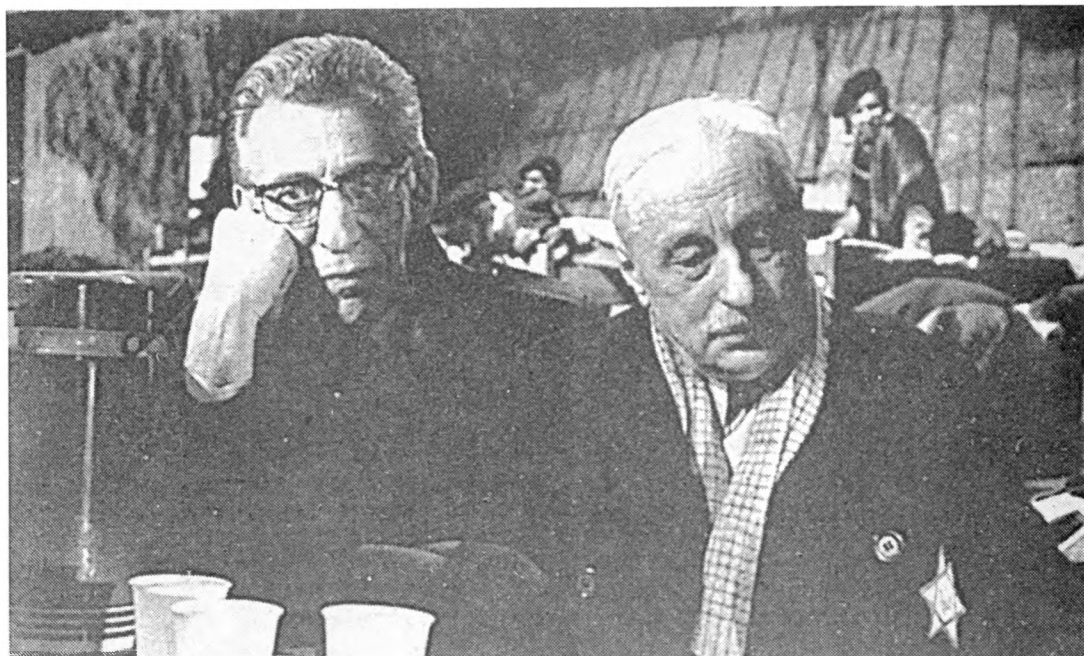
*Единственное, чего здесь не хватает из царства света, — это воробьев.*

**Офицер:** Долго они еще будут устанавливать свет?

Камера медленно объезжает скучающих статистов. Человек, читающий «Бильд-цайтунг», два гитлерюгенда, «офицер», маленькая девочка, которая греется возле батареи парового отопления. Группа женщин, которым по ходу действия придется разбирать руины. У стола — пожилой господин. Рядом с ним человек с мрачным лицом. В кадре появляется Дамиэль, садится на скамейку рядом со старой женщиной и начинает внимательно вслушиваться в мысли собравшихся людей.

**Мысли человека с «Бильд-цайтунг»:**

*Деревня Дахлем, такой же блеф, как человек с золотым шлемом. Для них нет ничего тайного. Ты — беглец, ты — тоже, а ты все еще мокр от купания в Остзее, твои зубы все еще стучат.*



**Мысли маленькой девочки:**

*Я сижу здесь с самого утра. Мне так холодно и скучно.*

**Мысли старого «наци»:**

*Они — настоящие или кажутся таковыми? Вполне могут быть настоящими. Такие скармливали в концентрационных лагерях еду собакам.*

**Мысли старого господина с еврейской звездой.**

*...И ветер в лицо, и первые снежинки, и вода в сточной канаве, и балкон с прекрасной незнакомкой, и окно с кошкой, и фруктовый сад, и солнце, лучи которого ощущаются между лопатками.*

Дамиэль сидит рядом со старой женщиной, которая носит на пальто звезду Сиона. Погруженная в глубокие раздумья, она смотрит вдаль. Дамиэль внимательно прислушивается к мыслям собравшихся.

**Мысли старой дамы:**

*Постоянство, постоянство француза, с которым я подружилась где-то на улице. Берлина, каким он был, больше не будет. Тот дом стоял как раз на середине пути, что-то еще от него осталось, но надолго ли? До сих пор я вижу эту женщину, которая стояла среди руин и трясла свою постель.*

Документальные кадры, снятые американским оператором. Женщина в спальне. Внешняя стена дома разрушена, так что можно заглянуть в ее жилище и увидеть на постели грандиозную розовую перину.

**Мысли старой дамы:**

*Как давно это было? Май—июнь 1945 года.*

Дамиэль сидит с закрытыми глазами, внимательно следя за воспоминаниями женщины. Что-то заставляет его открыть глаза, и он видит перед собой Питера Фолка. Тот устраивается рядом с мужчиной со звездой Сиона на пальто и вступает в разговор со старой дамой, за мыслями которой следит Дамиэль.

**Питер Фолк:** Можно мне нарисовать вас?

**Старый господин:** Доброе утро, лейтенант.

Старая дама медленно освобождается от своих грез и поворачивается к Питеру Фолку. Она удовлетворенно улыбается.

**Старая дама:** Да, пожалуйста.

**Питер Фолк:** Две минутки, не больше!

Питер Фолк поднимается и начинает рисовать старую даму.

Дамиэль с интересом наблюдает за происходящим, сравнивая лицо соседки с его изображением на рисунке.

**Мысли Питера Фолка:**

*Что за прелестное лицо!*

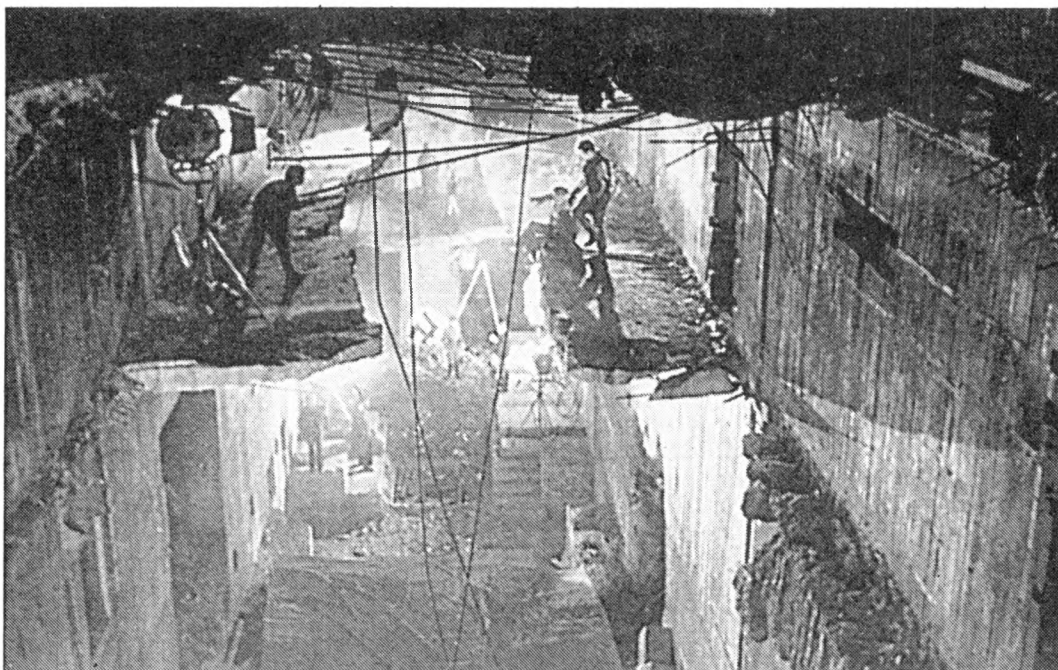
**Мысли старой дамы:**

*Сумеет ли он что-то сделать? Кажется это или нет?*

Питер Фолк продолжает свой рисунок. Старая дама все еще пребывает в восторге от предложения нарисовать ее. Маленькая девочка, жаловавшаяся, что она замерзла, появляется в кадре и с интересом наблюдает за происходящим. Дамиэль тоже проявляет заинтересованность, переводя взгляд от девочки на старую даму, а потом на рисунок.

**Мысли Питера Фолка:**





*Какие у нее интересные ноздри. Драматические ноздри! Эти люди — статисты, они очень терпеливы. Им столько приходится сидеть!*

***Мысли старой дамы:***

*Хотелось бы взглянуть одним глазом, что он там рисует. Интересно, подарит он это или нет.*

Рука Питера Фолка движется по бумаге, однако рисунка не видно. Маленькая девочка с любопытством наблюдает за ходом его работы.

***Мысли Питера Фолка:***

*Статисты, эти люди-статисты.*

Наконец рисунок завершен. Фолк протягивает его старой даме. Та не может удержаться от смеха.

***Старая дама:*** О, очень хорошо, чудесная картинка!

Питер Фолк вначале серьезно, но потом иронично рассматривает результаты своей работы, сравнивая модель с рисунком.

***Мысли Питера Фолка:***

*Желтая звезда означала смерть. Почему они выбрали желтый? Подсолнухи — цветы солнца. Ван Гог убил сам себя. Этот рисунок воняет. Так что? Ни один не видит этого. Когда-нибудь я сделаю хороший рисунок. Я надеюсь, надеюсь!*

Дамиэль слушает и разглядывает Питера Фолка с предельной серьезностью. Ему кажется, что с этим Коломбо не все так просто.

Киногруппа за работой. Камера на экране движется по бункеру и снимает сцену, в кото-

рой два трюкача борются друг с другом на краю огромной дыры, которая проходит через несколько этажей бункера. Камера движется прямо на Кассиэля, который стоит рядом с краном и заглядывает в дыру.

***Режиссер:*** Такое впечатление, что эти трюкачи вальсируют, а не борются. Все это смахивает на хореографию.

Кассиэль переводит взгляд с дыры на реквизитора, который по рации дает распоряжение своему ассистенту, чтобы она развесила знамена. Потом он смотрит на Питера Фолка, разговаривающего с режиссером.

***Питер Фолк:*** У меня запланировано интервью берлинскому телевидению.

***Режиссер:*** У тебя есть время, Питер. Ты мне понадобишься много позднее, после всех этих съемок. Так что у тебя бездна времени.

***Питер Фолк:*** ОК!

Питер Фолк кивает, кричит что-то телевизионщикам, которые поджидают его в стороне, и направляется к выходу. Потом вдруг останавливается, возбужденно оглядываясь вокруг себя, будто почувствовал взгляд ангела.

***Питер Фолк:*** Все в порядке, я иду, приятели! Сейчас мы все оформим. Это весьма кстати.

***Мысли Питера Фолка:***

*Что это такое происходит? А, Питер?*

Кассиэль внимательно наблюдает за Фолком. После недолгих раздумий тот, совершенно сбитый с толку, направляется к выходу. Камера поворачивается, и в поле зрения попадает Дамиэль, который тоже наблюдает за



актером. Взгляды двух ангелов перекрещиваются, и Дамиэль дает понять Кассиэлю, что хочет переговорить с ним. Кассиэль не понимает жеста друга и беззвучно спрашивает: «Что?» Ангелы один за другим выходят из павильона. Дамиэль хватает Кассиэля за плечи. Они выходят из кадра. Взгляду открывается огромный кратер бункера и бурная деятельность съемочного коллектива на всех его этажах.

**Дамиэль:** Пошли, я покажу тебе что-то другое!

### ЦИРК АЛЕКАН

Детский утренник. Маленькая турецкая девочка с нетерпением ожидает начала. Рядом с ней мальчик, который крутится на скамейке. Дамиэль усаживается среди детей. Кассиэль, прислонившись к столбу, взирает на происходящее с откровенной скукой. Дамиэль с ожиданием смотрит на друга. За кулисами раздаются звуки музыки. Маршируя, на сцене появляются актеры. Отто — с саксофоном, в костюме льва. Лури с баритон-саксофоном изображает обезьяну. Кристоф — курицу, Ирена — Мики Мауса. Клоун Арчи держит в руках гармошку. Сюзанна изображает Тамару, сильнейшую женщину мира. Потом появляются Ласло в костюме ковбоя, кошка-Марион и, наконец, крыса-Чико. Это зрелище слегка позабавило Кассиэля, но он остается серьезным. С громким тушем актеры завершают выход на сцену. Дамиэль смеется. Девочка рядом с

ним что-то говорит ему возбужденно. Она не считает ангела, сидящего рядом с ней, невидимым.

Начинается шоу. Ласло высоко подбрасывает Марион, которая изображает «летуна». Кассиэль посматривает довольно скептически и на своего друга, и на представление. Опоздавшие продолжают заполнять цирк. Один мальчик пробегает через Кассиэля, как будто тот соткан из воздуха. Арчи и Франки показывают рискованные пируэты. Дамиэль настолько поглощен представлением, что забыл о друге.

#### **Голос Дамиэля:**

Когда ребенок был ребенком, он давился шпинатом, горошком, рисом, цветной капустой. Он ест это все и сегодня, и не только по необходимости.

Когда ребенок был ребенком, он однажды проснулся в чужой постели, и сейчас с ним случается то же самое. Многие люди казались ему прекрасными, а сейчас только в редких случаях. Он представлял себе ясно рай и сейчас догадывается о его существовании. Раньше он мог не думать о том, где ничего нет, и сейчас приходит в содрогание от этого.

Когда ребенок был ребенком, он играл с воодушевлением, а сейчас испытывает его, только если имеет дело со своей работой.

...Сильнейшая женщина мира Тамара с натугой поднимает свой вес одной рукой. Дамиэль громко хохочет. Подняв его, она уходит со сцены. Дамиэль с торжеством поглядывает на своего друга, ища его одобрения. Тем вре-



менем арена погружается в темноту. Ласло начинает рискованный номер с ножами. Марион, прижавшаяся к стене, служит ему мишенью.

Маленький мальчик переводит взгляд с Ласло, бросающего ножи, на Марион, стоящую в свете прожекторов. Лев вальсирует по арене. Ласло, сопровождаемый восторженными криками детей, всаживает в стену 10 ножей. Грemit туш. Лев с воодушевлением прыгает по арене, и Дамиэль инстинктивно отклоняется назад. Загорается свет. Кошка-Марион подбегает к столбу и начинает карабкаться вверх.

Конфетти порхают в воздухе, падают на Дамиэля и его соседку, которая обращается к нему со своими комментариями. Но ангел видит только глаза Марион, которая на канате носится над ареной. Камера выхватывает лица Дамиэля и маленького мальчика, которые с напряжением следят за полетами воздушной гимнастки. За всеми ними наблюдает Кассиэль.

Канат раскручивается все быстрее. Марион, держась руками за канат, крутится в воздухе. Совершенно покоренный, Дамиэль следит за представлением, которое достигло своего апогея. Марион крутится так быстро, что ее тело едва можно опознать в этой крутящейся фигуре. Потом она замедляет движение и хватается за канат. Дети восторженно аплодируют. Дамиэль смеется, облегченно и гордо одновременно.

Марион спускается на арену и делает шпа-

гат. Дамиэль обводит зал торжествующим взглядом. В то время как другие ребята восторженно аплодируют, турецкая девочка рядом с ним остается безучастной.

Сверху из купола цирка опускается воздушный баллон. Ребята дружно устремляются на сцену. Так что в зале остаются только Дамиэль и чья-то мамаша. Актеры собрались вокруг детей, которые прикладывают максимум усилий, чтобы баллон лопнул. Дамиэль не сводит глаз с Марион, которая танцует вместе с ребятами, образовавшими круг.

Слышны крики детей и шум лопнувшего баллона. Слон стоит на солнце и, подняв хобот, трубит.

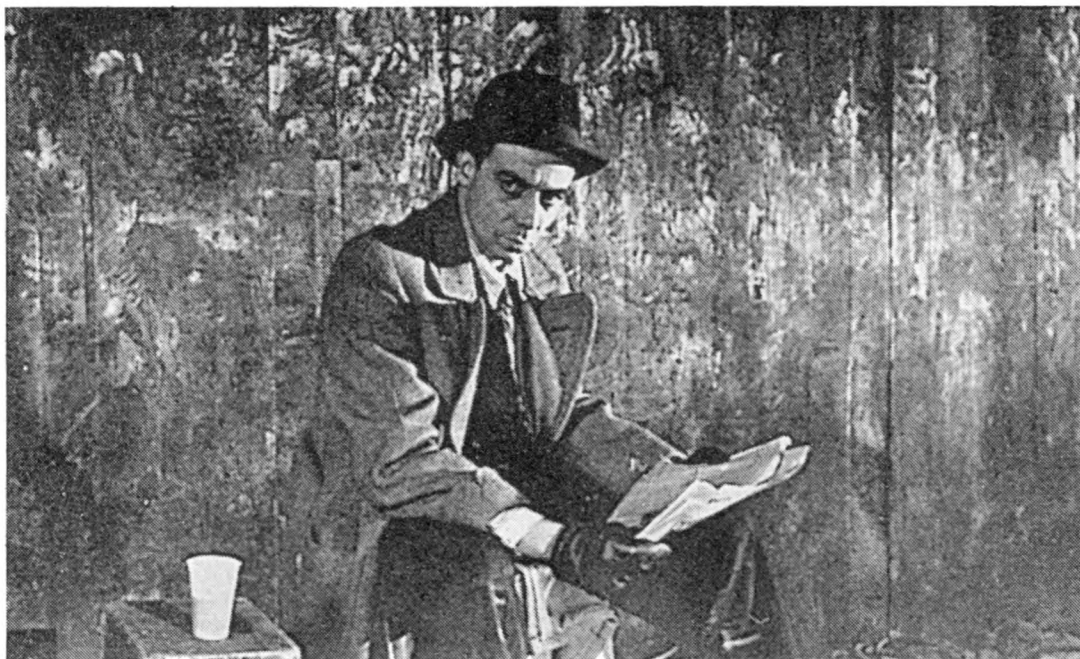
## ПРОГУЛКА ВДОЛЬ ЛАНДВЕРКАНАЛА

Блики света на поверхности воды. Утренний туман. Одинокое дерево посреди Ваннзее. Волны ударяются о берег, птичье перо падает в песок.

**Кассиэль:** Ты помнишь, когда мы были здесь в первый раз?

**Дамиэль:** История еще не началась. Мы сождали утро и вечер и ждали, что же произойдет дальше. Понадобилось много времени, прежде чем река нашла свое русло и стоячая вода начала течь.

Небольшая рошица на берегу озера. Скорлупа, уносимая ветром. Из глубокой перспективы видны стволы деревьев, устремившихся к небу.



**Дамиэль:** Как-то, мне это запомнилось, здесь появился глетчер, и айсберг проследовал на север. А однажды мимо проплыло дерево, еще зеленое, с пустым птичьим гнездом в кроне.

Ландверканал в районе Ломюленбрюке. Дамиэль и Кассиэль кажутся маленькими, едва различимыми фигурками. Они стоят недалеко от парапета. Старик кормит лебедей. Оба ангела поднимаются по ступеням к дороге, которая ведет вверх от канала.

**Дамиэль:** Миллиарды лет здесь прыгали только рыбы. Потом пришло мгновение, и зажужжал пчелиный рой.

**Кассиэль:** А годы спустя здесь на берегу сражались два оленя. Вокруг носились тучи мух, и рога, как сучья, падали в реку. Здесь поднималась только трава, она росла над останками диких кошек, кабанов и быков.

Дамиэль и Кассиэль медленно спускаются по дороге над Ломюленбрюке, останавливаются и через парпет смотрят на канал.

**Кассиэль:** Вспомни-ка то утро, когда из саванны со лбом, увенчанной травой, появился двуногий, наше долго ожидаемое подобие. Каким было его первое слово? «Ах», «Ох» или это был попросту стон? Над этим человеком мы могли, наконец, посмеяться. По его крикам и крикам его последователей мы учились говорить.

**Дамиэль:** Солнце, молнии, гром на небе, а внизу на земле — костры, прыжки в воздухе, хороводы, знаки и письма. А потом один неожиданно вырвался из круга и побежал

прочь. Пока он бежал и даже задорно кувыр-кался в воздухе, он казался свободным. Но потом совершенно неожиданно он спрыгнул в расщелину горы, и полетели камни. С этого бегства и началась другая история, история войн. Она длится до сих пор.

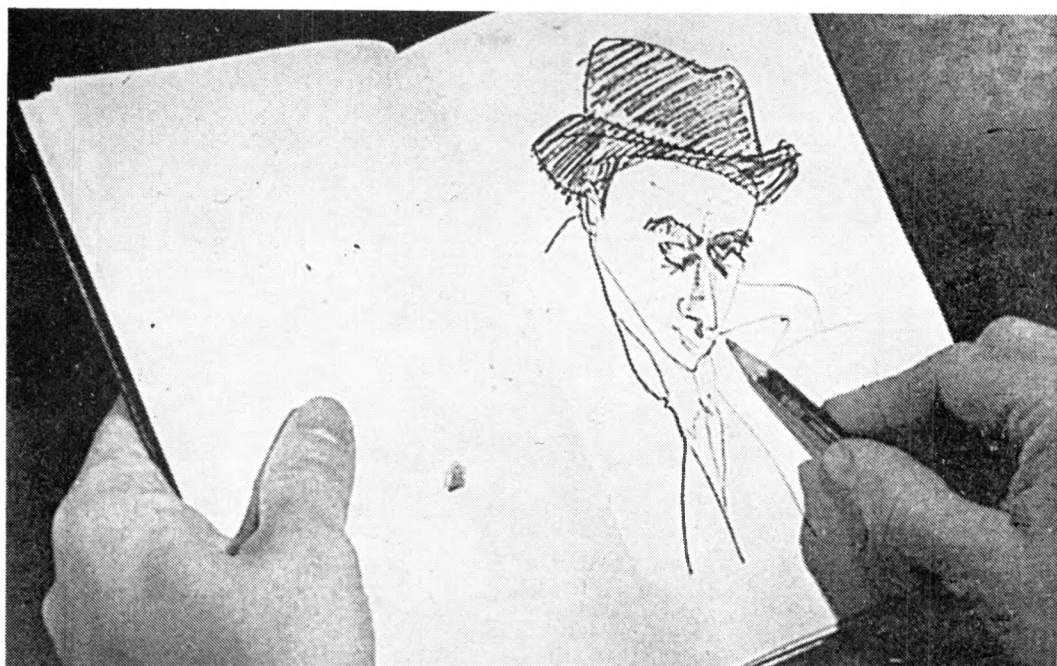
**Кассиэль:** Но также и история травы, солнца, прыжков в воду, призывных криков продолжает свое развитие. Знаешь ли ты, что однажды здесь было засыпано Шосзее, а потом, уже в другое время, — происходило возвращение наполеоновских войск. Для этих целей была построена мощная дорога, которая потом заросла травой и опустилась в тряси-ну, как, впрочем, и следы римских улиц вместе со следами танков.

**Дамиэль:** Но нас не было среди свидетелей, нас тогда вообще было меньше.

**Кассиэль:** А ты действительно хотел быть свидетелем?

**Дамиэль:** Да, меня самого покорила одна история. Что сделать, чтобы мое вневременное существование превратилось в острый взгляд, короткий вскрик, резкий запах? Я был слишком долго вне всего этого, достаточно долго вне мира. Вглубь, в мировую историю! Или ограничиться тем, что взять в руку яблоко? Посмотри, то перо на воде уже исчезло.

На переднем плане корявый ствол платана. На заднем — «Трабби». Колеблющаяся на ветру лампа заливает экран зыбким светом. Вороны сидят на голых ветвях деревьев. Видна прекрасная платановая аллея в Восточном Берлине.



**Дамиэль:** Смотри! На асфальте следы пожара, а вон сигаретная пачка рулит по тротуару! Снова центр города. Строительный кран впечатывается в линию горизонта. Видна гора Тойфельсберг.

**Дамиэль:** Как иссыкает доисторическая река и вибрируют сегодняшние дожди.

Прочь от мира с миром!

Камера медленно движется вокруг девушки и юноши, которые стоят обнявшись. Рой ворон вылетает из кроны деревьев. Дамиэль и Кассиэль продолжают свою «кольцевую прогулку». В вентиляционной шахте подземки застряла газета «Тагесшпигель».

## БУНКЕР

Члены американской съемочной группы работают в бункере. Статист в униформе офицера наклоняется вперед, заглядывает вниз и испуганно отстраняется от дыры. На краю бункера сидит Питер Фолк и при свете прожекторов делает набросок рисунка одного статиста, который сидит неподалеку и читает газету.

**Мысли Питера Фолка:**

*Интересная проблема для рисовальщика. У этого мужчины глаза енота. Но шляпа у него хорошая.*

Молодой человек, помимо своей воли ставший моделью Коломбо, слегка раздражен проявленным к нему любопытством и отрывает взгляд от газеты. Питер Фолк продолжает изучать модель.

**Мысли Питера Фолка:**

*Что за темные круги у него под глазами! О! Да он сердится!*

Молодой человек вновь возвращается к своей газете. Потом слышит громкий призыв к членам съемочной группы и наклоняется вперед, чтобы лучше расслышать.

**Мысли Питера Фолка:**

*Я буду удивлен, если режиссеру понравится моя работа. Все они говорят: «Чудесно», вне зависимости от того, что ты делаешь.*

Снимается та же сцена с каскадерами, что и утром. Однако на этот раз борющиеся каскадеры падают с верхнего этажа на специально устроенный мат. Питер Фолк тоже наклоняется вперед, чтобы разглядеть трюкачей. Затем возвращается к рисунку. Портрет человека с «енотовыми глазами» рождается прямо на глазах.

**Мысли Питера Фолка:**

*Я должен купить подарки для моих детей. Может быть, рамки для картин? Интересно, я сейчас играю лучше, чем прежде?*

## ЦЕНТР БЕРЛИНА

На ветке колеблется последний листок. Поднимается сильный ветер. Большая стая ворон летит над стеной вблизи Потсдамской площади. Появляется Гомер со своим ангелом. Камера перестает следить за воронами и обращается в сторону ничейной земли. Вдали здание государственной библиотеки, видна



стена с надписью: «Уолл-холл». Кассиэль и Гомер смотрят в небо.

**Мысли Гомера:**

*Только римские улицы ведут вдаль, только древние следы ведут далеко. Где здесь горный перевал? Даже равнинная страна, даже Берлин имеют свои высоты. Там впервые началась моя страна, страна рассказа. Почему, в отличие от детей, не все видят перевалы, форты и лазейки как внизу под землей, так и наверху в небе.*

*Если бы каждый мог видеть, тогда бы история не знала убийств и войн.*

Стая ворон, подобно облаку, носится на фоне вечернего неба. Вот она стала едва заметной, потому что небо окончательно потемнело. Сумерки.

Молодой человек сидит на краю плоской крыши под огромной вращающейся неоновой вывеской фирмы «мерседес». На его голове наушники, из которых доносится громкая музыка. Кассиэль приближается к юноше сзади и обнимает его за плечи. Тот прыгает вниз и оказывается на металлическом карнизе здания высоко над городом. Вновь появляется Кассиэль, садится рядом с юношей, пытается успокоить. Но юноша недостижим — он весь устремлен к голосам, которые обступают его со всех сторон.

**Мысли самоубийцы:**

*Девять тысяч раз я обдумывал все это, но сейчас я это точно сделаю... Смешно, до чего я спокоен! Почему к черным туфлям я надел красные носки? Ужасный грохот! Туман, хо-*

*лодно. Знай я, что будет так холодно, я бы надел полувер. Отличная куртка. Еще бы! Это был специальный заказ. Только вот карманы порвались! Ну, да... Гравий на крыше. Почему, собственно? Не успел улететь или что? Дурацкий предмет. Охотно бы улетел. Да куда? Самолет летает только по кругу, по кругу над Берлином, когда-нибудь он грохнется. Неввероятно холодно. Однако мои руки всегда были теплыми! Это хороший знак! Как хрустит под ногами! Сколько сейчас времени? Солнце заходит. Ну да, логично. Ведь здесь запад. Зато на метро я всегда ехал на восток, если хотел попасть домой. Солнце светит в спину. Слева звезда. Это хорошо: солнце и звезда. Ее маленькие ножки... Как она прыгала на своих ножках. А танцевала так божественно, так божественно! Получила ли она мое письмо? Мне бы не хотелось, чтобы она его уже прочла. Собственно, Берлин не открыл мне ничего. Хавель — это река или озеро? Я не уточнял. А там позади Веддинг или что-то другое? Восток? Собственно, кругом восток...*

Туристы на обзорной платформе пытаются привлечь внимание молодого человека.

*...Смешные люди, что-то кричат. Пусть себе кричат. Мне все равно. Мне все равно. Все эти мысли... Я бы не хотел больше думать. Я ухожу. Почему собственно?*

Кассиэль обнимает юношу за плечи, пытается отвести от опасного края, но после короткого колебания тот прыгает вниз. С лицом, искаженным болью, ангел отворачивается от самоубийцы.



## ОТЕЛЬ КЕМПИНСКИ

Проплыв мимо здания «Европейского центра», камера медленно приближается к окну, на подоконнике которого сидит Питер Фолк и смотрит на экран телевизора, где показывают его собственное интервью.

**Питер Фолк** (голос с экрана): Это телевизионный фильм американского производства. Вы хотите узнать сюжет? Берлин. Вторая мировая война. Я — американский сыщик. Один парень нанимает меня, чтобы я нашел в Германии сына его брата. Я еду в Германию, узнаю, что брат умер, семья исчезла. Я ищу ребенка.

Какое-то мгновение Питер Фолк продолжает смотреть на телеэкран, но потом переводит взгляд на город. Он видит электричку, которая движется по направлению к вокзалу Зоопарк Театр Запада, освещенную лучами прожекторов церковь Победы с фигурой ангела наверху. Цветной кадр вновь становится черно-белым.

Кассиэль сидит на крыле могучей фигуры ангела, а потом прыгает вниз, как незадолго перед этим юноша-самоубийца.

Камера приближается к городу. На экране каскад образов, смонтированных в ритме бешеной гонки. Одни кадры длятся мгновение, другие больше.

Блики света... пьяный на лестнице... витрина... Бездомный на скамейке... Лицо Кассиэля... Вход в подземку, в который попадает камера... Обрывки света... Кабак под вывеской «Аризона»... Вычурная лампа... Выход на платформу

электрички... Прожектор... Закусочная... Улица... Пустой ресторан... Камера движется по кругу.

Многоэтажный дом, в котором светится только одно окно. В спальне мужчина толкает женщину на кровать. Ребенок со страхом прислушивается к крикам матери.

Документальные кадры второй мировой войны: огонь зенитной артиллерии... крыло ангела... Рейд бомбардировщиков в ночном небе... Поисковый прожектор по имени «Мертвый палец»... Огонь зенитной артиллерии... Исполненный страха удар крыла... Всполохи огня, разрезающие ночное небо... Женщина, выскакивающая из горящего дома... Горящие улицы... горящие фасады домов... Попытки потушить пожар...

Человек, лежащий на полу телефонной будки, в его руках зажата трубка. Мы снова в современном Берлине.

## ЦИРК АЛЕКАН

Марион готовится к вечернему представлению. Она уже в своем сверкающем, расшитом блестками трико. Камера медленно приближается к гримерному столику. Дамиэль внимательно вслушивается в мысли девушки.

**Мысли Марион:**

*Этого мне не сделать сегодня вечером. Какая трапедия в ночь полнолуния! Я должна вырасти из своей мечты. Конец цирку! Финиш! И снова, как было уже не раз, я чувствую страх. Страх перед смертью. Отчего же не умереть?*



**Марион — Сольвейг Дом Мартин**

Марион рассматривает себя в зеркало: Дамиэль стоит за зеркалом и, не отрываясь, смотрит на девушку.

**Мысли Марион:**

*Для меня важно быть красивой, и больше ничего. Смотреться в зеркало — то же самое, что следить за своими мыслями. О чем ты думаешь?*

Камера движется туда-сюда, словно пытается найти девушку, но ее лицо закрыто зеркалом. Потом оно возникает, словно из небытия, будто взгляд ангела смог увидеть его через поверхность зеркала. Марион начинает плакать. Она смотрит в зеркало, а на самом деле — в камеру.

**Мысли Марион:**

*Бояться можно, но не стоит говорить об этом. Не становись слепой... Твое сердце колотится, и ты снова плачешь. Ты хочешь плакать, как маленький ребенок, который познал горе. Ты плачешь. Почему ты плачешь? Не из-за меня самой! Я больше ничего не знаю... Я бы охотно узнала. Я немного боюсь. Сейчас этот страх прошел... но определенно возвратится.*

На вечернем представлении в цирке Александр полный зал зрителей. На арене — иллюзионист Пауль Буш и его ассистентка Карин. Вносятся большой ящик. Буш открывает крышку. Дамиэль сидит на краю манежа, прямо перед публикой, для которой он остается невидимым, и внимательно следит за представлением.

Иллюзионист делает широкий жест в сторону ящика, из него возникает Марион. Она хватается за канат и поднимается с его помощью вверх, к своей трапеции. Оркестр исполняет туш, и старый осветитель направляет на гимнастку луч прожектора. Дамиэль произносит заклинания, глядя на Марион, которая стоит на трапеции и приветствует публику. Она начинает свой номер — стойка на голове и шпагат головой вниз.

Дамиэль медленно пересекает манеж, направляясь к Ласло, который страхует Марион, работающую без сетки. В какое-то мгновение внимание Ласло притупляется. Дамиэль кладет ему руку на плечо. Кажется, что Ласло почувствовал прикосновение ангела, потому что снова сконцентрировал свое внимание на гимнастке. Дамиэль удовлетворенно улыбается. Марион исполняет сложные фигуры — вис на одной руке, «крест». После верчения между канатами она усаживается на свою трапецию и улыбкой благодарит публику за аплодисменты.

Марион соскальзывает с трапеции, делает фигуру головой вниз, зацепившись ногами за канат. Дамиэль напряженно смотрит вверх, он не может стоять на месте. Марион между тем делает стойку на трапеции, зацепившись за нее плечами. Она пытается сделать новую фигуру и теряет равновесие. Публика вскрикивает, вместе с ней пугается и Дамиэль. Но Марион приобретает равновесие. Она цепля-





ется за трапецию одной рукой и одной ногой, изображая «сирену».

Ласло внимательно следит за гимнасткой, ему помогает Дамиэль. Марион взмывает вверх, исполняя шпагат. Потом, зацепившись одной ногой, она выпускает канат из рук и совершает перемену ног.

Дамиэль нервно ходит по манежу. Он дует Ласло в волосы, чтобы тот сконцентрировался.

Марион вновь садится на трапецию. Дамиэль продолжает стоять возле Ласло, а когда поднимает глаза, то видит Марион, которая совершает в воздухе опасный прыжок. Ей удается зацепиться за трапецию широко расставленными ногами. Она раскачивается на ней головой вниз. Публика бурно приветствует гимнастку.

Полная луна в ночном небе. Музыка и аплодисменты постепенно затихают. Слышны смех и песни — группа цирковых артистов справляет праздник прощания с цирком. Между двумя вагончиками натянут кусок парусины, которая защищает от дождя. В бочке горит огонь, вокруг собрались Марион, Лури, Ласло, Сюзанна, Кристоф, Чико и Отто. Клоун Арчи стоит в стороне.

Марион и Лури, прижавшись друг к другу, поют французскую песню. Дамиэль слушает, покачивая в такт головой. В то время как Марион и Лури поют, Арчи, несчастный и одинокий, идет прочь. Чико и Отто смеются над своей попыткой спеть немецкую песню. Кристоф, Сюзанна и Ласло заражаются их весельем. Чико начинает новую песню, Мари-

он и Лури подхватывают ее. Дамиэль смеется. Марион кланяется и удовлетворенно кладет голову на плечо Лури. Дамиэль вновь становится серьезным, потому что он слышит мысли Марион.

#### **Мысли Марион:**

*Можно сказать просто: «Я удовлетворена». У меня есть история. Я буду иметь ее и дальше.*

Дамиэль становится серьезным, потому что он слышит мысли Марион. У него нет истории, и потому он не знает счастливых мгновений.

### **ГОСУДАРСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА**

В большом читальном зале турецкие уборщицы и ангел Кассиэль. Он сидит за столом, похлопывая записной книжкой и раздумывая над тем, как ему завершить сегодняшнюю работу. Не слишком уверенно он поднимается и направляется к выходу. Рядом с турецкими женщинами, убирающими грязь, безработные ангелы. Среди них женщина-ангел, которая приветствовала Кассиэля и Дамиэля утром. Сейчас она устало поднимается и смотрит в камеру. Кассиэль спускается по лестнице. Камера задерживается на огромном безлюдном пространстве холла.

### **ДИСКОТЕКА**

Прислонившись к колонне, стоит Марион. При первых звуках музыки она начинает двигаться в такт с ней. Камера движется по про-



странству дискотеки, выхватывая среди танцующих то Дамиэля, который наблюдает за Марион, то рок-ансамбль на сцене, то певца Саймона Бони. Потом камера поднимается вверх и возвращается назад к Марион, которая полностью захвачена музыкой. Камера выхватывает лицо Дамиэля, который прислушивается к мыслям японской девушки, ухмыляясь при этом. Потом он снова возвращается к Марион, которая с закрытыми глазами, как в трансе, танцует под музыку. Дамиэль выходит из своего темного угла, чтобы ближе рассмотреть Марион. Появляется Кассиэль. Камера медленно перемещается из одного угла зала в другой, а Дамиэль медленно приближается к Марион. И вот он уже стоит перед ней, танцующей с закрытыми глазами и погруженной в музыку.

Рядом с басистом на сцене неожиданно возникает Кассиэль и смотрит в зал. Он замечает, что Дамиэль тянется к высоко поднятой руке Марион. Со стороны это выглядит так, словно он танцует с ней. Потом он опускает свою руку, которая не может обнять Марион, и снова устремляет свой взгляд на девушку, продолжающую танцевать так, словно ничего не произошло. И действительно, ничего не произошло!

#### **Мысли Марион:**

*Что я делаю? Всматриваюсь в себя и позволяю нести себя в космос. И снова меня охватывает чувство удовлетворения. Как будто к глубинам моего тела нежно прикоснулась чья-то рука.*

### **ПРАЧЕЧНАЯ**

Через большие стекла видно огромное пространство, в котором сидит одна-единственная турецкая женщина. Рядом — длинный ряд набитых бельем чемоданов. Обойдя работающие машины, камера возвращается к женщине. Неподалеку от нее сидит Кассиэль, разглядывающий чемоданы с бельем.

Вдруг изображение прачечной становится цветным.

### **ВАГОНЧИК МАРИОН**

Камера ныряет с высоты в узкое темное пространство, приближаясь к Марион, которая спит на своей кровати.

Врезка: крыло ангела.

Голова Марион лежит на подушке, она раскрывает глаза и слегка поднимает голову.

Покрытое облаками небо. Ангел Дамиэль с распростертыми крыльями. Он несет нагрудный панцирь и поднимает руки, как для приветствия.

Марион в белой ночной рубашке медленно выступает из темноты на свет. Ветер играет ее волнистыми волосами.

Появляется Дамиэль. Его грудь защищена панцирем. Марион смотрит прямо в глаза Дамиэля. Дамиэль смотрит прямо в глаза Марион. Оба они смотрят в камеру.

#### **Мысли Марион:**

*Когда ребенок был ребенком, это было время следующих вопросов. Почему я — это*



*я и почему не ты? Почему я здесь и почему не там?*

Где начинается время и кончается пространство? И разве жизнь под солнцем не есть только мечта?

Марион безмятежно спит в своей постели. Над ней склонился Дамиэль, положив голову ей на грудь.

Две руки устремляются друг к другу и сцепляются на фоне ночного неба, покрытого облаками. Взглянув еще раз на Марион, Дамиэль поднимается и исчезает. Она поворачивается в своей постели.

## УТРО В ГОРОДЕ

На линию выходит первый автобус. На последнем сиденье одинокая фигура, по силуэту можно догадаться, что это Кассиэль. Он погружен в раздумья, голова наклонена к плечу.

Питер Фолк гуляет по территории старого вокзала, под мышкой — блокнот для рисования. Он внимательно рассматривает руины старого здания.

### **Мысли Питера Фолка:**

*Работать... Гулять, смотреть и видеть. Я очень хочу, чтобы ты была здесь, мама! Быть может, это как раз та станция, о которой мне рассказывали? Ну помнишь, станция с таким смешным названием. «Не станция, где останавливается поезд, но станция, где останавливается станция».*

На пути Питера Фолка появляется группа молодых рабочих. Заинтересовавшись, они

долго разглядывают его.

— Да никак это Коломбо?

— Нет, не думаю!

— Не может же Коломбо ходить в таком ужасном пальто!

— Конечно, это не он!

— Ты что, рехнулся? Будет он здесь ходить!

Одинокий ангел Кассиэль едет в пустом автобусе, который, как космический корабль, пересекает пространство Потсдамской площади.

Территория старого вокзала. Дамиэль подходит к закускойной, у которой стоит Питер Фолк. На заднем плане — здание бункера, на котором красуется надпись: «Кто строит бункеры, тот бросает бомбы».

Питер Фолк занят рисунком вокзала. Он смотрит сквозь Дамиэля и вдруг начинает с ним говорить.

**Питер Фолк:** Я тебя не вижу, хотя и знаю, что ты здесь. Я чувствую это.

Дамиэль изумленно оглядывается вокруг себя. Такого ему еще не приходилось слышать. Дамиэль подходит ближе к разговаривающему с ним человеку и рассматривает его во все глаза.

**Питер Фолк:** Я бы хотел увидеть твоё лицо. Взглянуть в твои глаза и сказать тебе, что хорошо быть здесь, прикоснуться ко всем этим вещам! Сейчас очень холодно, и это приятное чувство!

Хозяин закускойной не верит ушам и глазам. Перед ним стоит кто-то, похожий на Коломбо, и говорит сам с собой. Поглощенный раз-



### **Питер Фолк**

говором с Дамиэлем, Питер Фолк не замечает удивленного взгляда хозяина закусочной.

#### **Питер Фолк:**

Быть здесь. Курить, пить кофе. А если ты делаешь это с кем-то вдвоем, то это вообще фантастическое чувство! Или рисовать! Слушай, ты берешь карандаш и проводишь темную линию, потом светлую линию, и вместе это дает отличный рисунок. Или когда твои руки замерзли. Ты трешь их одна о другую — вот так, посмотри! — и становится тепло. Здесь вокруг много отличных вещей. Но тебя здесь нет, а я здесь. Я хочу, чтобы и ты был здесь. Я хочу, чтобы ты что-то сказал мне. Например: «Я — твой друг». Компанеро!

Питер Фолк протягивает Дамиэлю руку. Рука Дамиэля тянется к руке Коломбо. Получается видимость рукопожатия, потом Дамиэль отдергивает свою руку.

Кассиэль пересекает улицу и подходит к стене. Камера покидает его и оказывается в пространстве между двумя стенами, которое называется ничейной землей. На заднем плане два беседующих пограничника. Дамиэль идет прямо на камеру и встречается с Кассиэлем.

#### **Кассиэль:** Ну?

**Дамиэль:** Итак, я вступаю в реку. Старое человеческое высказывание, много раз мною слышанное. Сегодня я, наконец, понял его смысл. Сегодня или никогда. Мгновение пришло. Другого берега дано не будет. Брод появляется только перед тем, кто находится в

реке. Дойти до брода времени, брода смерти! Спуститься вниз с нашей сторожевой вышки бессмертных! Смотреть — это не значит взирать сверху, можно увидеть все и на уровне глаз.

Дамиэль кладет руку на плечо Кассиэля. Они медленно удаляются от камеры. Оба ангела прогуливаются по полосе ничейной земли. Дамиэль делится своими планами.

**Дамиэль:** Вначале я приму ванну. Потом позволю себя побрить. Возможно, турецкому парикмахеру. Он промассажирует меня до кончиков пальцев. Потом я куплю газету и прочитаю ее всю — от передовицы до гороскопа. В свой первый день я позволю только обслуживать себя. Кто споткнется о мои протянутые ноги, тот будет мною прощен. Я позволю тыкать себе. Официант в набитом людьми ресторанчике обязательно найдет для меня свободный столик. На улице передо мной распахнется служебный автомобиль, и бургомистр пригласит меня на обед.

Ангелы продолжают прогуливаться по полосе ничейной земли. Дамиэль кончает свою речь и останавливается.

**Дамиэль:** Я буду знаком каждому и никому не покажусь подозрительным. Я не произнесу ни одного слова и пойму любой язык. Таким будет мой первый день.

**Кассиэль:** Но ты ничего не сказал о том, что произойдет в действительности.

Кожа Дамиэля начинает приобретать естес-



твенный оттенок. Кассиэль смотрит на друга с испугом, когда замечает на свежеспаханной полосе ничейной земли отпечатки его ног. Он переводит взгляд на солдат, которые ничего не замечают и продолжают беседу. Лицо Дамиэля меняется на глазах. Он сам закрыл глаза и прижимает ко лбу камень, который взял в вагончике Марион, потом падает на землю.

**Дамиэль:** Я возьму ее за руки, и она возьмет меня за руки...

Кассиэль хватается друга за плечи и трясет его. Солдаты начинают прислушиваться, озираясь вокруг себя. Кассиэль поднимает Дамиэля и вместе с ним проходит сквозь стену.

Цвет. Камера медленно движется вдоль стены в районе Вальдемарштрассе, где она вся разрисована красочными головами и фигурами людей. У стены лежит Дамиэль. Неожиданно откуда-то сверху прямо ему на голову падает панцирь. Толчок пробуждает Дамиэля. Он удивленно смотрит вверх и видит вертолет британской армии. Улыбаясь, Дамиэль оглядывается по сторонам. Три малышки разглядывают его, стоя на безопасном расстоянии, потом бросаются бежать.

**Первая девочка:** Слушай, я думаю, он напился.

**Вторая девочка:** Ага!

Дамиэль поднимается и, держа под мышкой свой панцирь, направляется по Лукауерштрассе в сторону обзорной площадки. Потом останавливается, ощупывает то место, куда упал панцирь, находит шишку, замечает на пальцах кровь, лижет руку, пробует кровь на

вкус, улыбаясь во все лицо. С протянутой рукой он подбегает к прохожему, идущему навстречу, тот останавливается.

**Дамиэль** (показывая окровавленную руку): Это красное?

**Прохожий:** Да. Вы что, поранились?

**Дамиэль:** Сегодня все в порядке?

**Прохожий:** Да.

**Дамиэль** (показывая на канализационную трубу): А труба?

**Прохожий:** Труба желтая.

**Дамиэль** (показывая на пестрые фигуры на стене): А эти?

**Прохожий:** Серо-голубые.

**Дамиэль:** А эта?

**Прохожий:** Лиловая.

**Дамиэль:** А эта?

**Прохожий:** Оранжевая, нет, желтая.

**Дамиэль:** Желтая или оранжевая?

**Прохожий:** Желтая.

**Дамиэль:** А эта?

**Прохожий:** Зеленая.

**Дамиэль:** Зеленая. А та, что под глазами?

**Прохожий:** Голубая.

**Дамиэль:** А сегодня холодно?

**Прохожий:** Да.

**Дамиэль:** Я бы охотно выпил кофе.

**Прохожий:** У вас нет денег?

**Дамиэль:** Нет.

Прохожий достает кошелек и протягивает Дамиэлю несколько монет.

**Дамиэль:** Я рад, что сегодня все складывается так удачно. Спасибо. Пре-крас-но!

Они прощаются. Дамиэль идет дальше. Он



проходит мимо художника, который стоит у стены и рисует свои фигуры. Дамиэль продолжает идти вперед, неся под мышкой панцирь, доходит до перекрестка. Мимо пронесится автомобиль с синей мигалкой и сиреной. У закусочной на углу Глогауерштрассе и Райхенбергерштрассе он останавливается, кладет на прилавок монетку, бережно устанавливает панцирь. Звучит песня «Когда я приду» ансамбля «Минимал контакт».

**Дамиэль:** Кофе!

**Продавщица:** С молоком и сахаром?

**Дамиэль:** Черный.

Дамиэль тянется за пластиковым стаканом, который подает ему продавщица. Через стекло закусочной видно, как Дамиэль держит в руках свой первый стакан горячего кофе, как осторожно он делает свой первый глоток. Долго держит кофе во рту, прежде чем решается его проглотить. Это ему определенно нравится. Радостно он смотрит в окно закусочной. Его взгляд останавливается на красной надписи «В ожидании Годо». Дамиэль смеется. Пьет кофе со все возрастающим воодушевлением и потом потирает руки, как учил его Коломбо.

Держа под мышкой панцирь, он продолжает шествовать по Берлину, внимательно оглядываясь по сторонам.

**Мысли Дамиэля:**

*Когда ребенок был ребенком, он довольствовался такой простой пищей, как яблоко и хлеб. И до сих пор это так.*

*Когда ребенок был ребенком, щипцами ему*

*кололи орехи, и до сих пор это так.*

*На всякой горе он испытывал тоску по более высокой горе и во всяком городе — тоску по более крупному городу, и до сих пор это так.*

*В погоне за высотой он устремлялся в крону деревьев, чтобы сорвать вишню, и до сих пор это так.*

*Испытывал страх перед чужаками, и до сих пор это так.*

*Ожидал первый снег и продолжает ждать его до сих пор.*

*Когда ребенок был ребенком, он использовал палку как копье в борьбе против деревьев. Потому они трепещут перед ним до сих пор.*

Дамиэль выходит на Гебенштрассе и останавливается перед антикварной лавочкой. Он смотрит на панцирь, минуту колеблется и потом входит внутрь. Рука ставит панцирь в витрину, и Дамиэль выходит из лавочки. Он одет в пеструю куртку и похож на «гастарбайтера». Остановившись, он с гордостью смотрит на свои часы. Навстречу ему идет турецкий юноша.

**Турецкий юноша:** Простите, как мне пройти на Акациенштрассе?

**Дамиэль:** Ты идешь вверх до маленького парка, сворачиваешь направо, на Грюневальдштрассе, через Элзхольц и Гледич, причем надо свернуть не в сторону Гольца, который ведет к Винтефельдтплац, а налево, и ты на месте.

**Турецкий юноша** (ударяя себя рукой по лбу): Вот человек!

Дамиэль смотрит на него улыбаясь, а потом тоже исчезает из кадра.



### **ПЛОЩАДЬ НА ФРИДРИХШТРАССЕ**

Издали видно, что цирк Алектан уже разобран. От него остались лишь четыре большие опоры. Рабочие занимаются демонтажом. Марион, Ласло, Кристоф и Лори сматывают электрический кабель. Мальчик наблюдает за циркачами.

### **БУНКЕР НА ГЕБЕНШТРАССЕ**

Съемки фильма идут полным ходом. По привычке Дамиэль направляется к проходной, но его останавливает полицейский.

**Полицейский:** Это вход для членов съемочной группы. Статисты за углом, через другой вход.

**Дамиэль:** Статисты? О, конечно!

Дамиэль, следуя указаниям, направляется к другому входу, но там его перехватывает другой полицейский.

**Полицейский:** Эй, эй!

**Дамиэль:** Я статист.

**Полицейский:** Вы посмотрите на них. Все хотят получить автограф.

**Дамиэль:** Дерьмовый полицейский!

Он отходит от ограды и вдруг замечает в группе статистов Питера Фолка.

**Дети:** Когда придет Коломбо? Коломбо! Коломбо!

**Дамиэль:** Эй, компанеро!

Дамиэль машет Питеру Фолку. Тот, услышав его, подходит к ограде, протягивает обе руки. Сияет всем лицом.

**Питер Фолк:** Я так счастлив видеть тебя. Как

дела?

**Дамиэль:** Прекрасно!

**Питер Фолк:** Слушай. Я предполагал увидеть более высокого мужчину. Даже не знаю почему...

**Дамиэль:** Более высокого?

**Питер Фолк:** Как давно это началось?

**Дамиэль** (глядя на свои часы): Минуты, часы, дни, недели, месяцы, время!

**Питер Фолк** (доставая кошелек): Позволь дать тебе немного долларов. Только чтобы помочь тебе.

**Дамиэль** (гордо тряся головой): У меня есть деньги. Я кое-что продал.

Питер Фолк понимающе кивает, он догадывается, что продал ангел.

**Питер Фолк:** Панцирь. Правильно?

Дамиэль поражен, но Питер Фолк доволен произведенным эффектом.

**Питер Фолк:** И сколько ты получил?

**Дамиэль:** 220 марок.

**Питер Фолк:** Тебя ограбили, но это уже случилось. Разрешите мне рассказать тебе кое-что. Вернусь на 30 лет назад. Нью-Йорк. Антикварный магазин, угол 23-й улицы и Лексингтон-авеню. Парень дал мне 500 долларов.

Дамиэль настолько поражен услышанным, что из его руки падают монеты.

**Дамиэль:** Ты был...

**Питер Фолк:** Да.

Питер Фолк достает сигарету. Дамиэль потрясен величием своего открытия.

**Дамиэль:** Ты... Ты — тоже?

**Питер Фолк:** О, да. Здесь много наших.



Дамиэль с любопытством рассматривает Питера Фолка. Тот прикуривает от своей сигареты новую и протягивает ее Дамиэлю. Появляется ассистент режиссера и требует, чтобы актер вернулся на площадку. Дамиэль принимает сигарету из рук актера, делает затяжку и кивает с одобрением.

**Питер Фолк:** Так что ты будешь делать теперь?

**Дамиэль:** Здесь есть одна девушка...

Питер Фолк многозначительно кивает. Снова появляется ассистент режиссера. Актер собирается уходить, но Дамиэль останавливает его.

**Дамиэль:** Эй, подожди! Ты хотел рассказать мне еще что-то! Я хочу знать. Всё!

**Питер Фолк:** Этот опыт ты должен обрести собственным путем — вот в чем штука!

Дамиэль следит за тем, как актер удаляется в сторону бункера, и делает глубокую затяжку.

Площадь, на которой стоял цирк. Вагончики готовы к отъезду. Марион стоит в одиночестве и прощается со своими друзьями. Из автомобиля доносится громкая музыка группы «Прыгая с облаков». Арчи посылает Марион привет из своего «ситроена». Марион машет ему. Сигналя, Арчи отъезжает. Взгляд Марион переходит на Чико, который едва умещается в своем «ситроене». Он вывешивается из окна. Марион, развеселившись, наблюдает за ним. Отчаянно жестикулируя, Чико уезжает. Марион машет ему вслед, смеясь, она закрывает рот рукой. Девушка остается одна со своим чемоданом в центре белого круга песка.

Кассиэль сидит на крыле ангела победы. Он зажал уши, настолько громко звучит музыка на цирковой площадке. Теперь его со всех сторон обступает усиливающийся хор голосов, он внимательно вслушивается в один, хорошо ему знакомый.

**Мысли Марион:**

*Я не могу сказать, кто я, ибо не имею ни малейшего представления о себе самой. Я кто-то, кто не знает своего происхождения, своей родины. Теперь я здесь. Я свободна и могу себе все позволить. Все для меня возможно. Мне нужно только поднять голову вверх, и я стану миром. Сейчас, на этом месте, я испытываю чувство счастья, что мне все подвластно!*

Марион сидит на своем чемодане и играет песком. Рядом с ней появляется Кассиэль. Он стоит сзади и слушает ее. Девушка удовлетворенно оглядывается вокруг себя. С ее места не видно ни одного окна, только стена. Вороны пролетают в кадре.

Взгляд Марион скользит по фасаду дома, размалеванного снизу доверху. Двое ребятшек толкают перед собой корпус телевизора. Взгляд Марион устремляется еще выше — в небо, которое пересекает самолет.

Дамиэль бежит по городу, при этом он пытается еще насвистывать. Ему удастся извлечь кое-какие звуки. Когда он приходит к месту, цирка уже нет. В гневе он бегаёт по белому кругу, в ярости пиная песок ногами, потом садится, глубоко разочарованный, в самом центре бывшего манежа. В кадр вбега-





ют два мальчика.

**Мальчик:** Что ты тут делаешь?

**Дамиэль:** Я сижу.

**Мальчик:** Ты расстроен?

**Дамиэль:** Нет.

**Второй:** Ты болен?

**Дамиэль:** Да!

**Оба:** А что с тобой?

**Дамиэль:** Отсутствие...

**Оба:** Ах так!

**Дамиэль:** Двойной узел — единственное, что может удержать.

**Первый:** Отсутствие... Отсутствие чего?

**Второй:** Возможно, отсутствие еды.

**Первый:** Или выпивки.

**Второй:** Нужно рассказать об этом маме.

Оба паренька продолжают свой путь. К Дамиэлю подходит Кассиэль и, наклонившись к нему, слушает его мысли.

**Мысли Дамиэля:**

*Она не исчезла, Кассиэль. Я знаю это. Я найду ее. Что-то произойдет сегодня ночью. Кассиэль, она меня всему научит. Есть другое солнце, и не только то, что в небе. Глубокой ночью сегодня начнется весна. Совсем другие крылья вырастут у меня, и они вызовут удивление.*

**Дамиэль** (глядя в небо): Кассиэль!

Ангел обнимает друга за плечи. Когда он снимает руки, тот скребет эти места.

...Марион с дорожной сумкой за спиной идет по ночному городу, как и Дамиэль, который выезжает на эскалаторе из торгового центра, похлопывая на ходу руками, чтобы они не

замерзли. Он ест яблоко. Затем его внимание привлекает магазин радиотоваров. На экране телевизора, который стоит в витрине, идет интервью с Питером Фолком, но звука не слышно. В конце интервью актер подмигивает кому-то, и картинка исчезает.

Городские часы показывают без десяти восемь. Дамиэль удовлетворенно сверяет с ними свои часы. Доедая яблоко, он исчезает из кадра.

Закусочная на углу Бундесаллее и Гюнцельштрассе. Марион ест жареную картошку. Появляется Питер Фолк, заказывает кофе. Марион слышит его голос и удивленно оборачивается к нему.

**Марион:** Лейтенант!

Коломбо поворачивается к ней дружески, как всегда.

**Марион:** Держу пари, вы знаете, как разыскивать людей!

**Питер Фолк:** Я знаю, где искать, но не всегда нахожу. Вы кого-то разыскиваете?

Кассиэль с интересом прислушивается к разговору.

**Марион:** Даже не знаю. Я только хочу кого-то найти.

**Питер Фолк:** А кого? Мальчика, девушку, мужчину, женщину? Значит, мужчину. А вы знаете его имя? Нет. Вы знаете, где он живет? О!

Марион пожимает плечами. Коломбо, как уже не раз было раньше, оказался прав.

**Марион:** Я не знаю ничего.

**Питер Фолк:** О, это особый случай.



**Марион:** Я должна найти.

**Питер Фолк:** Удачи вам!

Марион шуточно отдает Питеру Фолку честь и уходит. Кассиэль, проводив взглядом Марион, переключает свое внимание на Питера Фолка. Тот начинает речь, которую довольно успешно произнес вчера перед Дамиэлем.

**Питер Фолк:** Я тебя не вижу, но я знаю, что ты здесь. Я чувствую это. Я бы хотел увидеть твое лицо, потому что существует много вещей, которые я бы хотел тебе сказать. Я — твой друг! Компанеро!

Кассиэль слушает его, но не так пораженно, как Дамиэль. Питер Фолк протягивает руку невидимому собеседнику. Продавщица не знает, что можно ожидать от покупателя, который разговаривает сам с собой. Ангел смотрит на протянутую руку, потом на Коломбо, который так и не знает, достиг он успеха или нет. Он поворачивается к продавщице, которая ему с готовностью улыбается. Когда имеешь таких покупателей, лучше быть настороже!

Марион идет по городу, проходит мимо того самого торгового центра, который совсем недавно миновал Дамиэль. Он же находится сейчас возле мебельного магазинчика. Разглядывая гарнитуры мебели невообразимых размеров для спальни и гостиной, он приходит в неопишуемый восторг. Его взгляд натыкается на плакат, объявляющий о выступлении Ника Кейва в зале Эспланада.

И вот он уже в последнем ряду концертного зала. Накурено, грохот музыки. Ник Кейв

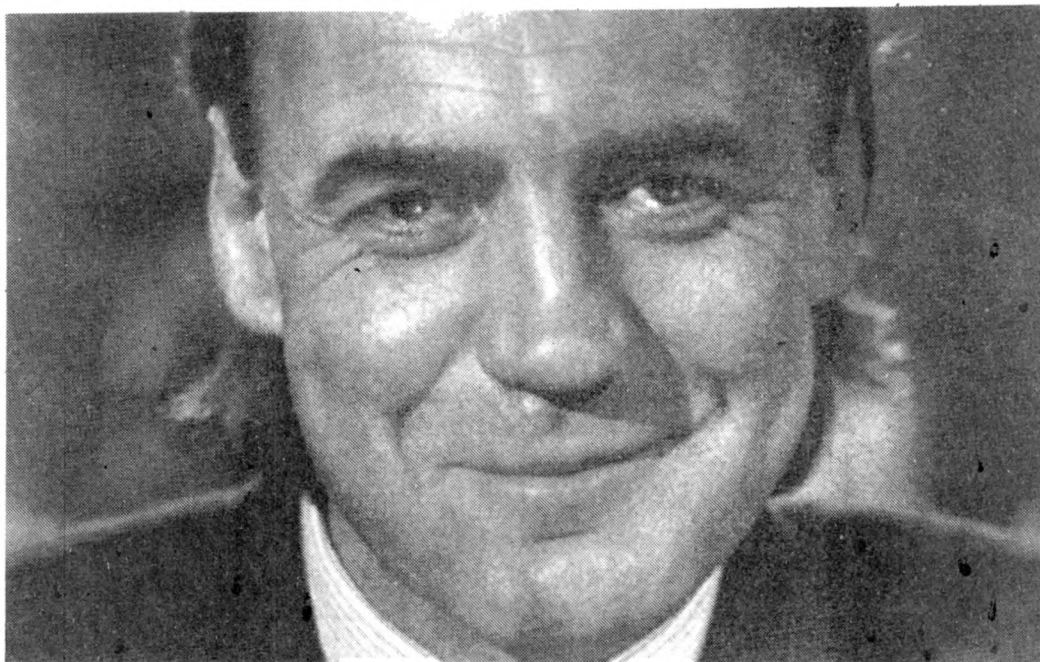
поет песню, которая перед этим звучала в вагончике Марион. Дамиэль медленно проходит через толпу слушателей и направляется в бар, граничащий с залом. Несколько человек уютно расположились в теплом желтом свете, заливающим пространство. Рев публики доходит сюда в приглушенном виде.

Дамиэль возвращается в концертный зал. Марион стоит в самом центре толпы слушателей и кого-то ищет глазами. Однако Дамиэль не замечает ее, и она поворачивается к певцу.

Ник Кейв сидит на табуретке перед микрофоном. Рядом с ним Кассиэль, который наблюдает за собравшимися. Звучит последний куплет песни, и зал взрывается аплодисментами. Дамиэль тоже извергает крик приветствия. Кассиэль неотступно следит за Марион. Ник Кейв поет: «Еще одна песня, и все будет закончено. Но я не рассказал тебе о девушке». Потом начинается песня «Отсюда и в вечность».

Дамиэль смотрит на сцену. Марион стоит с другой стороны сцены и вместе с другими слушателями движется в такт музыки. Дамиэль пробирается через толпу слушателей в бар. Проходит через его пространство и садится за стойку. Марион тоже покидает зал и протискивается через публику в направлении бара. Ник Кейв поет на сцене изо всех сил.

Черно-белое изображение: Кассиэль движется по сцене между музыкантами, уступая им дорогу, потом печально прислоняется к стене. О чем он думает? Ангел может читать наши мысли, но мы его — нет!



Марион входит в бар и останавливается в дверях. Спину к ней Дамиэль. Она подходит к нему. Дамиэль берет бокал вина и подает его Марион. Она отпивает глоток и возвращает стакан. Он хочет приблизиться к ней, но она жестом предостерегает его от этого. Гром заключительных аплодисментов. В соседнем зале закончился концерт. Марион начинает говорить очень длинную речь, и все это время Дамиэль внимательно слушает ее.

**Марион:** Когда-то это должно было стать серьезным. Я долго была одинока, хотя никогда не жила в одиночестве. Я радовалась, когда была рядом с кем-то, хотя и считала его случайностью. Эти люди были моими родителями, но с тем же успехом на их месте могли быть другие. Почему моим братом был этот с карими глазами, а не тот с зелеными, которого я встретила на перроне? Дочь таксиста была моей подругой, но с равным успехом ею могла быть другая девушка. Я жила с мужчиной, чувствовала себя влюбленной, но в любой момент могла бросить его и уйти с первым встречным. Посмотришь ты на меня или нет, дашь мне руку или нет... Впрочем, нет, не давай мне руки и не смотри на меня! Сегодня новолуние. Не быть спокойной ночи! Но ни одной капли крови не должно пролиться в городе. Я никого не обманывала, однако жила с закрытыми глазами и ни к чему не относилась серьезно. Наконец, это стало серьезным!

Таким образом, я стала старшей. Была ли я по-настоящему одинока или, быть может, еще не настало время быть серьезной? Нет, одино-

кой я не была! Но я охотно стала, наконец, одинокой, ибо для меня одиночество означает целостность. Сейчас я могу это сказать, потому что сегодня я, наконец, одинока. Со случайностью должно быть покончено. Пришло новолуние решений. Я не знаю, придат ли это цель нашим деяниям, но решение уже существует. Решать тебе! Время принадлежит нам. Не только весь город, весь мир будет причастен к этому решению. Нас двое, и сейчас это больше, чем двое. Мы олицетворяем нечто! Мы сидим сейчас на площади народов, и все площади полны людей, которые желают того же, что и мы. Мы определяем условия игры для всех. Я готова! Дело за тобой, игра в твоих руках. Сейчас или никогда! Ты нуждаешься во мне. Ты будешь нуждаться во мне. Нет истории более великой, чем история нас двоих, мужчины и женщины. Это будет история исполинов, невиданных прежде, история новых прародителей. Смотри в мои глаза. В них — образ необходимости. Будущее всех в надежных руках. Последнюю ночь я мечтала о незнакомце, моем мужчине. Только с ним я могу быть абсолютно одинока, стану для него открытой, совсем открытой, целостной, отдав ему ту целостность, которая соединяется с лабиринтом всеобщего блаженства.

Их губы сближаются. Она целует его.

**Марион:** Я знаю, ты — это он!

Бар с высоты. Марион и Дамиэль обнимаются.

Тот самый зал, где накануне вечером проходил концерт Ника Кейва. Из огромного окна

в потолке струится дневной свет. Марион на вертикальном канате. Дамиэль следит за движениями с предельным вниманием. Неправильное движение каната, ослабление напояжения могут привести к падению девушки. Она изображает «сирену». На ступенях сидит Кассиэль и следит за обоими. Он в ауре черно-белого.

**Голос Дамиэля:**

Что-то произошло и до сих пор происходит. Все связано. Это было ночью, и это продолжится днем. Кто был кто? Я в ней, и она вокруг меня. Кто в мире может утверждать, что он был вместе с другим человеком?

Я был вместе с ней! Не смертное дитя будет рождено, но — бессмертный образ. Я познал в эту ночь наслаждение. Она меня направляла, и я обрел дорогу домой. Это было однажды, и так будет всегда. Образ, который мы породили, будет сопровождать меня вплоть до моей смерти. Я буду жить в нем.

Дамиэль изо всех сил натягивает канат. Марион почти горизонтально висит в воздухе. Кассиэль сидит в отдалении на ступенях лестницы и наблюдает за другом. Дамиэль начинает осторожно вращать канат.

**Голос Дамиэля:**

Восторг по поводу нас двоих, восторг по поводу взаимоотношений мужчины и жен-

щины сделал меня человеком. Я знаю сейчас то, чего не знает ни один ангел.

Рука Дамиэля записывает произнесенную им фразу. Повторяется кадр, с которого начался фильм.

Печальный Кассиэль сидит на крыле ангела победы. Он слушает голос старика и смотрит вниз на город. Гомер с раскрытым зонтиком прогуливается по Кетенерштрассе.

**Мысли Гомера:**

*Назови мне мужчин, женщин и детей, которые будут меня искать, меня, их рассказчика, певца и человека, задающего тон, потому что они нуждаются во мне, как ни в ком другом в этом мире!*

Кассиэль отклоняется назад и смотрит в небо, где через толщу облаков пробивается луч солнца. Глубоко внизу, на линии горизонта, город Берлин. В небе появляется надпись:

**«ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ».**

NOUS SOMMES EMBARQUÉS (Мы погружаемся на суда)

На черном фоне появляется посвящение:  
«Посвящено всем бывшим ангелам, но прежде всего Ясудзиро, Франсуа и Андрею».

Перевод с немецкого Г. Красновой.

**Подписаться на наш журнал можно,  
начиная с любого номера.**

**Цена по каталогу на I-е полугодие 1994 года —  
250 руб. за 1 номер.**

**На II-е полугодие 1994 года —  
1200 руб. за номер**

**Подписка на полугодие — 3600 руб.**

**Журнал выходит шесть раз в год.**

**Наш индекс 70434**

**в Приложении к Каталогу Роспечати.**

**Алексей Саморядов погиб. Нелепо и безрассудно.  
Но живы его герои, нелепые и безрассудные.  
И в этом — смысл.**

**Петр Луцик, Алексей Саморядов**



## *ДИКОЕ ПОЛЕ*

**М**итя стоял у ворот и глядел в степь. Ветер за его спиной гонял по двору пыль и солому, стучал где-то в доме оконной створкой. Дом, сложенный из дикого степного камня, был больше похож на сарай. Во дворе, огороженном забором из такого же степного камня, лежала разная рухлядь, старая телега, какие-то горшки, под навесом стоял мотоцикл с коляской. Над домом, над соломенной крышей, на высоком шесте висел белый с красным крестом флаг. Вокруг, на-

сколько хватало глаз, тянулись голые, выжженные солнцем холмы.

Митя все смотрел, не отрываясь, в одну точку: Там, где-то в километре от него, на гребне холма стоял человек и тоже смотрел в его сторону.

Митя прошелся по двору. Подбросил дров в летнюю печь, поставил на огонь чайник. Старая собака зевнула лениво в тени под сараем. Митя подошел к полуразрушенному забору и снова посмотрел на дальний холм. Человек

по-прежнему был там. Он стоял неподвижно и смотрел на Митю. Митя внимательно оглядел пустые холмы, но вокруг больше никого не было. Только внизу, под холмом, что-то пылило. Присмотревшись, Митя увидел несущуюся вскачь бричку и мужика, нахлестывающего лошадей. Бричка приближалась к дому...

Кони внесли бричку прямо во двор. Стоявший на ней в рост мужик осадил коней и прыгнул на землю. За ним соскочил парень лет двадцати. Вдвоем они сняли с брички еще одного мужика и быстро перенесли его на каменный стол, врытый посреди двора.

Митя бегом вынес из дома потертый кожаный саквояж. Подойдя к столу, он склонился над мужиком. Тот лежал на столе смирно, сложив на груди руки. Лицо его почернело, он молча глядел в небо. Второй мужик и парень стояли над ним и тоже молчали.

— Вот, умирает, — сказал второй мужик, тот, что гнал коней.

Сняв с головы кепку, он отер ею свое лицо и снова надел кепку на стриженую голову.

— Вижу, — ответил Митя, щупая пульс умирающего. — Много выпил?

— Сорок дней пил, — ответил мужик в кепке.

— Александр Иваныч, чего молчишь? — позвал Митя умирающего. — Где болит?

Александр Иванович слабо потрогал пальцем грудь и снова замер. Митя быстро достал из саквояжа шприц, коробку с ампулами.

— Чего пил? — спросил он.

— Затосковал чего-то и запил, — снова ответил мужик в кепке. — Сорок дней пил не просыхая. Вот, теперь помирает.

Митя сломал ампулу, набрал из нее в шприц. Спустив с умирающего штаны, вколочил ему в ногу. Тут же набрал из второй ампулы. Задрал рубаху, вколочил ему в вену на руке. Александр Иванович даже не пошевелился. Он лежал все так же тихо и не мигая глядел в небо.

— Кончается он, сердце не держит! — Митя с тревогой взял его руку. — Эх, в реанимацию его надо, помрет он у меня!

— Поздно привезли, — мужик в кепке почесал затылок.

— Ты еще вколи, может, отойдет, — тихо сказал парень.

Александр Иванович закрыл глаза.

— Ты чего? — позвал его Митя.

Он потряс его за плечи. Ударил два раза по щекам, наотмашь. Александр Иванович лежал тихо, только голова его мотнулась слабо.

— Помер что ли? — спросил мужик в кепке.

— Вдувай ему воздух в рот! — крикнул Митя парню.

Наложив руки умирающему на грудь, он стал делать массаж сердца.

— Ну-ка, погоди, — остановил его мужик в кепке.

Он поднял умирающего, усадил на столе, придерживая одной рукой за шею, и, размахнувшись, ударил его кулаком в сердце. Александр Иванович дернулся и, открыв глаза, посмотрел измученно на Митю. Мужик снова положил его на стол.

— Вот, — сказал он, — я его, пока довед, два раза уже так приводил в себя. Я уж его и спиртом, и молоком, и уксусом отпаивал. На лед клал, в бане парил, ничего не помогает, помирает, собака! Может, его током попробовать?

— Зачем током? — Митя удивленно посмотрел на мужика.

— Кровь от тока заряжается и сердцу слабнуть не дает, — объяснил мужик. — Я всегда или пчелами, или током лечусь.

Митя склонился к умирающему, поглядел ему в глаза.

— Александр Иванович, ты чего меня пугаешь? — спросил он тихо. — Ты так больше не делай, понял?

— Помираю я, — ответил тот едва слышно.

Митя огляделся. Мужик и парень смотрели на него, ждали молча.

— У меня и лекарств нет, — растерянно сказал Митя.

Он отошел от стола, постоял, глядя на огонь в летней печи. Нагнувшись, поднял с земли железный прут и сунул его одним концом в печь.

— Вот, помирает батя, — сказал парню мужик в кепке. — Жалко батю-то? Батя у тебя хороший, помрет, вот тогда хватишься! Чего молчишь-то?

— Ох и дурак ты, Филипп Ильич! — в сердцах сказал парень. — Редкостный дурак. Тебя за деньги показывать надо, а еще лучше — убить!

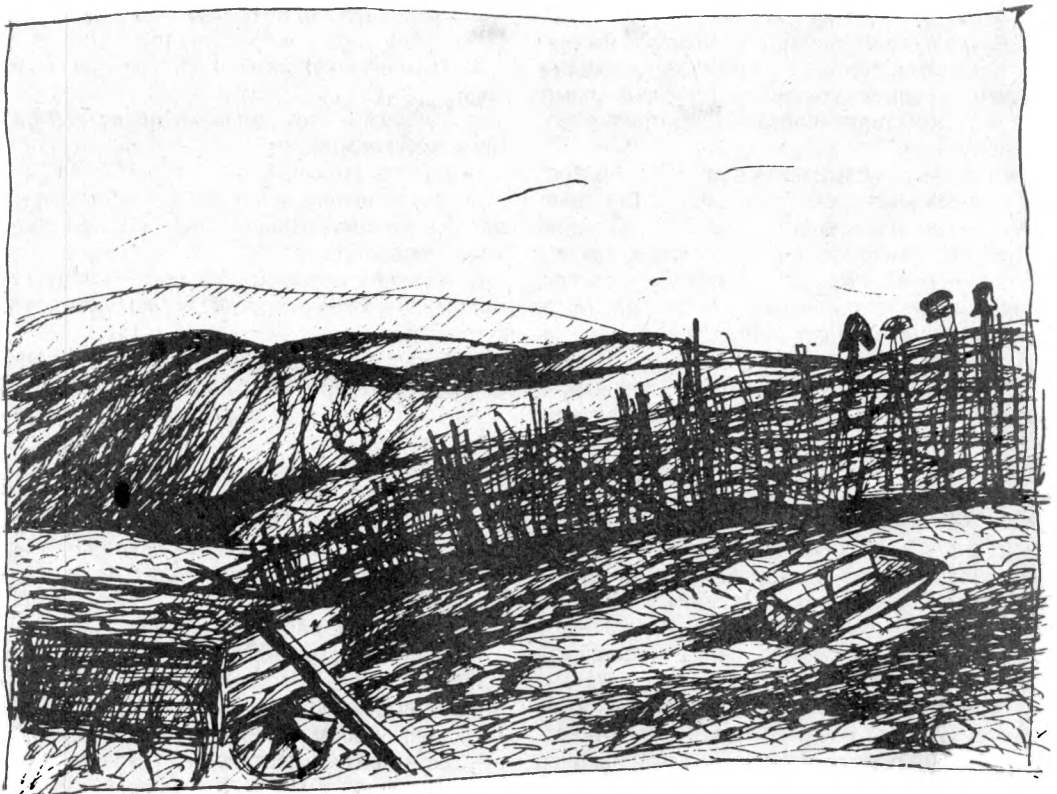
Митя достал из саквояжа скальпель. Склонившись над умирающим, он взял его за голову и осторожно надрезал ему виски. Кровь еле-еле потекла из надрезов по впалым щекам Александра Ивановича. Он лежал, запрокинув голову, и с тоской смотрел в небо. Потом снова закрыл глаза.

— Ты это брось! — сказал Митя. — Сорок дней пил, а теперь помирает.

Он расстегнул на умирающем рубаху и задрал ее до подбородка.

— А ну держите его! — приказал он мужику и парню. — За руки, за ноги держите, крепко!

Он подошел к печи и, обмотав руку тряпкой, достал из огня накалившийся прут. Мужик и парень навалились на умирающего. Прижав его к столу, они смотрели на Митю.



— Крепче держите! — крикнул им Митя.

Он взял умирающего за волосы и прижал прут раскаленным концом к его голой худой груди. Александр Иванович выгнулся дугой, забился страшно. Рот его открылся, но крик не шел из него. Жилы на его шее страшно вздулись, кровь двумя тонкими струями брызнула из надрезанных висков, и только тогда Александр Иванович закричал.

— Молодец, молодец! — радостно подбадривал его Митя. — А ну громче! Молодец! — Он отшвырнул задымившийся прут.

Умирающего отпустили. Он вдруг сел и попытался соскочить со стола, но его снова уложили. Он все кричал, всхлипывая, и мотал залитой кровью головой. Все тело его содрогалось, покрытое крупными каплями пота.

— Все, Александр Иванович, все, — успокаивал его Митя. — Теперь дыши. Дыши, родной, теперь не помрешь!

Он наложил на ожог повязку, обтер лицо больного от крови. Тот стонал и дико косился на Митю глазами.

— Одевайте его, — сказал Митя парню.

Он прошел по двору к сараю, на стене которого был прибит рукомойник, и стал споласкивать руки.

Когда он вернулся, Александр Иванович уже сидел на столе, тихий и светлый. Временами

он крутил головой от боли, кряхтел и прижимал руки к груди. Мужик в кепке и парень улыбались, глядя на него.

— Покурить бы, — сказал больной.

Мужик в кепке протянул ему папиросу, дал прикурить. Александр Иванович затаился. Улыбнулся, закашлявшись.

— Я уж думал помру, — сказал он виновато.

— Так тебе и дали помереть! — засмеялся мужик в кепке. — Доктору, Дмитрию Васильевичу спасибо! — Он повернулся и хлопнул по спине парня. — Ожил батя-то, так что давай, вези доктору свинью.

— Сам знаю, чего везти, — огрызнулся парень.

— Знаешь-не знаешь, а свинью вези! Хорошая, Дмитрий Васильевич, у них свинья, та, что помоложе! — объяснил мужик Мите.

Митя махнул рукой.

— Езжайте уж, — сказал он и погрозил больному пальцем.

Докурив, мужики затоптали папиросы, пожали по очереди Мите руку.

— Спасибо тебе, — сказал парень.

Они взяли осторожно больного и быстро понесли его к бричке.

— Ну прощай, — крикнул мужик в кепке. — Про свинью-то не забудь, ту что помоложе

бери! — И он стегнул коней.

Бричка выехала за ворота, покатила по холму вниз. Митя подошел к забору, провожая ее глазами, и вдруг нахмурился. Вдали, на холме, все так же стоял человек и смотрел в его сторону.

Митя отнес инструменты в дом. Вышел, держа в руках миску, свистнул собаку. Та подбежала, радостно виляя хвостом. Он поставил миску на землю, постоял, наблюдая, как ест собака. Снова подошел к забору. Человек, стоявший на дальнем холме, пропал. Митя внимательно оглядел холмы, но никого не увидел.

Он стоял задумавшись, облокотившись о каменные плиты забора. Тихо было в степи, только ветер иногда подымал пыль. Митя прислушался. Чей-то крик разнесся над степью. Он прошел вдоль забора до угла и из-под руки стал смотреть вниз на дорогу.

По дороге, к дому, пыля, шла старуха. В руке она держала хворостину, которой гнала перед собой мальчика лет пяти, стегая его иногда хворостиной по ногам. На голове у мальчика была странная шапка, блестящая на солнце. Мальчик плакал и кричал на всю степь. В руке у него тоже был прутик, которым он отбивался от бабки, пытаясь стегнуть ее...

Когда они поднялись к дому, Митя наконец разглядел странную шапку на мальчике. Улыбнувшись, он вышел из ворот навстречу.

— Вот ведь какой, — заговорила старуха еще издали. — Как он ее надел, чертов сын? — она запыхалась от быстрой ходьбы.

На голову мальчика была надета красивая фарфоровая ваза. Увидев Митю, мальчик перестал плакать и прутиком пытался стегнуть бабку по плечу. Митя взял его на руки и понес во двор.

— Сметаной ему голову мазали! — продолжала старуха, шагая за Митей. — Старик Трофимов приходил, машинным маслом мазал, не сходит ваза! А ей цены старыми деньгами — сто рублей было! Фарфор! Чертов сын!

Митя посадил мальчика на каменную колоду, осмотрел, улыбаясь, его голову и надетую на нее вазу. Попробовал осторожно ее снять. Ваза сидела крепко.

— Может, расколоть ее? — спросил Митя старуху.

— Голову ему лучше расколоть! — ответила старуха. — Вот сейчас отрежет тебе врач голову, будешь без головы! — сердито сказала она внуку.

Мальчик приготовился снова заплакать:

— Бабулечка, не давай мне голову резать! — закричал он жалобно. — Я больше не буду! — А ну, цыть! — приказала бабка.

Внук замолчал. Из глаз его потекли слезы.

Митя вздохнул. Он подошел к бочке с водой, стоявшей у сарая, потрогал воду.

— Ты в реке купался? — спросил он мальчика.

— Купался, — тот шмыгнул носом. — Мы с Наташкой ходили.

— Нырять умеешь?

— Я как нырну, и на тот берег вынырну, дальше Наташки, дальше всех! — сказал мальчик с гордостью.

Митя взял с рукомойника мыло, полотенце, положил на камень рядом с бочкой. Мальчик, успокоившись, дразнил ногой собаку.

— Бабуля, а правда, я — король? — спросил он вдруг бабку и потрогал вазу на голове.

— Сволочь ты, а не король! — сказала старуха гневно.

Засучив рукава, Митя раздел мальчика до гола, взял его на руки и поставил на край бочки. Осторожно, горстями стал лить на него воду. Мальчик засмеялся, съжившись от холодной воды. Тогда Митя опустил его в бочку по горло.

— Давай, ныряй! — сказал он.

Мальчик забарахтался в бочке, надул щеки и, зажав руками нос, нырнул с головой, так что над водой осталась одна ваза. Митя взял мыло, намылил мальчику голову. Он осторожно стащил вазу и протянул ее старухе, потом вынул мальчика из бочки и, накрыв его полотенцем, поставил на колоду.

Старуха достала из сумки сверток, а вазу осторожно спрятала в сумку.

— На вот, поешь, — протянула она сверток Мите. — Собрала тебе.

— Спасибо, — сказал Митя.

Старуха быстро одела внука.

— Как тебя звать? — спросил Митя мальчика.

— Витька Петров, — ответил тот.

— Физиком будет! — проворчала старуха.

— Почему? — удивился Митя.

— Старший сын физик, средний тоже, значит, и этот физиком будет... Хитрый растет... Посеки его, Дмитрий Василич! — вдруг попросила она Митю.

— Сама чего не посечешь?

— Жалко, обидится, — объяснила старуха. — Да и мстительный очень внук! Посечешь?

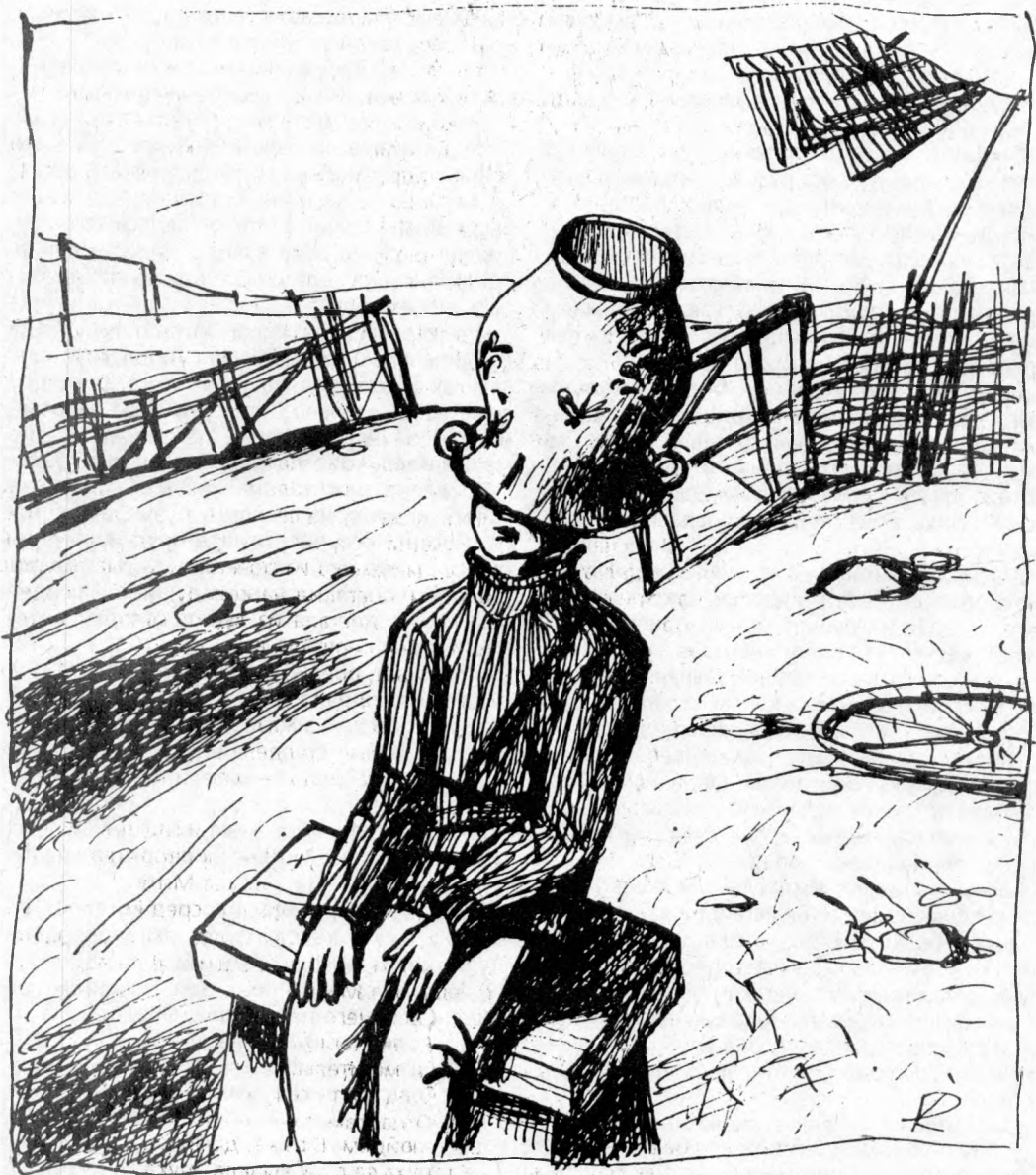
— Отец пусть сечет!

— Отца самого сечь надо. Ладно, посеку сама, пойдем, Витька, домой!

Старуха за руку вывела внука со двора, они пошли по холму вниз и вскоре пропали. Снова стало тихо, безлюдно, только ветер все гонял по двору пыль.

В полутемной комнате стояли старый письменный стол, стулья, потертый кожаный диван. На стене висели несколько полок с книга-





ми и две фотографии в рамках под стеклом. На одной — Митин выпускной курс, на другой — красивая светловолосая девушка.

Отодвинув бумаги и книги, Митя развернул сверток, который ему дала старуха, выложил на стол хлеб, рыжие яйца, сыр. Налил себе в чашку молока. За раскрытым окном прошла по двору собака.

Митя снял со стены фотографию девушки и поставил ее перед собой на стол. Он сидел за столом, ел хлеб, запивая его молоком, и смотрел на фотографию. Временами он вдруг начинал улыбаться...

Он вышел во двор, бросил мусор в летнюю печь. Сполоснул под рукойником чашку. Взяв под рукойником ведро, подошел к забору, выплеснул за забор воду из ведра. Поставив ведро, оглядел дальние холмы.

Никого не было. Митя постоял улыбаясь, повернулся и вдруг замер. Слева, на ближнем холме, теперь всего в полукилометре, сидел человек и смотрел на Митю.

Оставив ведро на заборе, Митя быстро пошел под навес, где стоял мотоцикл. Он выкатил мотоцикл из-под навеса, завел мотор. Сев за руль, дал газ, развернулся и выехал за ворота в степь. Собака подбежала к воротам, встала, глядя ему вслед. Вдруг залаяла тревожно...

Мотоцикл зигзагами поднялся на холм и остановился. Митя огляделся. Вокруг никого не было. Он заглушил мотор, прислушался. Было тихо, только ветер иногда налетал порывами, и где-то среди камней звенели кузнечики. Внизу, на соседнем холме, стоял его дом, белый флаг шевелился на шесте над крышей.

Митя снова завел мотор и медленно тронул мотоцикл, объезжая холм. Он внимательно смотрел по сторонам, стараясь разглядеть хоть какой-нибудь человеческий след, но ничего не нашел. Человек пропал.

Заглушив мотор, Митя слез с мотоцикла. На краю холма стоял серый степной валун. Митя сел на него. Кругом было тихо и пусто. Снизу под холмом блестела на солнце маленькая река, в прибрежных кустах гулял ветер.

Он прилег на камень, заложив руки за голову, и стал смотреть на облака. Облака медленно шли над степью, то открывая, то закрывая солнце...

Он привстал на локте, снова посмотрел на реку. Кто-то мелькнул в прибрежных кустах. Митя вскочил. Подбежав к мотоциклу, он прыгнул в седло и погнал мотоцикл вниз, к реке.

Это была даже не река, а широкий ручей, петлявший между холмами. Местами его берега были пустыми и голыми, местами на них густо росли кусты и деревья. Митя проехал

вдоль кустов, всматриваясь в заросли, спустился к мелкому броду и переехал на другой берег. Здесь начиналась ровная степь, а чуть ниже по ручью стояли огромные вязы.

Митя въехал в рощу и остановился на поляне. Заглушив мотор, он прислушался. В высоких кронах над ним шумел ветер.

Он достал из коляски свернутый брезентовый мешок и, оставив мотоцикл на поляне, пошел по узкой тропинке в чащу.

Вскоре заросли кончились, и он вышел на крутой, поросший травой берег ручья.

Ручей в этом месте был глубокий и тихий. Берега его заросли осокой. По вырубленным в глине ступеням Митя спустился к воде. Здесь, на маленькой укромной площадке, в берег были вбиты колья. Митя огляделся еще раз, присел и сунул руку в воду. Зацепив шнур, привязанный к колу, он осторожно стал выбирать его из воды.

Что-то плеснуло у коряг. Митя потянул еще осторожнее и увидел рыбу. Он подтянул ее к самому берегу, поднял. Осторожно, за голову снял ее с крючка. Ополоснув брезентовый мешок, он нарвал травы, постелил на дно мешка и только тогда положил в мешок рыбу.

Проверив наживку на крючках, он снова забросил донку на середину ручья, под коряги. После этого проверил вторую донку, но она оказалась пустой. Он ополоснул в ручье руки, вытер мокрыми руками лицо. Посидел немного на корточках, улыбаясь глядя на черную воду...

Мотоцикл, пыля по проселку, выбрался на шоссе и остановился у столба, врытого на обочине. Пустынная, без единой машины дорога уходила от столба в обе стороны и терялась в степи. На столбе висел почтовый ящик.

Митя подошел к столбу, заглянув в ящик. Ящик был пуст. Закрыв его, Митя вернулся к мотоциклу, присел, глядя на дорогу, терявшуюся вдаль...

Когда он въехал через ворота во двор, навстречу ему с колоды поднялся маленький щуплый мужик. В руке мужик держал веревку, на которой была привязана тощая рыжая корова с раздутым брюхом. Она лежала на боку и грустно глядела на Митю.

— Подвела меня корова, Дмитрий Васильевич, — заговорил мужик. — Помирает.

— Откуда знаешь? — Митя разглядывал корову.

— Чую. Отравилась дура, дрянь какую-то съела, а может, и время ей пришло.

— Старая?

— Да нет, молодая, шесть лет в марте будет.

— А ко мне зачем привел? — спросил Митя.

— Может, посмотришь?

— Я ж не ветеринар. К ветеринару ее надо.

Я-то в коровах не понимаю ничего.

Мужик кашлянул, переминаясь с ноги на ногу.

— Вот, руку мою тогда посмотри, — сказал он и протянул Мите руку. — Бутыль из-под кислоты промывал, кислотой, значит, разъело.

Митя, придерживая осторожно, оглядел его руку. Кожа на руке мужика слезла до самого мяса.

— У меня, значит, собака сдохла, — снова заговорил мужик. — Весной. Мерзкая была собака, но под гармонь выла хорошо. Потом жена умерла, тоже дура. Я на новой женился сразу, еще хуже дуру взял, теперь вот корова помирает. Мать не та пошла. Я сам-то офицером-летчиком хотел быть, а пять лет матросом прослужил. Ладно, пойду я, — засобирался он вдруг.

— Куда?

— В степь ее поведу, — мужик кивнул на корову. — Пусть там помирает, а может, траву какую найдет.

— Подожди, — остановил его Митя.

Он вынес из дома свой саквояж. Засучив мужику рукав, осторожно смазал ему руку мазью, наложил повязку. Мужик кашлянул снова.

— Может, и корову посмотришь? — спросил он как-то безразлично.

— Руку три дня не мой, а корову к ветеринару веди.

— Был у нас ветеринар, да помер. Остался один зоотехник, тоже сейчас в городе, — мужик вздохнул. — Может, она скатерть сожрала? Третьего дня скатерть во дворе сушилась... утащили. Рентгеном бы ее, заразу, просветить или уж зарезать!

Они стояли и глядели на корову. Митя снова сходил в дом, вынес кусок хлеба. Он нашел в саквояже какую-то баночку с таблетками, высыпал все таблетки на ладонь. Размяв хлебный мякиш, залепил в него таблетки.

— Ну-ка, давай, — присев на корточки, он протянул мякиш корове. — Давай, давай, ешь!

Корова слизнула хлеб с его ладони и стала медленно пережевывать. Митя встал.

— Я ей слабительное дал, — объяснил он мужику. — Сто доз. Может, выйдет твоя скатерть.

— Спасибо тебе, Дмитрий Васильевич! — Мужик, повеселев, потянул за веревку. — Ну вставай, дура! — крикнул он корове. — В степь ее поведу, пусть гадит! — сказал он, улыбаясь Мите.

Корова замычала и тяжело поднялась. Мужик стегнул ее концом веревки.

— Война бы скорей началась, что ли! — вдруг сказал он.

— С кем? — удивился Митя.

— Да все равно с кем, все веселее жить!

Прощай, что ли!

— Прощай!

Мужик пошел к воротам. Корова, тяжело покачивая раздутым брюхом, поплелась за ним. Они ушли в степь, и долго еще в степи раздавалось протяжное мычание...

Ночью ветер прекратился, и стало совсем тихо. В доме горел свет. Лампа, висевшая во дворе, тускло освещала сарай, часть забора. За забором начиналась непроглядная темнота. Ни единого огня не было в степи.

Митя, постелив во дворе кошму, лежал, облокотившись на тулуп, и смотрел маленький телевизор. Передавали всемирные новости. Говорили что-то на английском языке дикторы, на экране возникали и пропадали какие-то города, шли корабли в океане.

Вдруг собака, лежавшая рядом с Митей, вскочила и залаяла. Митя встал, вглядываясь в темноту. Собака умолкла, легла снова, успокоившись. Митя тоже сел, продолжая смотреть новости.

Телевизор вдруг погас. Погас свет на столбе и в доме, сразу стало темно и тихо. Митя в абсолютной тишине чиркнул спичкой, зажег керосиновую лампу.

Держа лампу над головой, осторожно переступая камни, он обошел дом. Здесь, под крышей, на старой ржавой раме стоял двигатель от машины. Митя сунул в него руку, подергал за какой-то рычаг. Переложив лампу из руки в руку, он нажал на стартер. Двигатель завелся, и сразу зажегся свет в доме и во дворе. Митя газанул, и свет разгорелся ярче, так что стала видна степь за забором. Митя установил двигатель на малых оборотах, задул лампу.

Вернувшись, он снова улегся перед телевизором и стал слушать всемирные новости...

У разрушенной кошары стоял «ЗИЛ» с простреленными колесами, рядом, раскинув руки, лицом в землю лежал человек. Мужики с ружьями, окружив цепью кошару, сидели, лежали за остатками каменной ограды, кое-где курили. Метрах в ста стояли их машины, мотоциклы, из-за машин тоже вглядывали мужики с ружьями. Было тихо еще раннее утро.

Митя, пригнувшись за камнями, бинтовал руку единственному в цепи милиционеру. Милиционер, крупный, крепкий мужик, сидел в майке, привалившись к камням, и зло косился на кошару.

— В меня картечью с пяти лет стреляют, — говорил он, сжимая здоровой рукой автомат. — А вот, жив еще! В районе суки сидят, и в области суки, и в Кремле суки, патронов не допросишься, продали все! Эй ты, вошь! —

закричал он вдруг в сторону кошары. — Не вздумай сдаваться! Я пленных уже четыре года не беру, лучше застрелись!

К машинам подскакали двое всадников. Они спешили, и один, не спеша, пошел к кошаре. Из кошары выстрелили. Человек шел все так же, не пригибаясь.

— Ложись! Ложись, дура! — закричали ему из цепи мужики.

Из кошары снова выстрелили. Милиционер приподнялся и дал короткую очередь по жару. Потом повернулся и выпустил очередь над головой идущего. Тот пригнулся и быстро побежал вдоль цепи. Подбежав к милиционеру и Мите, он упал на колени. Это был парнишка лет шестнадцати, совсем еще пацан.

— Дядя Рябов, хочешь помочь тебе? — радостно заговорил он. — Я знаю, чего надо сделать!

Милиционер поймал его здоровой рукой за ворот, а раненой ударил кулаком по уху. Парнишка вырвался, отскочив в сторону, вытер кровь со щеки.

— Пошел отсюда, Панька! — сказал ему Рябов. — Видал? — кивнул он Мите. — Сосед мой.

— Дурак ты, дядя Рябов! — обиделся парнишка. — Я тебе помочь хотел!

Рябов проверил автомат, оглянулся на кошару.

— Мужики! — заговорил он тихо. — По сигналу бейте в окна и двери, а я до стены добегу. Прикрывайте меня!

Парнишка вдруг быстро подскочил к Рябову и схватил одну из гранат, лежащих у его ног. Низко пригибаясь к земле, он побежал назад, к машинам.

— Панька, стой! Стой, собака! — закричал Рябов.

Добежав до машин, Панька вскочил на коня, поднял его на дыбы и поскакал к кошаре.

— Черт — его коня зовут, — тихо сказал Рябов.

Конь легко перескочил через ограду, за которой лежала цепь. Из окна кошары дважды выстрелили. Панька, пригнувшись к шее коня, отвел руку с гранатой. Он выпрямился и на полном скаку красиво бросил гранату в окно кошары. Проскакав еще метров пятьдесят, он остановил коня.

В кошаре рвануло тяжело, из окна пошел серый дым. Рябов первым выскочил из-за камней и побежал к кошаре. За ним бежали мужики с ружьями.

Когда Митя подошел к кошаре, мужики уже вынесли изнутри труп, положили его на траву, лицом кверху. Принесли второй труп, тот, что лежал у «ЗИЛа» с простреленными

колесами. Столпившись, разглядывали убитых.

Митя присел рядом с убитыми, внимательно осмотрел их черные мертвые лица, пощупал пудь, встал молча. Чуть в стороне милиционер тонул за Панькой, пытаясь схватить его коня под уздцы. Панька смеялся, отъезжая от него.

— Пиши бумагу, Рябов, в Москву! — гордо сказал он милиционеру. — Пускай мне орден присылают!

— Я тебя дома высеку при всех девках, доня! — крикнул ему Рябов. — Буду сечь, пока не обоссешься! — Он плюнул в сердцах и пошел к убитым.

— Вроде и не башкирцы, и не татары, — сказал один из мужиков, разглядывая трупы. — Те и стрелять-то не умеют. Кавказцы, что ли, какие? Черт знает что за народ!

Митя отошел к кошаре, сел на камень, глядя на мертвых.

— Двадцать четвертого числа, — диктовал Рябов в записку, записывающему на планшете, — один из неизвестных неопределенной национальности, предположительно азиатских кровей, зашли в дом к Перфильеву, спросили воды, после чего ударили Перфильева по голове табуретом, пытаясь оглушить. После чего ударили в затылок прикладом. Воспользовавшись его потерей сознания, неизвестные угнали у Перфильева машину «ЗИЛ». Так, Перфильев?

— Так, — кивнул один из мужиков с перевязанной головой.

— После него Перфильев пришел в себя и на мотоцикле догнал угонщиков, одного из них застрелил из охотничьего ружья. Другой скрылся в старой кошаре и, отказавшись сдать, был убит Павлом Рязановым с моего разрешения. Так, мужики?

— Так, так, — закивали мужики.

— Смерть подтверждает врач Дмитрий Васильевич Морозов. — Рябов взял бумагу, протянул Мите.

— Ранения описывать? — спросил Митя.

— Как хочешь, — Рябов улыбнулся.

Перфильев достал из своего «ЗИЛа» лопату и, подойдя к одному из убитых, стал применяться.

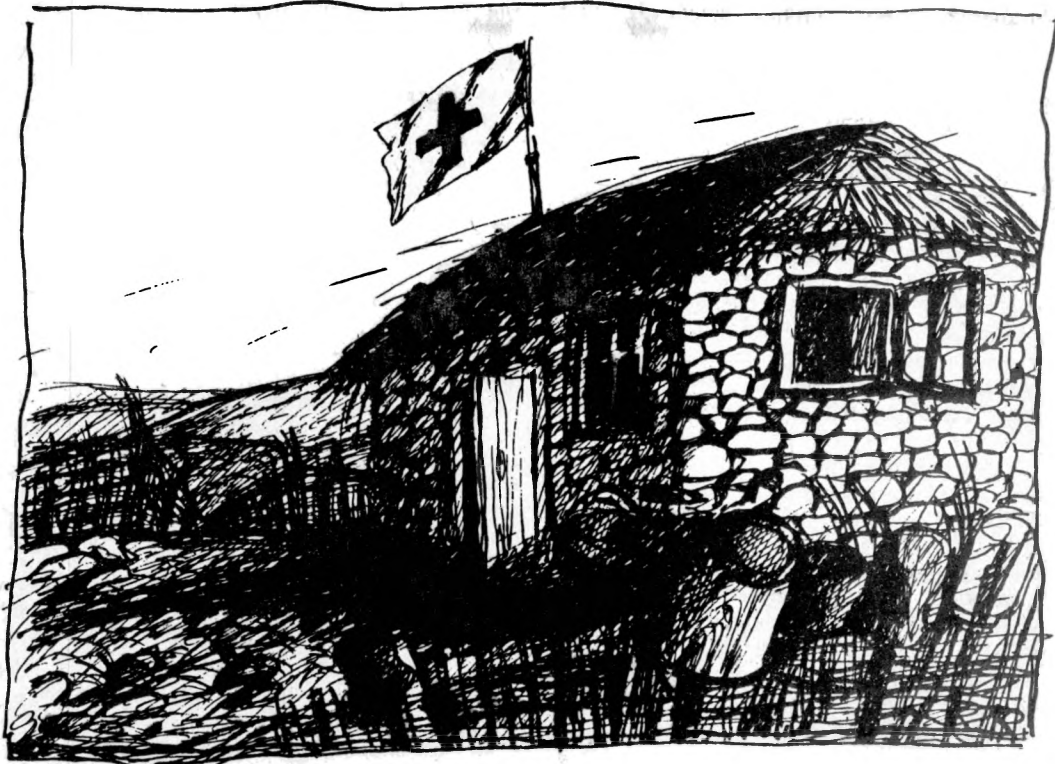
— Ты чего это хочешь делать, голубь мой? — спросил его Рябов.

— Да вот, голову себе заберу, — просто ответил Перфильев.

Перестав писать, Митя с удивлением посмотрел на мужика.

— Голову? — вкрадчиво переспросил Рябов. — А на что тебе, позволь узнать, голова?

— Трофей, — отозвался Перфильев. — Я от него пострадал, я его и убил! Вот голова трофеем и будет, сувенир вроде!



Все, кроме Рябова и Мити, заулыбались.

— И что ты с ней делать будешь? — продолжал пытаться Рябов.

— А что захочу, то и сделаю! — начал злиться Перфильев. — Захочу — на кол повешу, захочу — пепельницу сделаю! — И он занес лопату над мертвым.

— Ну руби, руби, — кивнул Рябов. — А я тебя посажу за надругательство над трупом, три года!

Перфильев задышал тяжело и шагнул к Рябову.

— Посадишь меня? — сказал он со злобой. — По какому закону? Коммунистов нет, Москве мы не присягали, да тебя самого, Рябов, пытаться надо, что ты за человек, понял? Нет твоей власти, понял? Я сам над собой теперь власть!

— А ну осади, осади, мозги-то вышибу! — тихо, сквозь зубы, проговорил Рябов.

— Ладно вам ругаться, чего вам эта башка далась? — встал между ними мужик.

— А мне она и не нужна! — сказал Перфильев. — Я вот Рябова проверить хотел, — он усмехнулся, отходя.

Он подошел к своему «ЗИЛу» и, ни на кого не глядя, склонился, проверяя простреленное колесо. Рябов сел рядом с Митей, вытер локтем со лба пот.

— Видал? — сказал он Мите. — Проверить меня хотел! Головы на сувениры рубить начали! Озлился народ, что дальше будет, один Бог знает! — Поморщившись, он поправил раненую руку. — Здесь в округе я один милиционер на двадцать хуторов остался! Здесь никакой власти и нет совсем! Слышал, он сам над собой теперь власть! — Рябов от боли скрипнул зубами. — Чую я, идет по степи что-то страшное, чего и объяснить не могу...

Митя, задумавшись, все смотрел на мертвых.

— Встречал, что ли, кого из них? — спросил Рябов, заметив его взгляд.

— Нет, не встречал, — ответил Митя. — Видел одного человека в степи, но здесь его нет.

— Тревожно стало в степи, — угромо заключил Рябов.

Они сидели молча у кошары, глядя на мертвых. Каждый думал о своем...

Полуденная степь звенела от жары тонким неутрачивающим звоном. Мотоцикл стоял у столба с почтовым ящиком. Митя, сидя на камне у обочины, складывал из камешков пирамиду. Вдоль дороги, через равные промежутки, стояло еще шесть таких же маленьких пирамид. Наконец, где-то вдали послышался звук

мотора. На холме блеснуло любовое стекло, и на дороге показалась машина. Она приблизилась. Митя встал, отряхнув руки.

Это был старый пыльный «уазик». Он еще издали сбавил скорость и плавно затормозил напротив Мити. Митя встал, отряхнул руки. Дверь открылась, на дорогу выбрался водитель, парень лет двадцати пяти. Он потянулся и закурил, прислонившись к машине.

— В городе бабу одну знаю, — ни к кому не обращаясь, заговорил он. — Страшная блядь, но очень красивая! Любит она в красных халатах газовых по комнате разгуливать, а белье у нее под халатом черное, очень опытная в разврате женщина! Хочешь, познакомлю? Она мне так и говорит: «Приведи мне, Серега, мужчину утонченного!».

— Мне письма есть? — спросил Митя.

— Эх, Дмитрий Васильевич, было бы письмо, я бы вам еще и от себя бутылку водки купил!

Митя улыбнулся. Он завел мотор и тронул мотоцикл в степь. Обернувшись, махнул рукой. Водитель докурил. Плонув, посмотрел на небо. Вдохнув, сел за руль.

Машина ушла. Только столб с почтовым ящиком и каменные пирамидки остались на дороге...

В доме за Митиным столом сидел старик в железных очках и белом халате. Здоровый, крепкий, с лицом садиста, он листал больничный журнал и делал в своем блокноте какие-то пометки.

— Слушаев холеры больше нет? — спросил он Митю.

— Нет. — Митя, сидя на корточках, чесал за ухом собаку.

Старик отложил журнал и в упор уставился на Митю.

— Удивительное дело, Дмитрий Васильевич! — заговорил он. — Чем хуже становится, тем меньше люди болеют! Вот вы, от чего в основном лечите?

— Я? — Митя улыбнулся. — От запоев. Бывают травы, ранения. Мне бы лекарств хоть каких-нибудь.

— Вот-вот, — обрадовался старик. — Запой, порезы, ушибы головы, ну триппер на худой конец или холера! Никаких вам надпочечников, никаких мочевых пузырей! Все, исчезли мочевые пузыри из природы, испарились! А где все эти замечательные болезни: мигрень, диабет, бронхит наконец? Да что там бронхит, где геморрой, я вас спрашиваю? — Он встал из-за стола, опираясь на палку. — Тупею я, Дмитрий Васильевич, от этих ушибов головы, практику теряю, деградирую... — вздохнув, он пошел к выходу, стуча палкой.

Митя, свистнув собаку, вышел следом.

Выйдя из дома, старик принялся ходить по двору взад-вперед, сшибая палкой мелкие камешки. За воротами стояла «Нива» с красным крестом. Митя молчал, глядя на старика.

— Мне бы лекарств, Федор Абрамович, и винты кончаются, — сказал он снова.

Старик перестал ходить, посмотрел на Митю сердито.

— Нет у меня лекарств, Дмитрий Васильевич, — сказал он. — И, наверное, не будет. Угля не будет, бензина не будет, ничего не будет! — Он достал из кармана конверт и протянул его Мите. — Вот деньги, вперед за два месяца, берите, берите, денег больше тоже не будет! — Отвернувшись, он посмотрел мрачно в степь. — У меня два доктора осталось на весь район, и то одного уже четыре месяца не видел. То ли пьет, то ли грабит. Еще старуха сестра осталась, да вот вы. Дожили, скоро роды некому принять будет! — Он оглядел двор, сарай. — А ведь тут, Митя, раньше больница была, палаты белые. За больницей самолет маленький стоял... Все загубили! Губили, губили и — сгубили!

Он замолчал. Митя тоже молчал. Старик снова сердито посмотрел на него.

— Вы в Бога верите? — вдруг спросил он.

— Не знаю, — Митя пожал плечами. — А вы?

— Нет, — резко сказал старик. — Но если он придет, он придет именно сюда, и тогда я ему кое-что скажу!

— Что?

— Я его спрошу, отвернулся Ты от русских или не отвернулся? Если отвернулся, то зачем не убил нас всех разом? Зачем оставил таких, какие мы есть?

— А если не отвернулся? — спросил Митя тихо.

— Если не отвернулся, то почему молчишь так долго? Почему не слышно Тебя? Мы вот тут стоим одни, а Тебя не слышим!

— Так и спросите?

— Так и спрошу! Обязательно спрошу! — Старик ударил палкой об землю.

— Не забудьте, — сказал Митя серьезно.

— Не забуду!

Старик махнул рукой и пошел, опираясь на палку, к воротам. Но вдруг вернулся, достал из кармана маленький пузырек и протянул Мите.

— Вот вам, забыл, американская гуманитарная помощь!

Он снова развернулся круто, пошел хромая к машине. Подняв палку, погрозил ею кому-то в степи. Хлопнув сердито дверцей «Нивы», он развернул машину и покатил по холму вниз...

Ночью Митя сидел в комнате за столом, ел

вареную картошку и читал книгу. Иногда он тихо смеялся. Тогда собака, лежавшая у его ног, удивленно смотрела на хозяина. На столе перед Митей стояла фотография девушки. Временами Митя отрывался от книги и смотрел на фотографию...

Днем он стирал во дворе белье. Из маленького приемника, стоявшего на камне, по двору разносилась музыка. Митя, голый по поясу, склонившись над корытом, яростно тер вороник у рубашки, макая его в мыльную пену.

Выжав рубашку, он прополоскал ее в ведре и повесил на веревку, где уже сушились другие рубашки, носки. Услышав за спиной шум, он обернулся.

Во дворе стояла девушка лет шестнадцати, красивая, смуглая, в нарядном платье, облежавшем ее стройную фигуру.

— Вы что, сами стираете? — Она с любопытством разглядывала Митю.

— Сам. — Митя вытер руки о штаны.

— Хотите, я вам постираю?

— Спасибо, да я уж почти закончил. — Взяв с колоды рубашку, он надел ее, застегнулся.

— А у меня живот болит, — сказала она. — И спина. Вот решила заехать к вам.

Митя улыбнулся.

— Ну раздевайся, — сказал он.

— Ха, здесь что ли?

— Хочешь, под навес иди.

— Догола? — Она прикоснулась к платью.

— Хочешь, догола.

— Ха, догола. Я-то разденусь, а вы и не женитесь!

— Не женюсь, — подтвердил Митя.

— Я здесь самая красивая, на сто километров вокруг. За мной шесть парней ухаживают! Мне отец машину дает, а захочу, и совсем подарит! Вон, видите? — она показала за ворота.

Митя посмотрел туда. В степи, за воротами, стояла «Победа».

— Ну и что у тебя болит?

— Живот болит. — Девушка погладила себя по животу. — Может, я беременная, а?

— Давай посмотрим? — Митя сделал шаг в ее сторону.

— Вы у себя посмотрите! — ответила она быстро. — Я еще ни с кем не была, только тискалась с дураком одним! Хотите, погуляем?

— Где? — удивился Митя.

— Да вот хоть здесь, — она показала на ближний холм. — Я вам сурчиные норы покажу.

— Да я уж видел.

— А здесь есть гора, там шахта старая, там если два часа побыть, то человек через год умирает.

— Где это?

— Там, — она махнула рукой. — Их еще сто лет назад рыли. Там зверь живет, и не волк, и не медведь, а кругом кости, страшно?

— Может, лиса?

— Лиса, — она усмехнулась. — Лиса разве корову утащит? Медведь не утащит! Вы бы хоть спросили, как зовут меня.

— Как?

— Галина. У вас в доме портрет девушки стоит, это жена ваша?

Митя улыбнулся.

— Нет, это знакомая моя.

— Невеста?

— Невеста.

— А где она?

— Приедет. — Он посмотрел в степь. — Она скоро придет.

Они постояли молча.

— Ну так я пойду, — сказала девушка. — Вы хоть проводите меня.

Они вышли за ворота. Ветер шевелил волосы девушки, задирая ей платье, показывая ее стройные ноги.

— А правда, что вы даже мертвых вылечить можете? — спросила она.

— Нет, — сказал Митя. — Мертвых нельзя вылечить.

— А я никогда не умру. — Она поправила волосы. — И старухой никогда не буду. А если бы ее не было, невесты, вы бы со мной стали гулять?

— Не знаю, — Митя снова улыбнулся. — Я уже старый.

— Да нет, не очень, — сказала она. — Я подожду. Если ваша невеста не придет или вас бросит, я приеду. Хорошо?

— Хорошо, — засмеялся Митя.

Она села в машину, высунулась из окна.

— Смотри, — сказала она серьезно. — Буду только целоваться с ребятами!

Машина тронулась и пошла в степь. Митя, улыбаясь, смотрел ей вслед...

Он сидел на вершине холма, на камне, и глядел вдаль. Ветер шевелил ему волосы, над ним низко шли облака. Голые, выжженные солнцем холмы тянулись до самого горизонта, и нигде не было ни души.

Слабый лай собаки донесся до него. Он повернулся, посмотрел туда, где на холме стоял его дом. Белый флаг висел над домом. Собака все лаяла, заливаясь. Митя встал. Во дворе его дома стоял человек. Митя узнал его...

Задыхаясь, он вбежал на холм. Перепрыгнул через забор, остановился посреди двора, оглядываясь. Из-за дома выскочила собака, зарычала на Митю. Где-то за домом хлопнуло

окно. Митя бросился туда.

Обежав дом, он снова остановился. Никого не было, только окно было распахнуто настежь. Собака зарычала на окно, потом подбежала к забору и стала лаять в степь. Митя подошел к забору. Голые холмы лежали перед ним. Где-то вдаль собирались тучи, сверкнула молния.

Он вернулся в дом, прошелся, осматривая комнату. Взял со стола фотографию девушки, потрогал книги на полке, сел у открытого окна. Где-то прогремел гром. Собака по-прежнему стояла у забора, лаяла в степь...

Тьма стояла вокруг, и небо, и степь — все слилось в единое. Митя гнал мотоцикл почти на ощупь, а впереди, в свете его фары, скакал всадник. Иногда он оборачивался и снова, нахлестывая, подгонял коня. Неразличимая в ночи дорога то взбиралась вверх, то падала в овраг, перескакивала степной ручей и снова уходила вверх.

На одном из поворотов мотоцикл вдруг задрался, руль выпрыгнул у Мити из рук, и он вместе с мотоциклом упал на бок.

Всадник развернул коня, подскочил к нему, всматриваясь в темноту. Митя выбрался из-под мотоцикла. Ощупывая себя, покрутил головой.

— Чего там? — крикнул всадник.

— Да упал, — отозвался Митя.

Навалившись, он поставил мотоцикл на колеса. Завел его и снова вскочил в седло. Всадник хлестнул коня, и они снова помчались сквозь ночь. Вдали показался огонь.

В степи, под курганом, горел костер. Пастухи сидели вокруг костра, и огромные тени их плясали на кургане. Над костром, на вбитых в землю кольях, жарилась баранья туша. Рядом с костром в землю по грудь был закопан человек. Одна рука его лежала на земле, а голову его подпирала камнями. Казалось, человек плыл по груди в земле, загребая одной рукой.

Митя соскочил с мотоцикла, подошел к человеку, с удивлением разглядывая его. Всадник спешился, молча присел у костра. Митя осмотрел зрачки закопанного, взял руку, послушал пульс.

— Коровы от грома в долину побежали, — заговорил один из пастухов. — Он их завораживал, его молнией и ударило. Конь под ним сгорел, как спичка.

— Да он мертвый! — повернулся Митя к костру.

— Нет, не мертвый, — пастух покачал головой. — Еще отойдет. Полежит в земле и отойдет.

— Моего брата, — заговорил другой пастух, — тоже молнией било, волосы сгорели.

Мы его в землю зарыли, из него все и вышло, ожил.

Митя снова осмотрел человека, торчавшего из земли.

— А руку чего не закопали?

— Это рука, где сердце, нужно ей свободу, — ответил пастух. — Иди поешь, Дмитрий Васильевич. Он, может, всю ночь так пролежит.

— Иди, садись, — позвал другой. — Барана вот молнией убило, съесть теперь надо.

Митя, озираясь на закопанного, сел у костра. Двое из пастухов сняли тушу с огня и ножами стали срезать с нее дымившееся мясо. Где-то рядом в темноте слышалось дыхание сотен коров, ворчали собаки.

Мите протянули огромный кусок жареного мяса, хлеб. Рассевшись у костра, все принялись есть, поглядывая иногда на торчавшую из земли голову.

— Покрасить, говорю, Кольку Смагина бронзовой краской, и памятника не надо! — сказал молодой пастух, тот, что показывал Мите дорогу.

— Не бреши, — ответил спокойно один из пастухов. — Со всяким может случиться.

Другой, наложив мяса в миску, встал и положил миску на землю перед закопанным. Поправил безжизненную голову, привалив камнями.

— Может, запах мяса почует и оживет, — сказал он.

— Умер он, — сказал Митя тихо. — Сердце у него стоит.

— Нет, не умер, — сказал пастух. — Человечек, он не сразу помирает. Иной раз, смотришь, умер, а он нет, отходит. Полежит, поедит и — отходит.

Стадо над курганом зашевелилось сонно. Догорал костер. Пастухи дремали вокруг костра, самый молодой из них спал на овчине, положив руки под щеку, улыбался во сне. Митя все сидел, проваливаясь в сон, и глядел на голову, торчавшую из земли. Стояла глубокая ночь.

Он очнулся первым. Костер дымился, прогорев до пепла, в степи начинало светать. Митя посмотрел на голову и замер. Человеческая голова смотрела на него ясно и осмысленно, губы ее шевелились.

Митя бросился к закопанному в земле человеку, упал на четвереньки, потрогал его лицо. Склонился, прислушиваясь, к самым губам. Пастухи просыпались. Митя бегом принес ковш воды, поднес его ко рту закопанного. Рука у того слабо шевельнулась. Пастухи столпились вокруг него, стояли, улыбаясь.

— Отошел, — сказал один из них. — Жив Колька.



И они принялись его откапывать...

Голого, грязного, его вынули из земли, положили на кошму, прикрыв одеялом. Он смотрел на пастухов, чуть улыбаясь, и плакал беззвучно, не в силах выговорить ни слова...

Солнце всходило над степью. Митя стоял у мотоцикла, а мимо него, закрывая степь пылью, шло стадо. Тысячи коров мычали, дышали шумно. Кричали пастухи, лаяли собаки, а стадо все шло и шло...

В степи, на кургане, сидели вокруг мужики с хуторов, пастухи — всего человек двадцать. В кругу, на расстеленном брезенте, стояли бутылки с водкой, кружки, лежали хлеб, мясо, овощи. Вокруг, сколько хватало глаз, простирались холмы. Жаворонок пел где-то над степью.

Один из мужиков, разливавший по кружкам водку, протянул Мите кружку.

— Меду возьмите, Дмитрий Васильевич, — сказал другой.

Митя, улыбаясь, поглядывал на Николая Смагина. Тот уже отошел, сидел тихо, глядя на стол, только глаза его еще подрагивали иногда и половина лица была черной.

— Как ты? — спросил его Митя.

— Ничего, — тот кивнул.

Взяв кусок хлеба, он понюхал его. Откусив самую малость, стал осторожно, едва-едва жевать.

— замерз в земле, — сказал он, поправив ватник, наброшенный на плечи. — Не отогреюсь никак.

— Ну как там? — спросил Смагина один из мужиков.

— Где?

— Ну там, когда помер? — Мужик даже придвинулся к Смагину. — Видал чего?

Смагин задумался. Покрутив головой, усмехнулся.

— Чего-то видал, — он снова усмехнулся. — Нету здесь ничего такого, чтоб объяснить. Да я и не понял.

— Ну хорошо или плохо? — допытывался мужик.

— Не знаю. Необычно. — Смагин снова отщипнул хлеба. — Вроде бы и не плохо.

— А видел-то чего?

— Да оставь ты его, видишь, он черный еще! — сказал другой мужик. — Ты, Колька, водки лучше выпей. Сразу к жизни воспрянешь!

— Так видел чего? — не унимался первый мужик.

— Деда твоего видел, — ответил ему Смагин. — Митрофана Романыча Сквородникова, как живой и весь в белом.

— Врешь!

— Встретил он меня и говорит: «Степка мой, паскудник небось, а?» — «Паскудник, — отвечаю, — Митрофан Романыч». — «Обидно, — говорит он, — очень я на него надеялся!».

Мужики загоготали, разбирая кружки. Митя тоже засмеялся.

— Ну это ты врешь! — обиделся мужик, тот, что спрашивал. — Деда ты видел! У деда моего два ордена Славы, он место себе получше получит! Тебя туда и не пустят!

— А я так думаю! — вдруг заговорил один из мужиков, крепкий, жилистый, с черным от солнца лицом. — Смерть к каждому придет, к каждому в свой срок, как и положено! Никто мимо смерти не пройдет! А пока живы мы еще все! Так?

— Так! — закивали мужики.

— А значит и России быть, от моря и до моря, тысячу лет! Так?

— Так! — отозвались мужики.

Все выпили, и Митя со всеми выпил. Далеко разносились голоса с холма. Жаворонок пел над степью...

Днем Митя спал под навесом во дворе. Вдруг тонкая белая рука коснулась его лица. Митя открыл глаза и увидел лицо, склонившееся над ним.

— Катя, — прошептал он и протянул к девушке руки.

Он прижал ее к груди. Они лежали, обнявшись и замерев. Ветер шевелил флаг над домом, гонял по двору пыль. Собака прошла, легла в тени под забором...

Митя сидел на стуле, вытянув ноги, и улыбался. На коленях у него лежала книга, но он не читал ее. Катя в Митиной рубашке ходила по двору и вешала на веревку мокрое белье, простыни. Митя все сидел и смотрел на нее.

К воротам подкатила бричка, и во двор зашел парень, отца которого Митя прижигал железом. В руках он держал огромный куль. Катя ушла в дом, вышла вскоре уже в платье.

Парень поставил куль на стол, поздоровался с Митей.

— Это ваша девушка, Дмитрий Васильевич? — спросил он.

— Да, приехала, — ответил Митя.

— Со встречей вас! — поздравил парень. — Значит, и я вовремя. — Он раскрыл куль.

На столе лежали несколько кругов колбасы, копченая рыба, кусок окорока, хлеб. В отдельном свертке огромный кусок свежего мяса.

— Не побрезгуйте, Дмитрий Васильевич, — сказал парень. — Спасибо вам!

Он кивнул Кате, пошел к воротам. Вдруг вернулся, держа целую охапку речных лилий. Протянул цветы Кате улыбаясь.

— Отец заехал бы, да стыдно ему, — сказал он.

Кивнув снова, парень пошел к воротам. Впрыгнул в бричку, и бричка, пыля, ушла в степь. Митя, обняв Катю, глядел ему вслед. Катя, улыбаясь, прижимала к груди лилии...

Они шли степью по гребню холма. Внизу, отсвечивая на солнце, лежала река. Узкая, чуть заметная тропинка круто уходила вниз. Они стали спускаться к реке.

Под холмом был родник. Митя присел, умылся холодной водой. Напился, черпая воду пригоршнями. Набрав в ладони воды, осторожно протянул их Кате. Катя, наклонившись, стала пить из его ладоней.

— Холодная, зубы ломит, — сказала она, засмеявшись.

Митя прошел вдоль родника, внимательно оглядывая траву. Нашел несколько ягод ежевики. Съел одну, другие протянул Кате. Она взяла ягоды, съела их молча...

У реки, в том месте, где был мелкий брод, Митя разделся. Ступая осторожно, он вошел в воду, дошел до середины переката. Вода журча, текла по его ногам, едва достигая колен. Катя, сняв платье, стояла в купальном костюме, глядела на него.

— Иди сюда, — позвал ее Митя.

Катя ступила в воду, осторожно подошла к Мите.

— Холодно, — сказала она, поежившись. — Как же здесь купаться, здесь же совсем мелко?

Митя сел в воду и, вытянувшись, лег на перекате. Только голова его торчала из воды.

— Ты просто ложишься, — сказал он. — Вода сама потечет через тебя.

— Ты лежишь, как сом, — улыбнулась она. — Или как камень. Как речной валун на перекате.

Митя встал. Капли воды блестели на его теле. Он взял ее за руку.

— Ты приехала насовсем? — спросил он.

— Да, насовсем, — сказала она, откинув волосы со лба. — Ты не завел еще здесь девушку?

Митя обнял ее.

— Ты холодный, — засмеялась Катя. — Нет, ты скажи, скажи, завел девушку или нет? Я ведь все равно узнаю!

Они стояли на перекате, вода журчала у их ног. Ветер шевелил кусты на берегу...

Вечером они стояли во дворе у каменного забора и глядели в степь. Катя прислонилась к Мите спиной, на ее плечи была заброшена телогрейка. Митя, обняв ее обеими руками, тихо покачивался из стороны в сторону.

— Смотри! — вдруг сказала Катя.

Освободив руку, она показала на дальний

холм.

— Там кто-то стоит. Видишь?

Митя молча смотрел туда, куда она показала. На холме стоял человек и смотрел на них.

— Это мой ангел, — сказал Митя тихо. — Он охраняет меня.

— Нет, правда, кто это? — спросила Катя.

— Ангел. Мы больше никогда не расстанемся. — Митя снова обнял ее.

— Никогда. — Катя потерлась щекой о его щеку.

— Здесь можно жить вечно, — сказал Митя.

— Здесь не умирают люди. Если захочешь, ты можешь прожить здесь тысячу лет...

Они сидели по-татарски на кошке и ели разложенные на брезенте мясо, хлеб, овощи. Лампа на столе тусклым светом освещала двор, за каменным забором стояла ночь.

Маленький телевизор показывал какую-то оперу. Катя грызла огромную кость. Рядом с ней стояло ведро с лилиями. Митя кинул кусок мяса собаке. Подвинув блюдо с мясом ближе к Кате, смотрел, как она ест. Она в изнеможении отложила кость, вытерла полотенцем руки. Глубоко вздохнув, откинулась на одеяло. Митя засмеялся...

Он спал на топчане под навесом. Катя, уже одетая, сидела на краю постели, смотрела на него задумчиво. В степи только начинало светать, чистый свет медленно заливал небо над холмами.

— Митя, — позвала Катя тихо.

Митя спал, счастливый.

— Митя. — Она тронула его за плечо. — Я уезжаю очень далеко. Я приезжала попрощаться. Я вышла замуж. И ничего с этим не поделаешь. Мы больше никогда не увидимся.

Она поцеловала его и быстро пошла по двору. Митя привстал, оглянулся удивленно, еще ничего не понимая. За воротами послышался шум машины. Митя встал, подошел к забору. Легковая машина, пыля вдали, уходила по утренней степи. Митя все стоял у забора и смотрел в степь...

Всадник влетел во двор и осадил коня прямо у Митино крыльца.

— Дмитрий Васильевич! — закричал он. — Счас к вам стреляных привезут, меня предупредить послали!

Митя вышел из дома.

— Каких стреляных? — спросил он, оглядывая степь.

— Дочку Кочубееву и с ней Сашку Снегирева!

Взмыленный конь плясал под всадником,

дико косил глазами на Митю.

— Ты толком говори! — сказал Митя.

— Сашка с ней гулял, потом они поругались, и она с парнем из Камышовки пошла гулять, а он ее подстерег и застрелил в живот! — снова прокричал всадник. — А потом себе выстрелил в грудь! Счас уж здесь будут, за горой они!

— Чем стреляли? — спросил Митя.

— Из ружья!

— Пулей или картечью?

— Вроде пулей! Их тихо везут, они вот-вот помереть должны! Сашка, тот и раньше говорил, что убьет ее, если с ним она не будет!

Митя снова поглядел в степь.

— Ты вот что, — сказал он сухо. — Успокойся! Скачи к зоотехнику в Буланово, пусть сейчас же ко мне едет! Пусть все инструменты возьмет и пусть ягненка молодого из стада привезет, живого, понял?

— Понял! — крикнул всадник.

Развернув коня, он поскакал в степь.

Митя зашел в дом, остановился, не зная, с чего начать. Открыв ключом ящик стола, выложил на стол старый синий халат, хирургическую шапочку, марлевую повязку, перчатки.

Он надел чистую белую рубаху. Надел халат и шапочку. Затянув потуже пояс, достал из стола хирургические инструменты, два рулона марли. Подумав, взял пару чистых простыней...

Посреди двора стоял каменный стол, застеленный чистыми белыми простынями. Над столом на веревках висел марлевый полог, закрывавший стол с трех сторон до земли. Ветер тихо шевелил марлевые стены.

Митя поправил простыни, подошел клетней печи, на которой в ведре кипятились инструменты. Подойдя к забору, он еще раз оглядел степь. Было тихо и пусто.

Он тщательно, с мылом, вымыл руки до локтя, вытер их чистым полотенцем. Зашумел мотоцикл, и к дому подъехал Рябов. Он был в форме и портупее, на боку у него висела кобура.

— Счас будут, — сказал он глухо, не глядя на Митю.

— Раны серьезные?

— Девке в живот, а пацану в грудь навyleт. Но сердце вроде не задето. Пулей медвежьей, подлец, стрелял! Любовь значит!

Они постояли молча. Митя еще раз внимательно оглядел свою операционную.

— Послушай, Рябов, — сказал он тихо. — Чего-то мне страшно. Ты уж не пускай лишних людей. Да хорошо бы никого не пускать.

— А чего страшно?

— Не знаю. Девку-то, видать, насмерть уложил.

Митя сел, ссутулившись, у своего каменного стола, поглядел на свои руки. Было тихо...

По дороге к дому медленно ехала брочка, за ней две машины. Рябов пошел им навстречу.

Брочка тихо въехала в ворота, рядом с ней шли трое мужчин и две женщины. Рябов остановил остальных людей в воротах, одного из мужиков поставил охранять вход.

Мужики осторожно сняли с брочки два окровавленных тела и перенесли на каменный стол. Отшли тут же.

Парень и девушка лежали на столе рядом, рука об руку. Митя посмотрел на девушку и узнал ее.

— Галина, — позвал он тихо, склонившись над ней.

Она лежала перед ним неподвижно, бледная, с осунувшимся лицом. Одна из женщин бросилась к ней, но ее поймал Рябов. Женщина вырвалась. Подбежала к Мите, бросилась перед ним на колени, обхватив его ноги. Ее оттащили с трудом, усадили, рыдающую, у забора.

Митя взял палку и очертил круг у каменного стола.

— Не заходить! — сказал он резко. — Никому! Что бы ни случилось, только если я позову сам!

Женщина плакала тихо у забора. Другая сидела молча, как статуя. Мужики тоже все молчали, глядели на Митю.

Митя аккуратно срезал бинты с живота девушки, срезал ее белье. Сделал ей несколько укулов в вены на руках, в живот. Послушал ее пульс.

Он обошел стол, склонился над парнем. Тот был в сознании. Митя срезал бинты с его груди. Парень смотрел на него, сжав зубы.

— Терпи, — сказал Митя тихо и стал обрабатывать рану.

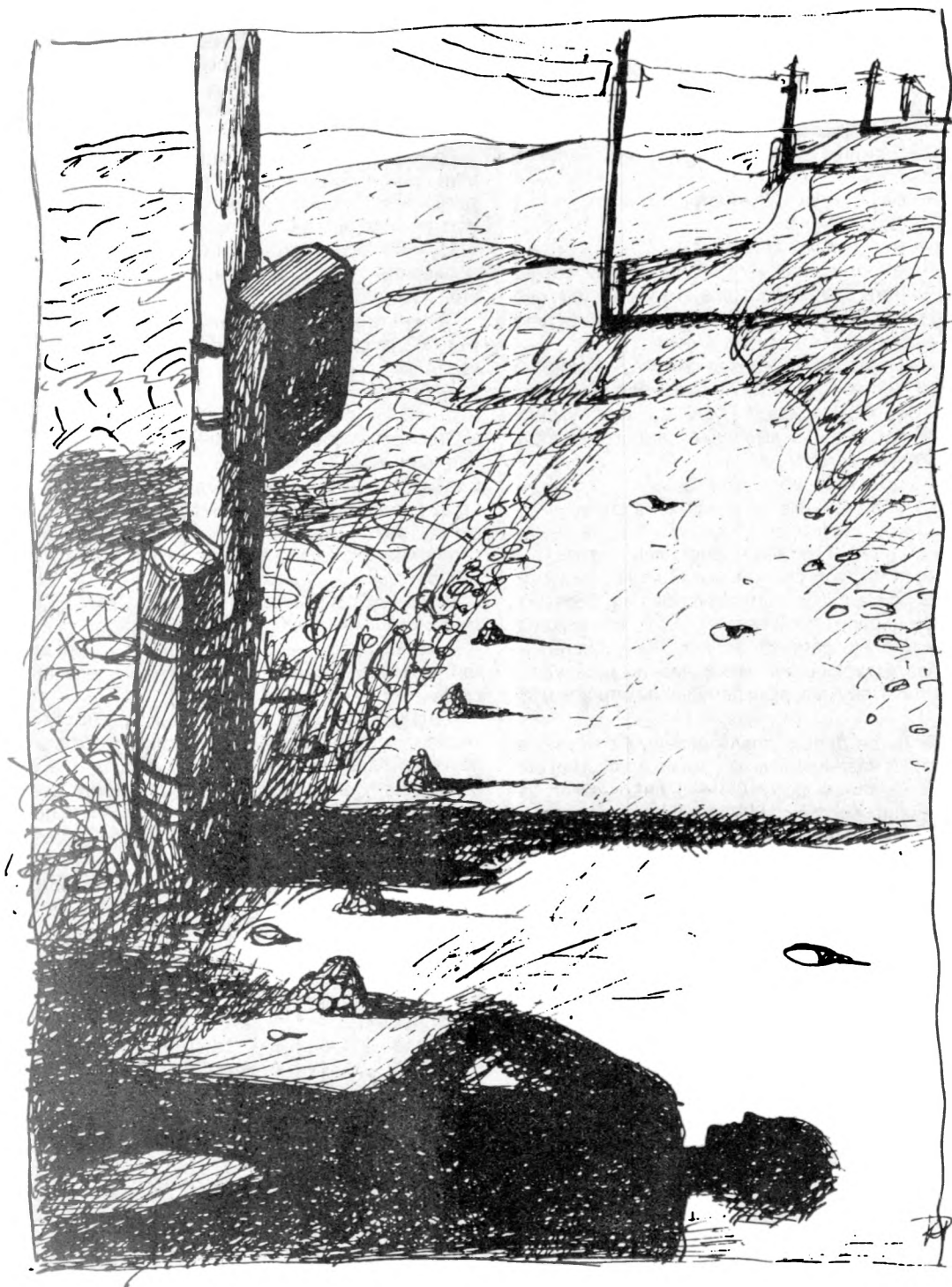
Парень зажмурился, заскрипел зубами. Митя работал быстро, почти автоматически. Во дворе стояла тишина, только инструменты звякали в тазу и чей-то голос бубнил где-то за воротами.

Закончив обрабатывать рану, Митя так же быстро наложил повязку, туго стянув парню плечо. Он налил в стаканчик из фляжки спирта и, приподняв парня, влил ему в рот. Тот выпил спирт как воду.

— Под навес его, только аккуратно! — сказал Митя, ни к кому не обращаясь.

Рябов и еще один мужик сняли парня со стола и быстро перенесли под навес...

Митя сидел на стуле перед девушкой и, чуть склонив голову набок, ощупывал ее рану. Он даже не глядел на ее живот, а словно прислу-



шивался. Он смотрел на ее лицо.

У ворот раздался голоса, и во двор быстро прошел одетый в старенький белый халат старик-зоотехник. В одной руке он держал чемоданчик, а другой сжимал под мышкой белого ягненка.

— Дмитрий Васильевич, барашка-то куда? — окликнул он Митю.

— Пусть зарежут его, мне жилка нужна зашивать! — не оборачиваясь ответил Митя.

Зоотехник отдал ягненка Рябову, тот передал его одному из мужиков. Зоотехник вымыл руки, подошел к столу.

— Федор Иваныч, — тихо сказал Митя. — Ты мне помогай потихоньку. — Он, не отрываясь, смотрел на лицо девушки.

— А тот как? — спросил Федор Иванович.

— Тот нормально. Я пулю найти не могу.

— Печень задело?

— Вроде нет. Кончается она, — добавил он тихо.

Зоотехник раскрыл чемоданчик, развернул тряпку с инструментами.

— У меня ж для скотины инструмент-то! — вздохнул он.

— Ничего, — сказал Митя. — Ты только помогай мне...

Они работали молча, как часовщики. Время тянулось медленно. Тишина стояла во дворе, все молча, не отрываясь, смотрели на стол под марлевым пологом. Вдруг Митя поднялся.

— Я передохну, — сказал он. — Не соображаю чего-то.

Он вышел из круга, держа руки перед собой в окровавленных перчатках. Прошелся по двору, ни на кого не глядя. Люди во дворе по-прежнему сидели молча. За воротами тоже стояли люди, машины, кони. Вечерело...

Митя сидел над девушкой один. Он молча что-то делал в ее животе. Над его головой горела лампочка. Начиналась ночь.

Рядом, на стуле, сидел старик-зоотехник. Он дремал, склонив голову набок. Вдруг Митя выпрямился и бросил в таз пулю. От звука Федор Иванович проснулся. Митя, склонившись, продолжал работать.

Подошел Рябов, подвел за локоть здоровенного парня. Парень, улыбаясь, покачивался.

— Вот, — сказал Рябов. — У него вторая группа, резус отрицательный. Но он, собака, пьяный!

— Это ничего, — сказал Митя. — Это даже хорошо.

Парня посадили на стул, вогнали ему иглу в вену. От иглы шла длинная трубка с резиновой грушей посередине. Иглу на другом конце трубки ввели в руку девушки, и Федор Иванович, нажимая на грушу, стал перекачи-

вать кровь.

Митя продолжал возиться в ране.

— Сколько уже? — спросил он через некоторое время.

— Да литра полтора, хватит, — ответил зоотехник.

— Качай еще, — сказал Рябов. — Кобель здоровый! Что, Петро, крови не жалко? — спросил он у парня.

— Нет, запросто, — улыбаясь, ответил парень.

— Хватит, хватит, — сказал Митя. — Дайте водки ему...

Митя и Федор Иванович работали уже стоя, вдвоем. Зоотехник подавал Мите инструменты, помогал держать их, когда было нужно. Митя зашивал рану...

Заключив зашивать, он наложил на живот девушки повязку. Склонившись над ее лицом, поднял ее веки, осмотрел зрачки. Щеки девушки порозовели. Митя постоял, щупая ее пульс, потом улыбнулся и поцеловал в лоб.

— Все, — сказал Митя.

Он вышел из-под марлевого полога в ночь, прошел в дом, упал на диван и тотчас уснул.

Он не слышал, как во дворе и на холмах зашумели люди, машины. Степь ожила, наполнившись криками, светом. Он не видел, как в комнату вошел Рябов, постоял тихо и вышел...

Ночью была буря. Выла собака. Ветер срывал солому с крыши, раскачивал провода во дворе. Дождь хлестал в окна. Марлевый полог над каменным столом сорвало и унесло в степь. Завалились столбы у навеса. Митя спал и ничего не слышал.

Утром он вышел во двор и не узнал его. Ночная буря свалила навес, разметала вещи по двору, сорвала флаг, висевший на крыше.

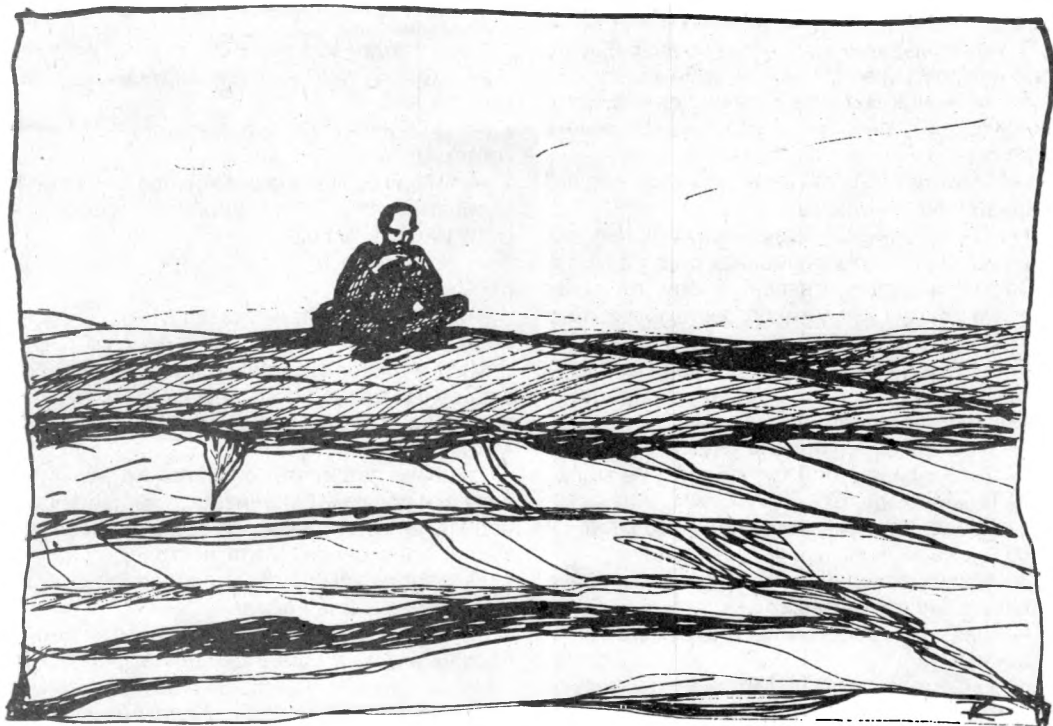
Митя прошел по двору, поднял ведро. Попробовал поставить столбы с навесом. За сараем он нашел шест, на котором висел раньше флаг.

Он сходил в дом, вынес старую черную рубашку. Рукавами привязал ее к шесту. Шест снова поднял на крышу и укрепил.

Рубашка ожила на ветру черным флагом. Митя осмотрел флаг из-под ладони, усмехнулся...

Он сидел в доме за столом и протирал спиртом свои инструменты. Во дворе издавая собака. Митя поднял голову.

На пороге, держась обеими руками за дверной косяк, стоял человек. Митя узнал его. Вид у человека был жалкий, испуганный. Митя посмотрел на него с любопытством. Ничего не сказав, он снова принялся протирать свои инструменты.



Человек тихо прошел в комнату, сел на корточки у стены. Он внимательно смотрел на Митю. Вдруг он заскулил тихо.

Митя встал, присел рядом с ним.

— Ты кто? — спросил он.

Человек не отвечал. У него было лицо идиота, и весь он был грязный и дикий. Он снова заскулил громче и потрогал рукой бок.

— Давай посмотрю, — Митя протянул руку. — Не бойся.

Митя прикоснулся к нему, и он вздрогнул. Митя улыбнулся. Он попробовал поднять на человеке рубашку, но тот вдруг забился, закрывая голову руками.

Митя отошел, бросив его. Человек замолчал. Он поднялся и вдруг сам снял с себя грязную вылинявшую рубашку. На теле у него под рукой была огромная гнойная язва.

Митя, не прикасаясь к нему, осмотрел язву. Взяв со стола скальпель и ватные тампоны, он осторожно, скальпелем, стал чистить язву. Человек стоял не двигаясь, шумно дыша, как животное.

Митя, намочив спиртом ватные тампоны, приложил их к ране. Человек завизжал, забился так, что Митя с трудом удержал его.

— Тихо, тихо, — успокаивал он. — Запаршивел ты, брат. Вымыть бы тебя надо.

Митя наложил на язву повязку. Собрав грязную вату, обрывки бинта, он вынес их во

двор, бросил в печь. Вымыл руки.

Когда он вернулся, человек сидел за Митиным столом в его чистой рубашке и смеялся. Ящики из стола были вывернуты на пол, на полу валялись Митины инструменты, разбитые пузырьки с лекарствами, разорванные бинты, книги, фотографии.

Митя бросился к идиоту. Тот захохотал и вскочил на стол. Митя поймал его за ногу и стащил со стола. Идиот вдруг схватил Митин скальпель и ударил его в живот. Засмеялся снова и выбежал во двор.

Митя, держась за живот, вышел из дома. Во дворе никого не было. Зажав живот, на подгибающихся коленях Митя дошел до ворот.

Человек, поднимая пыль, быстро взбирался на холм. Митя пошел следом, попробовал бежать, но упал на колени. Потом завалился на бок...

Кто-то склонился над ним. Чьи-то руки подняли ему голову. Он открыл глаза и увидел черную бескрайнюю степь и черное небо над степью. Митя смотрел на лицо склонившегося, как смотрят на то, что видят впервые и не знают, что это такое.

— Тебе больно, это пройдет, — сказал склонившийся, и лицо его было словно вырублено из камня.

— Я устал, — тихо сказал Митя. — Забери

меня.

— Ты еще молодой, у тебя все еще будет, — голос говорившего был тихим и чистым.

— Нет, — прошептал Митя. — Лучше забери меня.

Склонившийся над ним покачал головой, улыбнулся и поцеловал Митю в лоб.

— Иди, — сказал он.

Митя приоткрыл глаза и увидел зоотехника Федора Ивановича, нагнувшегося над ним.

— Ну напугал ты нас! — сказал старик. — Жив, слава Богу!

Митя снова прикрыл глаза.

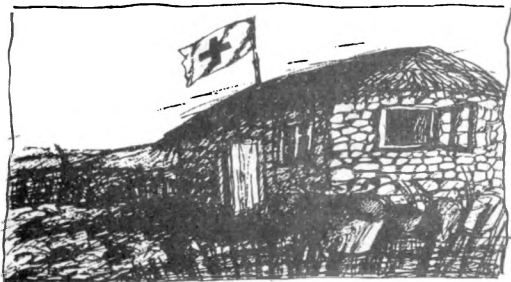
— Я не хочу, — прошептал он склонившись над ним, с вырубленным, как из камня, лицом. — Я ничего не хочу. Мне здесь хорошо.

— Иди, уже пора...

Он покачивался на куске брезента, привязанного к двум жердям. Четыре мужика несли его по степи, положив жерди на плечи. Федор Иванович, зоотехник, шел рядом.

— Остороженько, тихо-тихо, ребятаки, — говорил он мужикам. — Напугал ты меня, Дмитрий Васильевич! Ты чего надумал, а? Помирать собрался, бросить меня, старика, захотел? Нехорошо, мне одному, что ли, ляжку тянуть? Ты уж нас не бросай! — все говорил он ласковым, дрожащим голосом.

Митя чуть повернул голову и увидел вдали свой дом, шест и белый флаг...



*Рисунки Екатерины Рожковой*

**В этом номере на стр. 171 мы публикуем сказки Алексея Алексеевича Саморядова. Сказки эти он раздаривал друзьям и знакомым, а также просто хорошим людям. Поэтому их очень трудно собрать.**

***Мы обращаемся ко всем,  
у кого эти сказки хранятся:***

**Пришлите нам, пожалуйста, их в редакцию, можно не перепечатанными, можно даже в своей собственноручной записи с авторского рассказа. Будем очень признательны!**

***Редакция***

# ГРИГОРИЙ ГОРИН:



— Григорий, пожалуйста, несколько слов перед началом публикации...

— Долгие годы мы занимались тем, что рассказывали друг другу страшную сказку о том, что кино убьет театр, телевидение убьет кино, теперь говорим о том, что компьютерное изображение убьет телевидение... На самом деле, очевидно, боясь этой неведомой грозы, которая ждет впереди, жанры стали сбиваться в стаю. Кино стало приходить в театр, театр возвращается обратно в кино... Границы, как в обществе, довольно условны. Так случилось и с этой работой. Поскольку много лет работаю для кино и для театра, то начинал писать пьесу, а временами думал: а вот этот кусок лучше было бы снять в кино... Потом понимал, что нет, здесь очень важен диалог, тем более что в основе лежит идея, давшая миру великую пьесу... А потом понял, что сегодня это не имеет никакого значения...



Оставим жанры критикам, а существо дела — зрителю и читателю. Перед вами особый жанр: «продолжение любимой вами истории». Это естественный порыв человека — зная какую-то легенду или какой-то сюжет, задаешься вопросом: а что было дальше. Вот и я все время, перечитывая «Ромео и Джульетту», думал: а что же было дальше с двумя домами? Что, просто похоронили молодых и не попытались объединиться? Если была эта попытка, чем она кончилась? Так родилась вещь, которая называется «Записки брата Лоренцо». Это как бы история, начинающаяся с конца, с последней сцены «Ромео и Джульетты». Что из этого получилось — об этом будет судить пока читатель. Потому что кто раньше придет: режиссер кино или режиссер театра — покажет время. Мне важно просто, чтобы вы представили себе Верону, чтобы вы представили себе эту легенду, которая писана была еще до Шекспира одним монахом по имени Бандело, который эту легенду заканчивал фразой, ставшей эпиграфом к «Запискам брата Лоренцо»: «И после смерти молодых Монтекки и Капулетти примирились, но мир этот длился очень недолго».

— *Историю с шекспировским первоисточником знают многие, но редко кому в голову приходит взять да на самом деле его прочесть... А вам пришло... Этим, наверное, и отличаются люди-драматурги от людей-зрителей...*

— Идея возникла из комментариев. Мы знаем, что существует «Ромео и Джульетта», но мы не знаем, что Шекспир всегда брал из книг существующие легенды и сюжеты. А вот этот сюжет, оказывается, очень известен был в то время... Если вы перечитаете Данте, то, оказывается, у него, в аду, продолжают враждовать между собой Монтекки и Капулетти... Сегодня монтекки и капuletти расплодилось по всему миру, превратившись уже в целые народы и этнические группы, то есть семьи развились, но развились в страшном направлении: народ идет на народ, и их влюбленные страдают по причине условностей, которые существовали раньше. То есть эта тема оказывается актуальной. По своему возрасту я уже не очень могу понять влюбленных восемнадцатилетних, а вернее, четырнадцати-пятнадцатилетних влюбленных ребятишек, для которых порыв заканчивается смертью. Любовь сорокалетних, пятидесятилетних более сложна, трудна, и в этом мире, где все враждуют друг с другом, как им объединиться и спасти свой дом, чтобы «чума» не охватила этого дома, — это вопрос, который волнует меня сегодня, волнует тысячи людей. Как устоять в этом бушующем мире? Думаю, что семья — это самое суверенное государство, та самая ячейка, которая может выжить в условиях распада громадной планеты.

— *Мы немножко предвосхитили конец, который еще не сможет прочесть наш читатель — мы же даем здесь только первую часть...*

— Это хорошо, что мы даем только первую часть. Доверимся читателю: если первая часть его оставит равнодушным, ко второй он никогда не подойдет. Если первая часть его в какой-то мере зацепит — он будет ждать продолжения, а значит — следующего номера журнала. Поэтому я здесь выполняю функцию интригующего рекламодателя... Буду надеяться, верить, что прочтение все равно родит какую-то фантазию в умах читателя... А насколько она совпадает с авторской фантазией... — ну подождите месяц-полтора, не так много осталось...

— *Времени у нас десять минут, а вопросов еще куча и довольно объемных. Надеюсь, мы продолжим разговор в следующем номере, когда закончим публикацию «Записок брата Лоренцо»...*

Будет следующий вопрос должен быть такой: «Господин Горин, мы в некотором долгу перед читателями. Вы умудрились у нас в журнале давать начала и не даете продолжений. Поэтому, публикуя первую часть вашей работы «Записки брата Лоренцо», все-таки надеемся, что вторая часть будет»... А я говорю, что обязательно будет (это уже мой ответ), что я приношу извинения... Андрей Миронов в свое время меня называл «начинающий писатель», потому что я умею начинать, а потом как бы быстро теряю интерес. Так появился сценарий про Соломона — «Первый день», который печатал журнал «Киносценарии», а два других «дня» еще ждут, лежат в черновиках, была заявлена книга мемуаров, которую я все обещаю и выдаю только порциями. Ну вот — третий заход. Но я очень благодарен журналу «Киносценарии», что он все-таки, несмотря на эту мою слабость «начинаний», все-таки верит в мои авантюры и сейчас опять печатает первую часть, имея только сцены второй. Но я думаю, что в этот раз я не подведу читателей, и в следующем номере мы увидим продолжение.

*Интервью с продолжением М. Сергиенко*

**Григорий ГОРИН**

# Записки брата Лоренцо

## Трагикомедия в двух частях

### Часть первая

*«...Возлюбленные были похоронены в одной и той же могиле. По этой причине Монтеки и Капулетти примирились, хотя мир этот длился недолго...»*

*«Ромео и Джульетта» Маттео Банделло (1480-1561 гг.)*

#### ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

Бартоломео делла Скала — герцог Веронский

#### Дом Монтеки:

Сеньор Монтеки

Сеньора Монтеки

Бенволио — племянник, друг покойного Ромео

Антонио — дальний родственник из провинции

Ринальдо — его сын

Бальтазар — слуга Ромео

#### Дом Капулетти:

Сеньор Капулетти

Сеньора Капулетти

Валентин — брат покойного Тибальда

Сеньора Розалина — вдова

Самсон — слуга

Брат Лоренцо — францисканский монах, он же — ХОР в прологе

Джорджи — негодяин

Горожане Вероны, музыканты, родственники и слуги обоих домов, солдаты.

### ПРОЛОГ

Верона девяностых годов нынешнего столетия. В старой части города, на площади, сти-

лизованной под XIV век, фехтуют актеры маленькой бродячей труппы, одетые в средневековые костюмы. Актеры молоды, дерутся весело и азартно, впрыгивая в толпу зрителей-туристов, вовлекая их в свою игру.

Но вот поединок закончен — фехтовальщики, «заколов» друг друга, попадали замертво.

Будь это античная трагедия, сейчас за недостатком и даже вовсе отсутствием «живых» героев с комментарием должен был бы выступить ХОР. Но хора нет, а есть Верона девяностых, поэтому происходящее нам комментирует местный гид-экскурсовод, ведущий этой программы или как его еще... Словом, пусть так и будет, для краткости: ХОР.

Печально обзрев распростертые «мертвые» тела, Хор горестно вздыхает и легко перекрывает шум толпы:

ХОР. Нет зрелища азартнее на свете,  
Чем зрелище борьбы Монтеки  
с Капулетти!

Звенят клинки! Кровь льется! Горы трупов!  
И ненависть кипит! И смерть справляет  
праздник!

И кажется, никто уже не в силах  
Утешить боль и мертвых воскресить...

Но есть — театр!

Один он может все...

(Хор театральным жестом указывает на полубрани)

«Убитые» оживают, с поклонами удаляются.

ХОР продолжает:

— Почтеннейшая публика!

Для вас

Мы вспомнили старинную легенду,

Рассказанную много лет назад,

Воспетую Банделло и Шекспиром.

(А может быть, и кем-нибудь еще.

Но менее известным и забытым...)

Давно замечено: у истинных легенд

Нет окончаний, есть лишь продолженья:

Сюжет, наполненный чужим

НЕТ ПОВЕСТИ ПЕЧАЛЬНЕЕ НА



СВЕТЕ, ЧЕМ ПОВЕСТЬ О.... (2)

воображеньем,  
Становится правдив, как документ!..  
ХОР достает старую рукописную книгу:  
И нам попался этот манускрипт,  
Где та история изложена подробно,  
Поскольку и записана она  
Со слов монаха, очевидца тех событий  
По имени Лоренцо... Францисканца...  
(листает)  
Здесь на гравюре он изображен...  
(показывает)

Наверно, вам не видно?..  
Попытаюсь  
Сейчас его поближе показать...

ХОР быстро накидывает плащ с капюшоном  
и превращается во францисканского монаха — брата Лоренцо... Продолжает:

Вот он таков примерно...  
Францисканец!

Тот самый, что влюбленных повенчал  
Тайком... И погубил их ненароком...  
А, впрочем, «Бог нам всем судья!»  
(Так пишет он) — «Хотел я лишь добра им»  
(Так пишет он), и дальше излагает  
Событий... судеб... фактов целый ряд  
Доселе совершенно неизвестных.  
Но, как нам показалось, — интересных!..  
Начнем рассказ о них мы... Но — с конца...  
Со слов, что все мы с детства заучили.  
Которые сам герцог у могилы  
Сказал во след двум любящим сердцам:  
«Нет повести печальнее на свете,  
Чем повесть о Ромео и Джульетте»...

Толпа на площади притихла.

Словно издалека наплывают звуки похоронного марша, и на площади появляется траурная процессия. Впереди несут два гроба в цветах. За ними следуют семьи Монтеки и Капулетти. Все в трауре. Монах Лоренцо негромко читает молитву по-латыни.

...Чем пышнее похороны, тем больше они собирают зевак — во все времена. Вот и сейчас — стоит переодеть массовку, то есть превратить *зрителей* двадцатого в *очевидцев* четырнадцатого века, и мы увидим, что любопытство в этой собравшейся поглазеть на похороны толпе зевак явно превосходит скорбь. Тычут пальцами: тот из Монтеки, та — Капулетти, шушукаются.

Но вот и этот непочтительный шум почти-точно стихает. На площади появляется герцог Веронский.

ГЕРЦОГ. Нет повести печальнее на свете,  
Чем повесть о...

(неожиданно сбился, утирает слезы,  
пытается продолжить с пафосом)

Нам грустный мир приносит дня светило —  
Лик прячет с горя в облаках густых!..  
(вновь сбился)

Слова... Слова... Я так устал от слов...

Их небо и земля не в силах слушать,

А люди неспособны понимать!..

К ушам живых пробиться невозможно.

Лишь с мертвыми достойно говорить!  
(обращаясь к гробам)...

Прости вас Бог, о юные создания!..

А вы простите нас, тех кто взрослых.

И, значит, должен быть мудрее и терпимей,

Но предпочитивших глупость и раздор!

Отцов простите ваших, матерей,

Состарившихся братьев и сестричек...  
Они живут! И страсти их кипят!

Но в тот костер, что согревает страсти,  
Они послали почему-то вас...

И герцога Вероны, что поставлен

Над всеми, чтоб порядок и закон

Царил здесь, я молю простить!

Поскольку

Порядка нет... закон не соблюдают...

Но герцог ваш не умер от стыда!..

(и неожиданно резко меняет тон, обращаясь к траурной процессии)

— А теперь несколько слов вам, достойные семьи Монтеки и Капулетти! Мертвые не отвечают, живые не слушают. Вы — посередине! Еще не умерли, уже — не живете! Ибо существование, отравленное ненавистью, не есть жизнь! Я должен вас выслать всех из Вероны, но не могу взять на себя грех перед другими городами Италии! В последний раз, над телами двух безвинных детей буду просить... Мой возраст старше. Мой род — именитый! Но я смиренно молю вас: забудьте прошлые обиды и в знак мира и согласия пожмите друг другу руки! Синьор Капулетти... Синьор Монтеки!

КАПУЛЕТТИ. Ваше высочество, я, собственно, никогда и не отказывался... Моя жена, синьора Капулетти, тоже!.. И если синьор и синьора Монтеки согласны, мы бы могли показать пример другим парам...

ГЕРЦОГ. Вы, Монтеки?

МОНТЕККИ (мрачно). Ваше высочество... К сожалению, моя супруга, синьора Монтеки, не выдержав случившегося, вчера ночью скончалась... Так что парная симметрия, о которой так размышлялся достойный синьор Капулетти, вряд ли возможна!

СИНЬОРА КАПУЛЕТТИ. Примите наши соболезнования, синьор Монтеки! Но должна отметить, что даже такую печальную новость вы умудрились сообщить со свойственной вам желчной иронией!

МОНТЕККИ. Моя ирония, достойная синьора Капулетти, отступает перед вашей чудовищной способностью обижаться!

КАПУЛЕТТИ. Я бы просил вас, синьор, разговаривать с моей женой учтиво! Какой пример вы подаете молодым?

МОНТЕККИ. Меня всегда поражала ваша страсть искать «примеры», достойный Капулетти! У вас в роду портных случайно не было?

КАПУЛЕТТИ. Да как вы смеете?

ГЕРЦОГ (устало). Синьор Монтеки, я же просил...

МОНТЕККИ. Уверю вас, ваше высочество, я никого и не хотел обидеть... Что ж здесь дурного, если в роду и были портные? Иисус Христос из рода плотников — и не стеснялся! А что касается молодых Монтеки, то, я думаю, у них свои головы на плечах! Они сами выберут примеры для подражания! (Бенволио) Не правда ли, племянник?

БЕНВОЛИО. Разумеется, дядя... И если его

высочество герцог прикажет, я пожму руку любому из Капулетти!..

МОНТЕККИ (одобрительно). Вот видите...

БЕНВОЛИО. ...Тем более что после гибели благородного Тибальда там драться уже вообщем-то и не с кем!

МОНТЕККИ. Логично.

ВАЛЕНТИН (выбежал вперед). Это — оскорбление, синьор! Я — брат покойного Тибальда и готов немедленно принять ваш вызов!

БЕНВОЛИО (снисходительно). Лучше протяни руку, мальчик, а то придется протянуть ножки!

ВАЛЕНТИН. Защищайтесь! (Выхватил шпагу, бросился к Бенволио.)

ГЕРЦОГ (решительно встал). Молчать!.. Всем замолчать! Какой позор! Над мертвыми размахивать клинками! И эти люди говорят о благородстве, о чести и достоинстве домов?! Стыдились бы хоть горожан и слуг! Простые неиспорченные люди, уверен я, умней своих господ. (Обращаясь к Бальтазару) Ты, Бальтазар, ты был слугой Ромео... И в память о хозяине своем, пойди, дружок, и сделай первый шаг...

БАЛЬТАЗАР. Куда, ваше высочество?

ГЕРЦОГ. К противнику. Вот хоть к слуге Джульетты...

БАЛЬТАЗАР. К Самсону, что ль?.. Да, господа! Кто ж против?! Самсон, ты не возражаешь, если я к тебе шаг сделаю?!

САМСОН (равнодушно). Шагай, милый! Господа прикажут, так я с тобой, Бальтазар, и целоваться буду!

БАЛЬТАЗАР. Вот и молодец! Только я первым шаг сделаю, а ты первым начнешь целовать, ладно?

САМСОН. Почему это первым целовать?

БАЛЬТАЗАР. А ты, Самсон, ростом ниже! Губами сразу в нужное место и попадешь!..

Слуги и горожане захохотали.

ГЕРЦОГ (солдатам, указав на Бальтазара и Самсона). Арестовать! И заковать в железо!

Солдаты набросились на слуг, скрутили им руки.

— И посадить в тюрьму, — продолжает герцог. — Да в одиночку. Да! В одиночку посадить двоих! И там держать их до тех пор, пока они научатся шутить, как подобает!

Солдаты грубо уводят упирающихся слуг.

ГЕРЦОГ. Все!

Досточтимые Монтекки — Капулетти!

Я понял: голос разума для вас —

Лишь ветра шум... жужжанье комара...

Вы признаете силу и приказы!

Ну что ж, пока я герцог здесь в Вероне,

Я силою заставлю вас любить

Друг друга!

Я ВАС СДЕЛАЮ РОДНЬИ!

Вам мысль моя ясна?

МОНТЕККИ. Пока не очень...

ГЕРЦОГ (с усмешкой). Ну как же так?

Вот видите, мой друг,

Какой вы тугодум в вопросах мира!

Итак, достопочтенные синьоры,

Через неделю в городе Верона

В старинном нашем герцогском дворце

Я НАЗНАЧАЮ СВАДЬБУ ДВУХ СЕМЕЙ!

Монтекки пусть подышут жениха!

Пусть Капулетти подберут невесту!

И за огромным свадебным столом

Я две семьи соединю в одну,

Навечно прекратив вражду и распри!..

А если, господа, и в этот раз

Дерзнете вы уйти от примиренья,

Вас ждет другой «дворец»,

где ваши слуги

Уже сидят и отгоняют крыс!

На этом — все!

Аминь!

И всем молчать!

Лишь вас, достопочтенный брат Лоренцо,

Прошу молитвою оплакать молодых

И перед Богом попросить прощенье

За недостойных нас...

Лоренцо читает молитву.

Звучит траурная музыка.

В доме Монтекки сумеречно и тесно: синьор собрал семейный совет. Здесь родственники, дети, слуги. На почетном месте восседает сам Монтекки, рядом — Бенволио.

МОНТЕККИ. ...Итак, Монтекки, я собрал семью, чтобы обсудить, как водится меж нами, проблемы дома, герцога приказ и все, что может обесчестить нас!

Любое мнение мне ценно, любая мысль — на пользу, если это — мысль, а не побочное выделение организма. Ничего не навязываю, подчинюсь общему решению. Начнем с молодых! (Подходит к ребенку) Что будем делать, мальчик: жениться или нет?!

МАЛЬЧИК. Не жениться!

МОНТЕККИ. Логично. Хотя ты бы мог и согласиться, тебе это лично ничем не грозило. (Подростку) Ты, Джузеппе?

ПОДРОСТОК. Предпочитаю смерть бесчестью!

МОНТЕККИ (всем). Я специально начал с самых юных, чтобы все глупости были высказаны сразу. В дальнейшем просил бы к ним не возвращаться. Смерть — наш проигрыш, семья Капулетти итак уже многочисленной нас. Тюрьма — тоже проигрыш. Где выход, Бенволио?

БЕНВОЛИО. Рассуждаем вслух: не подчиниться приказу герцога — значит нарушить дво-

рянскую присягу. Жениться на Капулетти — покрыть себя позором. Безвыходная ситуация? Но вы, синьор, всегда нас учили, что безвыходных ситуаций не бывает...

МОНТЕККИ. Логично. Что предлагаешь?

БЕНВОЛИО. Не терять времени и выслушать вас, синьор. Вы наверняка что-то уже придумали...

МОНТЕККИ. Молодец, Бенволио! Ты нашел правильное решение, но в следующий раз старайся льстить более тонко... (Ко всем) Итак... Ослушавшись герцога, мы попадаем в опалу и тем самым даем фору Капулетти. Это не в интересах Монтекки! Монтекки не уклоняются от судьбы. Если бой неизбежен — уложи больше врагов! Если свадьба необходима — положи на лопатки всю семью противника!!! (шум) Не возбуждайтесь, я выражаюсь фигурально... Монтекки красивы, но и среди нас есть уроды. Монтекки — благородны, но, если поискать, найдутся мошенники и негодяи... Короче, надо всем пошевелить мозгами и вспомнить родственников в разных городах. Уверяю, отыщется кто-нибудь, кого не жалко...

Все молчат.

1-ЫЙ РОДСТВЕННИК. Может быть, дедушка Винченцо из Мантуи?

МОНТЕККИ. Хорошая мысль. Но он уже в забвении. Не дойдет до свадебного стола. Слишком стар для молодожена.

2-ОЙ РОДСТВЕННИК. А если взять карлика Филиппо, того, что живет в Милане?

МОНТЕККИ. Карлик — Монтекки? Такого не может быть...

2-ОЙ РОДСТВЕННИК. Я сам видел его афишу в цирке... «Под куполом — карлик Монтекки».

МОНТЕККИ (строго). Монтекки — в цирке? Не может быть! Это — псевдоним! Происки врагов! Запомните все: в роду Монтекки не было ни карликов, ни мавров, никаких других отклонений!.. А этого Филиппо предупредите, что если он немедленно не сменит фамилию, то вскоре свалится из-под купола и разобьется!.. Еще претенденты?

БЕНВОЛИО. А если позвать Антонио из Неаполя?

МОНТЕККИ. Не помню такого...

2-ОЙ РОДСТВЕННИК. Зато я помню... Он взял у меня когда-то в долг сто дукатов, до сих пор не прислал...

БЕНВОЛИО. Но он сейчас здесь... в Вероне.

2-ОЙ РОДСТВЕННИК. Видел... Не отдает!

МОНТЕККИ. Это характеризует его с нужной нам стороны. А каков он внешне?

2-ОЙ РОДСТВЕННИК. Похож на черта... Я знаю его с детства. У нас в Неаполе было два Антонио: Хромой Антонио и Косой Антонио...

МОНТЕККИ (нетерпеливо). Этот-то какой?

2-ОЙ РОДСТВЕННИК. Этот — Косой Анто-

нио... Но потом он, правда, тоже повредил ногу...

МОНТЕККИ. Его шансы повышаются. Он женат?

БЕНВОЛИО. Вдовец.

2-ОЙ РОДСТВЕННИК. Говорят, его жена отравилась...

1-ЫЙ РОДСТВЕННИК. Но есть сын. Кстати, весьма благородный юноша.

МОНТЕККИ. Значит сын не подходит. А папаша — вполне достойный кандидат. (Бенволио) Так ты говоришь, он сейчас в Вероне?

БЕНВОЛИО. Да. Приехал по торговым делам, но проигрался в пух и прах в кости!

МОНТЕККИ. Ах, он еще и игрок?! Тогда этот человек, может быть, действительно способен ослепить Капулетти. Найди его, Бенволио, и пригласи ко мне...

БЕНВОЛИО. Я уже это сделал, дядя. Он ждет в прихожей...

МОНТЕККИ (внимательно посмотрев на Бенволио). Ты удивительно разумный юноша, Бенволио! После моей смерти ты будешь достоин возглавить семью... Но, предупреждаю, умру я не скоро! А теперь ступай и пригласи Антонио. (Всем) И вы все ступайте! Разговор, судя по всему, будет нелегким...

Родственники расходятся.

Монтекки подходит к портрету Ромео, обрамленному черными лентами.

МОНТЕККИ: Мой бедный сын, мой доблестный Ромео! Как больно, что покинул ты семью! Ты лучше всех был, благородней всех... Не скоро мы найдем тебе замену! Вот мать, счастливица, ушла вслед за тобой, а мне остались лишь заботы да тревоги... Замолви перед Господом словцо за старого отца, за всех Монтекки... (Тихо молится)

Бенволио приводит Антонио. Вид у того довольно потрепанный, на щеках — щетина, в глазах — нездоровый блеск жажды похмелиться.

АНТОНИО (громко). Добрый день, синьор Монтекки!

Монтекки не отвечает.

БЕНВОЛИО (шепчет Антонио). Причем тут «добрый день»? В доме — траур.

АНТОНИО (спохватившись). Ах, да... — Решительно идет к Монтекки, бухается на колени. — Примите мои соболезнования, дядя! И ваши глубочайшие страдания по поводу безвременной кончины позвольте хоть частично разделить!

Антонио плачет, пытается поцеловать руку Монтекки, тот брезгливо отстраняется.

МОНТЕККИ. Не позволю, дружочек! Те, кто хотел разделить горе, были на похоронах, а тебя я там что-то не заметил...

АНТОНИО. Я скорбел в одиночестве. Только

так я могу дать волю чувствам. И потом, у меня нет приличного черного костюма, дядя.

МОНТЕККИ (разглядывая его). А почему ж у тебя нет приличного костюма, дружочек?

АНТонио. Ограбили. Дорогой ограбили разбойники, дядя. Раздели до нитки...

МОНТЕККИ. И при этом, я вижу, еще и обпоили вином?

АНТонио (не замечает иронии). «Граппой». Глумились и заставили выпить огромную бутылку виноградной водки!.. Два дня не могу прийти в себя от муки... Смертельная жажда... В груди — горит. А вообще я не пью, дядя.

МОНТЕККИ. Не называй меня «дядей», дружочек, пока я не разберусь, кто ты. Ты — кто?

АНТонио. Я — Антонио Неапольский из семьи Монтекки... По двум линиям. По отцовской — я из южных Монтекки, которые пришли с Сицилии, а по материнской — совсем близкая родня. Роднее не бывает... Тройродные сестры — мать моя и супруга ваша, светлая им память обоим... Очень они в детстве любили друг дружку...

МОНТЕККИ (задумчиво). И обе сейчас не могут это подтвердить... Ладно. Будем считать, что поверил. — Он протянул руку: — Здравствуй, племянник!!

АНТонио. Здравствуйте, дядя! (Целует руку)

МОНТЕККИ. И чем же вызван твой приезд в Верону, племянник?

АНТонио. Соскучился! То есть я здесь впервые, но много слышан и даже часто видел во сне... Река Адидже, что величаво несет свои прозрачные воды... Кружевные мосты... Знаменитый костел... Я очень тосковал по Вероне. Кроме того, я знал, что здесь много нас, Монтекки, а мы, как никто, славимся гостеприимством...

МОНТЕККИ. Короче, тебе нужны деньги?

АНТонио (с обезоруживающей прямоотой). Да.

МОНТЕККИ. Денег я тебе не дам.

АНТонио. Я это сразу понял, дядя.

МОНТЕККИ. Но я могу помочь исправить твою беспутную жизнь. Ты хочешь жениться?

АНТонио. Нет.

МОНТЕККИ. Почему?

АНТонио. Я был дважды женат, дядя. Но, видно, я не создан для семейного счастья — обе жены мои умерли... Цыганка мне нагадала, что в третьей семейной жизни умру я.

МОНТЕККИ. В твоем положении быть суевренным — слишком большая роскошь. За невестой дадут хорошее приданое.

АНТонио. Сколько?

МОНТЕККИ. Думаю... тысяч пятьдесят!

Антонио прикидывает...

АНТонио. С Капулетти, я думаю, можно содрать и побольше...

Монтекки опешил.

МОНТЕККИ. Ты подслушивал, негодяй?!

АНТонио. Я бы мог сказать: «О нет!», но я слишком ценю ваше время, дорогой дядя... Вы разговаривали довольно громко... Итак, вы решили насолить Капулетти! Что ж, готов послужить интересам семьи! Но — пятьдесят мало, когда рискуешь жизнью...

МОНТЕККИ. Возможно, они дадут шестьдесят...

АНТонио. Что дадут они, я выясню у них. Что дадите вы?!

МОНТЕККИ. Ах ты сукин сын!..

АНТонио. Если враги дадут шестьдесят, то свои, я думаю, должны дать не меньше. Стыдно нам быть хуже Капулетти!

МОНТЕККИ. Скотина!

АНТонио. И не ругайте меня, пожалуйста, дядя. Иначе тем самым вы повышаете цену!

МОНТЕККИ (Бенволио). Где ты нашел это чудовище?

БЕНВОЛИО. Он подходит?

МОНТЕККИ. Безусловно. Он хуже, чем можно было ожидать. И сколько бы это ни стоило — дело чести семьи Монтекки избавиться от этого субъекта! Благословляю тебя племянник! (Целует Антонио) Сколько с тебя взял комиссионных Бенволио?

АНТонио. Спросите лучше у него, дорогой дядя.

МОНТЕККИ. Оба — вон! Чтоб я вас не видел в такой день!

Бенволио и Антонио откланиваются.

Монтекки вновь подходит к портрету Ромео; молится:

— Мой чистый мальчик, как ты мог уйти навек и одного оставить меня и тех, кто нам пришел на смену?..

Францисканский монастырь. Здесь в тихой и прохладной келье в благочестивом одиночестве вершит свои труды брат Лоренцо.

Но сегодня в монашеской обители звучит молодой и страстный женский голос. Это Розалина.

РОЗАЛИНА (как бы заканчивая исповедь)

...Ну вот, святой отец, и весь рассказ

Про все мои грехи, ошибки и невзгоды...

В чем виновата я, а в чем природа,

Не мне судить...

Но умоляю вас

Скорее в монастырь помочь найти дорогу, Чтобы остатки дней я посвятила Богу!..

ЛОРЕНЦО. Да, дочь моя, нелегко был твой путь...

И выбор твой, как верный францисканец, Обязан я одобрить...

Но позволю





СИНЬОРА КАПУЛЕТТИ. Неужели Джорджи? Или тот гость из Милана?. Впрочем, какая разница? Капелька мужчины в море женских слез. Разве отыщешь? Однако что ж мы намерены делать?

РОЗАЛИНА. К лекарю больше не пойду... И снадобий ваших, синьора, глотать не стану!.. Не надейтесь!

СИНЬОРА КАПУЛЕТТИ. А кто тебя принуждает, глупенькая? Всему свое время. Как говорил мой дедушка-ювелир: время разбрасывать камни, время — вставлять их в оправу... Нас, Капулетти, и так слишком мало, чтоб мы убивали себя в зародыше! Однако монастырь — не самое лучшее место для акушерских манипуляций. Здесь холодно и сыро. Капулетти должны рождаться дома, на белых простынях, под счастливые стоны родни... Короче, я подумала, что тебя неплохо бы выдать замуж...

РОЗАЛИНА. Вы это сто раз уже обещали, синьора.

СИНЬОРА КАПУЛЕТТИ. И, как видишь, от своих слов не отказываюсь... На этот раз — все будет удачно. Надеюсь, ты слышала приказ Герцога?.. И вот первый шаг сделан. Монтеки нашли жениха...

РОЗАЛИНА. Ах вот что?! Я так и знала... Меня — этим вонючим козлам! Да еще с готовым ребеночком... Здорово придумано, синьора! Их — на посмешище, меня — с глаз долой! А вы подумали, что со мной сделает муженек, когда узнает, как его провели?!

СИНЬОРА КАПУЛЕТТИ (строго). Не ори! Он уже знает.

РОЗАЛИНА (растерянно). И что?..

СИНЬОРА КАПУЛЕТТИ. Хочет с тобой познакомиться...

РОЗАЛИНА. ...Убогий совсем?

СИНЬОРА КАПУЛЕТТИ. Я бы этого не сказала. Скорей наоборот. Очевидно просто — благородный. Не тараше глаза, и среди Монтеки такие встречаются. Кроме того, девочка, мы даем за тобой неплохое приданое...

РОЗАЛИНА (растерянно). Чего это вы?

СИНЬОРА КАПУЛЕТТИ. Надоело тратиться на похороны и поминки. Хотим попробовать вложить капитал в свадьбу!..

РОЗАЛИНА. Сомнения меня берут, синьора!

СИНЬОРА КАПУЛЕТТИ. А вот на это уже времени нет! Жених за дверями, а ты бегаешь, как драния кошка... Смотри, на кого ты стала похожа с этой стрижкой... «Дева Мария!» Садись, я хоть приведу тебя в порядок! (Усаживает Розалину, начинает ровнять ей волосы, пудрит нос.)

РОЗАЛИНА (нервно размышляя). Он симпатичный?

СИНЬОРА КАПУЛЕТТИ. На мой вкус, вполне!

РОЗАЛИНА. Стройный?

СИНЬОРА КАПУЛЕТТИ. Как кипарис. Но слегка хромает...

РОЗАЛИНА. Был ранен в бою?..

СИНЬОРА КАПУЛЕТТИ. Вероятно...

РОЗАЛИНА. На какой войне?..

СИНЬОРА КАПУЛЕТТИ. Ты мне надоела с идиотскими вопросами! Лучше посмотри на себя! (Сует ей под нос зеркало) На какую войну эта рожа может рассчитывать?! Только на столетнюю!!!

РОЗАЛИНА (взбешенно). Эта рожа, обожаемая синьора, нравилась довольно многим! Так что Розалина — не уродина и не залежалый товар, которым торгуют ваши приказчики с африканцами...

СИНЬОРА КАПУЛЕТТИ (оглядываясь). Тихо... тихо...

РОЗАЛИНА. Предупреждаю: выйду за Монтеки, только если он мне понравится! В противном случае — стригусь в монахини!

СИНЬОРА КАПУЛЕТТИ (надвигаясь с ножницами в руке). Я тебя сама постригу, мерзавка! Коротко! До плечей!!!

С шумом открывается дверь. Решительно входит Антонио. На нем темный нарядный камзол, шляпа, в руках — букет цветов.

АНТОНИО. Добрый день, синьоры! Я решил войти на этой реплике. А то потом, боюсь, было бы уже поздно... В этих монастырях — чудовищная акустика: стоишь далеко, но все слышно... (Розалине) Разрешите представиться, синьорина: Антонио из Неаполя. Коммерсант. А что касается правой ноги, то часть ее, незначительную, потерял не на войне, как решила досточтимая синьора Капулетти, а в мирный период, во время кораблекрушения в Эгейском море, где ее защемило между двумя судами, шедшими в разных направлениях... Прошу! (вручает цветы Розалине)

Розалина молча принимает букет.

СИНЬОРА КАПУЛЕТТИ (Розалине). Что ж ты молчишь? Скажи что-нибудь синьору.

РОЗАЛИНА. Подслушивали, значит?

АНТОНИО. Вам, синьорина, врать не хочу. Да!

РОЗАЛИНА. И не стыдно?

АНТОНИО. Вам опять же скажу честно: Нет! Я вообще лишен этого предрассудка. Не стыдно, синьорина, все, что от природы... А разве природа не требует знать все, что касается твоей судьбы?

СИНЬОРА КАПУЛЕТТИ. Я пойду, пожалуй... Думаю, вы сговоритесь?

АНТОНИО. Надеюсь, синьора. Только ножницы, прошу, заберите... Наша беседа вряд ли приобретет такую остроту, чтоб они понадобились...

Синьора Капулетти выходит. Розалина и

Антонио молча разглядывают друг друга.

РОЗАЛИНА (со вздохом). Не нравитесь вы мне!

АНТонио. Благодарю за откровенность, синьорина. Замечу, что вы у меня тоже восторгов не вызываете. Хотя, честно говоря, от Капулетти я ожидал худшего... У вас все же фигурка ничего и взгляд довольно осмысленный... Впрочем, попробуем вопрос «нравится-не нравится» перевести в иную плоскость. Скажите честно, вам нравится семья Монтекки, которую я имею честь представлять?

РОЗАЛИНА. Нет.

АНТонио. Мне тоже. А семья Капулетти? Только честно...

РОЗАЛИНА. Ненавижу...

АНТонио. Я так и думал... Таким образом, у нас есть исходная точка для совместных действий. Нелюбовь к ближнему — это то, что объединяет сердца. Наша малопочтенная родня придумала загнать нас с вами в ловушку, мы ответим ей тем же! Как опытный игрок в карты, могу дать совет: если поняли, что оба ваших партнера блефуют, смело берите прикуп, там — два туза!.. Короче, предлагаю не сердить герцога, не спорить с родными, вступить в брак, сыграть веселую свадьбу на радость всему городу, затем быстро поделить приданое и уехать в свадебное путешествие!.. Желательно в Новую Индию.

РОЗАЛИНА. Где это?

АНТонио. Далеко за океаном есть такая земля. Она вообще еще не открыта, но наши неаполитанцы уже вовсю торгуют. Неоценима для свадебных поездок.

РОЗАЛИНА. Почему?

АНТонио. Потому что их — две: Северная и Южная. Каждый выберет свою половину и там постарается забыть супруга, как страшный сон!

РОЗАЛИНА (помолчав, нерешительно). А вы... вообще-то... вы знаете про меня?

АНТонио. Что именно?

РОЗАЛИНА. Ну... про мое... положение?

АНТонио. Ах... в этом смысле? (Показал на живот) Это ваше личное дело, синьорина... Извините, «синьора»... У меня, кстати, тоже есть сын в Неаполе. И парочка близких приятельниц в разных городах, с которыми я и не собираюсь рвать связи. Вообще сразу договоримся: интимная жизнь — это как раз то, что мы, став супругами, будем проводить совершенно независимо!

РОЗАЛИНА (растерянно). Как это?.. Ну в Индии — ладно. А здесь что люди скажут?

АНТонио. Не понял... Какие люди?

РОЗАЛИНА. Родня... Вообще город... Нехорошо!

АНТонио. Мы же уедем.

РОЗАЛИНА. Сразу не уедешь. Пока свадьба, пока соберешься... Живот не спрячешь! Люди начнут месяцы считать... Смеяться станут.

АНТонио. Надо мной что ль?

РОЗАЛИНА. Какая разница? После свадьбы жена и муж — одно целое. Если муж — рогоносец, жена — блудница! Хоть на улицу не выходи...

АНТонио. Господи, ну придумаем что-нибудь!

РОЗАЛИНА. Что?

АНТонио. О, Розалина, как вы туго соображаете! Если выйдете за меня замуж, придется шевелить мозгами побыстрей... «Что люди скажут?» Скажут то, что мы скажем. А мы скажем то, что они любят слушать: романтическую новеллу. О том, как я... случайно встретил вас... потерял голову... обольстил... А потом искал по всей Италии...

РОЗАЛИНА. Когда это было?

АНТонио. Ну это зависит от... сроков. Сколько, извините, сейчас... нашему мальчику?

РОЗАЛИНА. Месяца... три с половиной.

АНТонио (задумавшись). Сейчас апрель... Стало быть, все произошло... март, февраль... Прекрасно! В канун праздника Рождества! В Венеции!

РОЗАЛИНА. Почему в Венеции?

АНТонио. Потому что я был тогда в Венеции.

РОЗАЛИНА. А я тогда не была в Венеции...

АНТонио. Но в принципе могли бы и быть. Здесь не так далеко... Вы вообще-то, синьора, бывали в Венеции?

РОЗАЛИНА. Никогда.

АНТонио. О, бедная! Мерзавцы Капулетти!! Венеция — особый город, синьора. В этом городе слепым нищим подают двойную милостыню, ибо жить в Италии и не видеть Венеции — самое большое несчастье!.. Город, который весь состоит из воды, неба, стекла и зеркал... И все это отражается друг в друге! Поэтому там лодки плывут по небу, а облака стелятся под каблуками... Мы обязательно с вами заедем в Венецию по дороге в Новую Индию. Там я вам покажу площадь Святого Марка... Кстати, именно на ней мы с вами и познакомились под Рождество... Площадь из белого камня... И белый собор! И я... весь в белом камзоле... вскочил из белого плетеного кресла, завидев вас... А потом мы пошли в таверну, выпили белого вина и направились в уютную гостиницу «Белый аист», славящуюся своим белым кружевным бельем... Ну как?!

РОЗАЛИНА (мрачно). Не нравится!

АНТонио (устало). О, мадонна, почему?!

РОЗАЛИНА. Потому что я не была в Венеции. А с кем вы там шлялись по гостиницам, меня не интересует.



АНТониО. Хорошо. Согласен на другой год. Какой?

РОЗАЛИНА. Мантуя.

АНТониО. Предположим. И чего меня туда занесло под Рождество?

РОЗАЛИНА. Вас — не знаю. А меня повезла тетушка. Потому что туда приехал ее компаньон... Джорджи... И еще какие-то важные синьоры. Назначили бал-маскарад. И тетушка сказала, что я должна понравиться этому Джорджи... Он, дескать, и жениться обещал... А он пришел с двумя друзьями из Милана... И

они, сволочи, совсем обпоили меня какой-то дрянью, и я ничего уже не помнила, а они затащили меня в беседку, две волосатые сволочи... и я стала кричать... но начался фейерверк... и никто ничего не слышал... (плачет)

АНТониО (помолчав). М-да. Ужасная история... Ну и при чем тут я?

РОЗАЛИНА. Я хочу, чтоб это были вы.

АНТониО (испуганно). Один из двух?

РОЗАЛИНА (кричит, дает ему пощечину). Не было двух! Не было! Вы были — один... В белом костюме, или в каком хотите... Но один!..

Пожалуйста! Если вы сами вызвались... Если такой благородный... Один! Умоляю!..

АНТОНИО (смущенно потирая щеку). Да... Конечно... Только не плачьте, синьора. Мантуя, так Мантуя... Хотя я всегда не любил этот скверный городишко, и, как выяснилось, не зря!.. (Достал из кармана флягу) Не глотнуть ли нам по капельке «граппы», чтобы дух перевести? (Выпивает. Затем протягивает флягу Розалине. Та, подумав, тоже выпивает) Ну вот и умница. А теперь, когда вы выпили из моего бокала, вы можете угадывать мои мысли, синьора... А мысли мои о том, что надо нам с вами раз и навсегда забыть про Мантую, будь она проклята. Это — не та история, какую захочется когда-нибудь рассказывать внукам!

РОЗАЛИНА. А что рассказывать?

АНТОНИО. У меня есть правило: когда не знаешь, как соврать, говори правду — это очень озадачивает окружающих. Расскажем все как было... Три месяца назад у вас было скверное настроение... Вы приехали сюда... в монастырь Святого Франциска, к доброму монаху Лоренцо... Чтобы исповедаться, а может, и попроситься навек в монастырь. И здесь случайно оказался я — Антонио, коммерсант из Неаполя... У меня тоже — настроение было не из лучших. Ибо, когда торгуешь собственной судьбой, — это не лучший вид коммерции. И вот мы случайно встретились... И нас потянуло друг к другу... Ведь потянуло, Розалина?..

Розалина молча кивает. Они выпивают еще по глоточку.

— И я обнял вас, синьора... Нет, вы еще были синьориной... Я обнял вас, синьорина, и вам это не было противно... (Обнимает Розалину) И тут, как на грех, — открылась дверь и вошла синьора Капулетти!. (Прислушался, затем громко повторил) Вошла синьора Капулетти!

Входит синьора Капулетти.

— Вот!.. Она вошла, и, застав нас в любовных утехах, потребовала, чтоб я женился на ее племяннице. Что я как честный человек и обязан теперь сделать!! (Синьоре Капулетти) Вас это устраивает, синьора?

СИНЬОРА КАПУЛЕТТИ (с усмешкой). Вполне... Только не очень понятно, как я-то оказалась здесь в монастыре?

АНТОНИО (заметив в ее руке ножницы). А вы пришли постричься в монахини, синьора!.. Надо же когда-то подумать и о душе!

К своим посетителям возвращается брат Лоренцо.

РОЗАЛИНА (падает перед ним на колени).

Прошу меня простить, святой отец!..

ЛОРЕНЦО. За что?

РОЗАЛИНА. Недавно в монастырь просилась, А ныне... отправляюсь под венец...

ЛОРЕНЦО. Что ж, дочь моя, смотри, что б

не свершилась

Непоправимая ошибка в этот раз...

АНТОНИО (встает на колени рядом с Розалиной).

Святой отец, благословите нас!..

ЛОРЕНЦО (внимательно смотрит ему в глаза).

На что, сын мой? Я вас совсем не знаю...

Поверьте, неприязни не питаю,

Но и с приязнью не потороплюсь!

Я здесь благословлял уж двух влюбленных...

Теперь у их могилы исступленно

Лишь только горько каюсь и молюсь...

Лоренцо, так и не дав благословения, уходит.

Еще одна площадь старой Вероны. Видно, что здесь живет верхушка городской аристократии, сосредоточена власть — толпу, бурлящую на дворцовой площади, кое-как дисциплинируют караульные в нарядных мундирах. По толпе прокатилась волна радостного оживления — это Бальтазар выкатил на площадь бочку вина.

БАЛЬТАЗАР (кричит). Эй, жители Вероны! Вас Монтеки всех с честью просят выпить, закусить в знак примирения с семьей Капулетти! Гуляй и пей во славу молодых!

С возгласами радости горожане подставляют уют кружки.

Свой бочонок вина выкатывает Самсон.

САМСОН (кричит). Эй, горожане! Капулетти вас всех потчуют вином в знак примирения с семьей Монтеки! Пей и веселись!

Народ ликует.

БАЛЬТАЗАР. Самсон! О, Боже! Ты ли, мой дружок?

САМСОН. Я, Бальтазар! Я, солнышко мое! Как мы давно не виделись!

Бальтазар и Самсон целуются, к изумлению горожан.

1-ЫЙ ГОРОЖАНИН. Смотри-ка! Целуются!

ГОРОЖАНКА. Соскучились...

2-ОЙ ГОРОЖАНИН. С чего это «соскучились»?.. Они из тюрьмы только три дня как вышли!

БАЛЬТАЗАР. Ну как ты здесь, дружок?

САМСОН. Да бегаю все, солнышко, кручусь... По целым дням спины не разгибаю! А ночь покоя тоже не дарит... Тоскую о былом!

БАЛЬТАЗАР. Да, мой дружок... Прошедших дней усладу не вернуть! И время, проведенное в тюрьме, уж каторга свободы не заменит!..

Самсон с Бальтазаром вновь целуются.

1-ЫЙ ГОРОЖАНИН. Да это — не они. Не иначе, подменили!..



**2-ОЙ ГОРОЖАНИН.** Эй, Бальтазар! Самсон! Это вы или нет?.. Чего это вы целуетесь? Или вам крысы в тюрьме кое-что поотгрызали?

Горожане смеются.

**БАЛЬТАЗАР.** Да это мы, Петруччо! Но — другие. Совместная темница нам дала иное понимание смысла жизни... А ты, дружочек, как ты был дерьмом, так и остался...

**САМСОН.** Ты, Петруччо, козел вонючий, вот что я добавлю!..

**2-ОЙ ГОРОЖАНИН** (удовлетворенно и без всякой обиды). Они!.. А то, слышим, изъясняетесь как-то непонятно... с выкрутасами. Слово господи!

**БАЛЬТАЗАР.** Так герцог повелел! Он нам сказал, что будут нас в темнице держать, пока

друг друга не полюбим. И не научимся изящно изъясняться...

**САМСОН.** И элегантно шуткой ублажать!..

**БАЛЬТАЗАР.** Хотите услышать вы серенаду, что в заточеньи сочинили мы?

**ГОРОЖАНА.** Хотим! Хотим!

Вооружившись мандолинами, Бальтазар и Самсон исполняют серенаду:

«За решеткой по небу гуляет луна...

Годы жизни проходят как дым...

Бедный узник не спит!

Ах, ему не до сна!

Его сердце разбито другим...

Припев: Чему положено, то пусть  
исполнится!..

Что суждено, того не миновать...  
Ах, серенада, ты, как я, — невольница!  
Хочу тебе свободу даровать!..

Если жажда томит — воду я отыщу!  
Если голоден ты — дам поесть!  
Но измену любви никогда не прощу!  
Смоет кровь поруганную честь!

Припев.

На прощанье, о друг мой, тебя попрошу:  
Пусть не гаснет сердечный пожар.  
Ведь под сердцем отныне наколкой ношу  
Твое имя: «САМСОН»! «БАЛЬТАЗАР»!!!

Припев: Чему положено, то пусть  
исполнится!..

Что суждено, того не миновать...  
Ах, серенада, ты, как я, — невольница!  
Хочу тебе свободу даровать!..

Парочка сорвала аплодисменты.  
Горожане пьют, веселятся, танцуют.  
На площади появляются родственники Монтеки и Капулетти, среди них — Бенволио и Валентин.

БЕНВОЛИО (одному из родственников Монтеки, презрительно указывая на толпу).

...Как беззаботно веселится чернь!  
Один стакан вина — и все забыто!  
И нет ни оскорбленных, ни убитых,  
И наплевать, что даст грядущий день...  
1-ЫЙ РОДСТВЕННИК МОНТЕККИ.

Но вот идет задира Валентин!  
Прошу, синьор, вас: будьте осторожны...  
Он свой кинжал не убирает в ножны!  
И к нам направился! При этом — не один!..  
ВАЛЕНТИН (подойдя к Бенволио).

Синьор Бенволио! Когда-то сгоряча  
Я вам сказал, что вызов к поединку  
Готов принять от вас!  
БЕНВОЛИО. Я это помню!

ВАЛЕНТИН. А я прошу забыть в день  
общей свадьбы!

И от меня не вызов, но клинок  
Прошу принять, как символ примиренья,  
В ответ отдав мне свой...

(протягивает кинжал)  
БЕНВОЛИО (нерешительно). Что ж, я готов  
В угоду вам оружием сменяться...  
Хотя отметить должен, юный друг,  
Что мой кинжал и больше, и дороже...  
(протягивает свой кинжал).

ВАЛЕНТИН (вспыхнув). Я попросил бы!

БЕНВОЛИО. Что уж тут просить?  
Вы попросили, я отдал немедля!..  
Хотя и жалко! Но надеюсь я,  
что сохранят клинки любовь хозяев  
и острием их к нам не повернуть!

Валентин и Бенволио, обменявшись кинжалами, расходятся.

Звучат фанфары.

Появляются герцог со свитой, синьор и синьора Капулетти, синьор Монтеки.

ГЕРЦОГ (обращаясь ко всем).  
Счастливы день!

Его весь город ждал  
Так много лет, бессмысленно страдая  
От распрей и борьбы!..

Тем радостней итог  
Указа моего!

Синьоры Капулетти,  
И вас, Монтеки, я благодарю  
За вовремя проявленную мудрость  
И трезвость в понимании проблем...  
(весело) А впрочем, трезвым быть  
сегодня всем.

Довольно глупо!

Здесь я ставлю точку  
И предлагаю всем нам выпить по глоточку,  
Не пропустив ни ту, ни эту бочку!

Под возгласы одобрения наливает в кружку из обеих бочек, выпивает и сразу, захмелев, меняет тон:

— ...И вот, главное, никто же и не ломнит, когда все это началось!.. Столько лет неприязни, ненависти, а спроси любого: в чем дело, он и не знает! А я вам скажу, никакой же разницы нет... Все — дети Божьи, и нельзя так сразу... (Одному из горожан) Вот ты кто, например? Монтеки? Капулетти?

ГОРОЖАНИН. Я — не он. И не он. Я — проездом. Из Иерусалима.

ГЕРЦОГ (огорченно). Ты меня сбил. Но не важно... (Всем) Пьем, веселимся все и отмечаем конец вражды, которой нет начала!.. (к Капулетти, с досадой указывая на горожанина) Он меня сбил!.. О чем я?

СИНЬОР КАПУЛЕТТИ. Вы хотели объявить танец, ваше высочество. Танец в качестве примера соединенья рук, доселе разъединенных враждой...

ГЕРЦОГ. Да... В качестве примера... (Заметив, что синьор Капулетти протянул руку супруге) Нет, вам как раз нельзя. На танце у синьоры другой быть должен кавалер... (Обернулся к Монтеки) Монтеки! Где вы? Вы же обещали...

МОНТЕККИ. И не отказываюсь! И не «в ка-

честве примера», как любит выражаться синьор, а по зову души! (Протягивает руку синьоре Капулетти. Та, подумав мгновение, протягивает свою)

Общее ликование. Звучит музыка, все танцуют.

Синьора Капулетти и синьор Монтеки танцуют на переднем плане.

МОНТЕККИ (негромко). Сколько лет я не держал тебя за руку, Юлия?

СИНЬОРА КАПУЛЕТТИ (негромко). Не люблю считать года, Пьетро... Но рука твоя погрубела с тех пор.

МОНТЕККИ. А твоя — совсем нет. Помню ее на ощупь...

СИНЬОРА КАПУЛЕТТИ. Спасибо. Ты был всегда галантен.

МОНТЕККИ. Но нерешителен. Был бы я порешительней тогда... в юности... Может быть, и наши дети были бы живы...

СИНЬОРА КАПУЛЕТТИ. Это были бы другие дети, Пьетро. Ни о чем не надо жалеть. Они отлюбили за нас. Им можно позавидовать...

МОНТЕККИ. Я и завидую. До слез...

СИНЬОРА КАПУЛЕТТИ. Ну... Держись, Пьетро! Улыбайся... На нас смотрят!...

Музыка продолжается. Герцог танцует сразу с несколькими дамами из обеих семейств.

ГЕРЦОГ (хмель путает его речь). ...Это так приятно... Вот слева — одна семья, справа — другая... И все это — под рукой! И мы, как одно целое... Поверите, первый раз отдыхаю, как простой человек! Это ж наказание — быть правителем такого города! Все время ждешь подвоха! Все время — неприятности...

Среди танцующих появляется Лоренцо.

— Вот святой отец появился, — продолжает герцог. — Ну вот что его принесло? Ведь примета есть: монаха встретишь — к беде...

ЛОРЕНЦО (подойдя к герцогу). Ваше высокочество! У меня — важное известие!

ГЕРЦОГ (в отчаянии). Ну что я говорил? (Дамам) Танцуйте! Танцуйте!

ЛОРЕНЦО. Я думаю, имеет смысл позвать Монтеки и синьору Капулетти.

ГЕРЦОГ (печально). Ах, даже так? Ну что же... Позовем... (громко всем) Танцуйте все! И музыка — погромче! (Сразу трезвеет, шепчет на ухо кому-то из своей свиты, тот спешит оповещать Монтеки и Капулетти)

Танцы продолжают, но в сторонке Герцог, Лоренцо, синьор и синьора Капулетти, Монтеки негромко ведут беседу, изредка прерываясь, чтобы приветствовать танцующих.

ЛОРЕНЦО. Глубокочитимые синьоры!

Вам известно,

Что нынче у святого алтаря  
Я должен был прилюдно повенчать  
Антонио и Розалину!

Благодарю вас за оказанную честь,  
Но, избегаю общего позора,

Спешу уведомить вас об отказе...

ГЕРЦОГ. ...Так! (Веселящимся, нарочито небрежно) Танцуйте! Танцуйте!

ЛОРЕНЦО (взволнованно продолжает).

Я из Неаполя сегодня получил

Письмо... от францисканского монаха...

Его зовут Джованни. Брат Джованни!

Вы, может быть, и знаете его...

МОНТЕККИ (нетерпеливо). Да знаем, черт возьми! Что пишет он?

ГЕРЦОГ. Тихо! Тихо! ☿Приветливо машет рукой танцующим) Танцуем все!

ЛОРЕНЦО (Монтеки).

Не стоит черта поминать, синьор,

Не к месту! Он ведь рядом —

Враг хвостатый...

Так вот, в письме Джованни написал,  
Что родственничек ваш, синьор Антонио,  
Женат!...

МОНТЕККИ. И что? Он — дважды был женат!

И дважды стал вдовцом...

ЛОРЕНЦО. Нет, к сожалению!...

Хотя, конечно, говорить так грех...

Но первую его жену... Роситу...

Монах Джованни повстречал недавно,

О чем в письме своем и сообщил...

Все притихли.

— ...Мой брат, Джованни,

— честный человек!!

Поэтому так долго и подробно

Я говорил о нем...

СИНЬОРА КАПУЛЕТТИ. Какой позор!

ГЕРЦОГ (машет рукой). Танцуйте все! Танцуйте!

СИНЬОРА КАПУЛЕТТИ. Какой пример безмерного коварства!...

МОНТЕККИ (взбешен). Синьор! Я заклинаю! Помолчите!!!

СИНЬОРА КАПУЛЕТТИ.

А почему он должен помолчать?

Не все ж вам говорить, синьор Монтеки!

Теперь мы знаем цену ваших слов...

Хотели нам подsunуть в женихи

Прожженного мошеника и плута?

Хотели опозорить Капулетти?!

Бог не позволил!

(Все притихли.)

- Дьявол не помог!!

МОНТЕККИ.

Не стоит, право, вспоминать о Боге  
Синьора, вам... Ведь Бог, ОН видит все...  
И всех! И Розалину вашу видит!..

А впрочем, люди тоже — не слепые!  
Ведь то приданое, что у нее внутри,  
Заметней с каждым днем!..

ГЕРЦОГ (в отчаянии переходит на крик).  
Какая низость!!! Молчите все!!!

От этого крика музыка стихает.

Танцующие изумленно замерли.

ГЕРЦОГ (спокойнее) ...Я ведь знал, что с  
этими людьми невозможно иметь дело... Зло  
не может перерасти в добро, оно способно  
лишь им притворяться! Господи, почему мне  
выпала тяжкая участь быть герцогом в Вероне?  
(солдатам) Привести сюда Антонио и Розалину!  
Быстро!

МОНТЕККИ (тихо). Может, не стоит выяс-  
нять все прилюдно, ваше высочество?

ГЕРЦОГ. Стоит, дружок! Стоит!

СИНЬОРА КАПУЛЕТТИ. Молодые могут быть  
еще не одеты, ваше высочество.

ГЕРЦОГ. Не страшно! Адам и Ева в час свер-  
шения греха предстали перед Господом наги-  
ми! (повышая голос) И хватит меня уговари-  
вать! Я не собираюсь больше покрывать нико-  
го!! Прав был Меркуцио: «Чума! Чума на оба  
ваши дома!!»...

Солдаты приводят Антонио и Розалину.

ГЕРЦОГ ...Приветствую сердечно молодых!..  
Нет! Не могу! (сбился, повернулся к Лоренцо)  
Святой отец... Сами задайте вопрос. У меня  
язык не поворачивается...

ЛОРЕНЦО. Приветствуем сердечно молодых!

Прошу простить за то, что помешали  
Приготовленьям к предстоящей свадьбе...

Но, верность долгу сохраняя до конца,  
Хочу спросить у вас, синьор Антонио:  
Известно ль вам, какой тяжелый грех  
Святая церковь видит в двоеженстве?..

АНТОНИО. Ну разумеется...

ЛОРЕНЦО. Тогда ответьте нам,  
Поклявшись на кресте:

вы не женаты?

АНТОНИО. Святой отец, я дважды был женат  
И дважды овдовел, по воле рока...

Позвольте крест святой поцеловать?..

ЛОРЕНЦО (отшатнувшись).

Не торопись, Антонио!..

Сын мой,

Нельзя с крестом шутить такие шутки!

Ответь мне лучше: был ли ты женат

На женщине по имени... Росита?

АНТОНИО. Да, святой отец...

ЛОРЕНЦО. Обвенчан был ты с нею?

АНТОНИО. Да. Конечно.

ЛОРЕНЦО. Она жива?

АНТОНИО. В каком-то смысле... нет!

ГЕРЦОГ (взорвавшись). Да что он крутит?  
Ах, мошенник эдакий! Изволь отвечать ясно и  
четко: жива — не жива? Я тебе сейчас голову  
оторву!

АНТОНИО. Ваше высочество, я рад, что мы  
перешли на простой, понятный язык. Ситуа-  
ция действительно сложная... И высокопарный  
стиль ее только запутает. По-человечески же  
все объяснимо... Да, я дважды женат. Первый  
раз — совсем молодым венчался с цыганкой  
по имени Росита. Девушкой темпераментной.  
Она и крестилась-то накануне венчания... За-  
тем, быстро охладев ко мне, сбежала с мо-  
лодым турком, перейдя в мусульманство и даже  
поменяв имя. Говорят, теперь ее зовут... Фари-  
та... А, может, как-то по-другому... Может,  
Цицилия, если сейчас она перешла в иудейст-  
во. Я повторяю: девушка — темпераментная.  
Таким образом, она как бы умерла для меня  
и святой церкви, хотя и живет довольно бур-  
но сама по себе! Я рассказал об этом нашему  
священнику в Неаполе... Он писал в епископат!  
Надо мной сжалились, и дано было право  
венчаться вторично на христианке по имени  
Елена, светлая ей память. Она умерла, родив  
мне сына. Похоронена на юге. Сын живет у  
родственников... Могу во всем поклясться.

ЛОРЕНЦО. Не надо клять. И так тебе я верю,

Сын мой, но мой священный долг  
Проверить все, что сказано тобою...

Нельзя мне вновь ошибку совершить...

И город наш не должен ошибаться,

Приняв подделку чью-то за алмаз...

Я тотчас напишу в епископат.

Надеюсь, быстро мне они ответят...

И, может, через некоторое время

Вы обвенчаетесь...

АНТОНИО. Святой отец, вы же знаете, как  
работает наша почта... Вы уже посылали как-то  
письмо Ромео. Оно не дошло. И вот чем все  
закончилось... Погиб из-за недоразумения.

ЛОРЕНЦО. Я не могу иначе поступить.

СИНЬОРА КАПУЛЕТТИ. Как долго ждать при-  
дется нам ответа?

ЛОРЕНЦО. Возможно, месяц, или два

... или три...

Я думаю, наш герцог разрешит

Отсрочить свадьбу... Молодым же людям

Полезно будет испытать судьбу

И чувства ожиданием проверить...

ГЕРЦОГ. Обидно, конечно... Все готово. Праз-  
дник мог удасться на славу, но... Святой отец  
прав. Как считаете, синьор Монтекки?

МОНТЕККИ. Логично. Мы, Монтекки, мо-  
жем ждать долго... Могут ли ждать Капулетти?

СИНЬОРА КАПУЛЕТТИ. При чем тут Капулет-  
ти?

МОНТЕККИ. Я хотел сказать, достопочтимый



синьор, что жених от ожидания только крепчает, как коньяк в бочке. А вот может ли ждать невеста? Если ответ затянется, скажем, месяцев на шесть, не явит ли она собой ненужный пример молодежи?!

СИНЬОР КАПУЛЕТТИ. Я ничего не понял.

СИНЬОРА КАПУЛЕТТИ. Ничего удивительного, дорогой... Чтобы понять язвительную иронию синьора Монтекки, надо обладать достаточной мерой испорченности...

ГЕРЦОГ. Тогда я почему не понял?

АНТОНИО. Я попробую объяснить, ваше высочество... Мой высокочтимый дядюшка прозрачно намекнул на то положение, в котором находится моя Розалина... (Обнял Розалину за плечи) Ну что ты, глупенькая, что покраснела? Все бывает... Пора уже всем людям объяснить, чтоб избежать ненужных кривотолков... Вот видишь, как я вдруг заговорил?... (обращаясь ко всем)

Да, граждане! Да, жители Вероны!

Прилюдно объявить сейчас могу,

О том, что моя милая невеста

Уже таит в себе не первый месяц

Плод нашей жаркой, вспыхнувшей любви!..

Случилось это в праздник Рождества!

Я был неосмотрителен и пылок.

Но уж того, что было, не вернуть,

И я ни от чего не отрекаюсь!..

А тем, кто любит почесать язык

И сплетнями заполнить час досуга, —

Вот мой клинок! И я — к его услугам!..

СИНЬОР КАПУЛЕТТИ (негромко).

Он благороден, этот ухажер...

МОНТЕККИ (негромко).

Монтекки — все такие, мой синьор!

АНТОНИО (Лоренцо).

Вот почему прошу, святой отец,

Ускорить свадьбу,

чтобы наш ребенок

в грехе безбрачья жизнь не начинал...

(Неожиданно печально) Мне смотрите в

глаза, святой отец,

Вы недоверчиво...

Уже ль и в этот раз

Мне не поверите?..

ЛОРЕНЦО. Давал не раз ты повод

Сомнению... И слушаю тебя,

Хочу понять: что ты за человек?

АНТОНИО. Таков как есть!

Не лучше и не хуже!

ЛОРЕНЦО (вздыхнув).

Ну, значит, и такой зачем-то Богу нужен!

(всем громко) ...Он говорит вам правду!

Я — свидетель!

Любовь их началась в монастыре,

Куда они на исповедь ходили...

И хоть грешно любить до брака людям,

Не станем их судить!

Да не судимы будем...

А что касается венчанья —

подождем,

Пока придет ответ епископата...

Простите, братья, сами виноваты,

Что повода для веры не даем...

Лоренцо покидает площадь.

ГЕРЦОГ (со вздохом). Печально... Праздник закончился, не начавшись! Музыкантов прошу разойтись. Столы разобраты!.. Не пить же с горя?.. Достопочтенные Монтекки и Капулетти, надесьте, что минуты согласия и дружбы, украсившие этот день, дали нам невыразимо сладостные ощущения преимущества добра перед злом... Пожелаю вам всем пронести это чувство через указанный срок... Э... (махнул в отчаянии рукой) Опять — слова!

Герцог удаляется в сопровождении свиты.

МОНТЕККИ (обращаясь к родственникам). Ну, что ж... Пойдем и мы! Эй, Бальтазар! Заткни-ка бочку поплотнее пробкой, пускай вино до срока постоит... (Уходит)

СИНЬОР КАПУЛЕТТИ. И ты, Самсон! Вино не лей задаром!

САМСОН. Не лить?.. Могу не лить, синьор. Но все уж люди выпили до капли! .

СИНЬОРА КАПУЛЕТТИ. Куда же ты смотрел, болван? У Монтекки половина бочки осталась!

САМСОН. Так разве у Монтекки вино, синьора? Как от этого уксуса у порядочных людей скулы не сводит?

СИНЬОРА КАПУЛЕТТИ. Порядочные люди это вино не пьют!

Синьор и синьора Капулетти уходят.

БАЛЬТАЗАР (Самсону). Что ты сказал, дружок?

САМСОН. Правду сказал, солнышко...

БАЛЬТАЗАР. Это у нас-то уксус?

САМСОН. Сказал бы — моча, но боюсь обидеть!

БАЛЬТАЗАР (бросаясь в драку). Правильно боишься, капuletьево отродье!

Бальтазар и Самсон дерутся, их пытается разнять Бенволио.

БЕНВОЛИО. Эй, дураки, назад! Назад! (выхватил кинжал) Вот я вас проучу, мерзавцы!

К нему бросается Валентин.

ВАЛЕНТИН. Синьор, вы обнажили свой клинок с угрозой против моего слуги! Я требую ответа!

БЕНВОЛИО. Клинок не мой, а ваш, о юный друг! И я его хочу вернуть немедленно, поскольку туп он так же, как и вы! (швыряет ему кинжал)

ВАЛЕНТИН. Ах, вот как?! Что ж... Рискните наточить его в бою!

Бенволио и Валентин фехтуют, их пытаются разнять.

АНТОНИО (разнимая). Кончайте, петухи! Бенволио, ну будь хоть ты умней!

БЕНВОЛИО (отталкивая Антонио). Отстаньте, сударь! Все из-за вас! И вашего вранья! И вашей размалеванной девицы, что подложили вам после других!

АНТОНИО. Что ты сказал, подлец? (хватает Бенволио за ворот камзола, тот, отбиваясь, ранит Антонио в плечо) Ну вот и кровь! Дурак!

РОЗАЛИНА (бросается к Антонио). Жених мой, что с тобой?! (пытается перевязать ему руку) Уйдем отсюда!

АНТОНИО. Нет, дорогая, подожди-ка!.. Эта рана — не последняя! Перевязывать будем все раны сразу!.. (всем) Синьоры! Я не лез в ваши распри, поскольку жил далеко и мне было на все наплевать... Но теперь — здесь мое приданое и капля крови на камнях Вероны! Мне за нее заплачат! Кто? Тот, кто еще хоть раз скажет дурное слово о моей жене и ребенке. Вы слышите, ублюдки Монтеки и ублюдки Капулетти!

Оба семейства ахнули в возмущении.

БЕНВОЛИО. Негодяй, что он позволяет себе?

ВАЛЕНТИН. Пора укоротить ему язык. Синьор Бенволио, заходите сюда!

РОЗАЛИНА. Не смейте! Не подходите к нему! (Выхватывает нож, становится спиной к спине с Антонио)

АНТОНИО. Молодец, девчонка! Прижмись ко мне покрепче! И приятно, и отступить некуда. Тыл в бою — главное!.. Послушайте, ребята, мы вам — не мальчик с девочкой, которых легко угробить себе на развлечение... Мы повоюем и положим рядом столько, сколько к нам приблизится! «Чума на оба ваших дома!» Вот она — чума, перед вами! Побеспокойтесь о гробах!!

Снова появляется герцог со свитой.

ГЕРЦОГ (с отчаяньем). Опять?! Опять война и злоба?!

О, Сатана! Как он неумолим,

Как мерзки люди, связанные с ним!..

(оглядывает собравшихся) Кто начал в этот раз?

Кого опять изгоним?

И кто из вас тоскует по тюрьме?..

Вы? Вы? (Антонио) А может, вы, синьор?

Завравшийся жених! Кузнецик новобрачный!

По свадьбам прыгаете, точно по лугам,

Венчанье превращая в балаган...

(поменяв тон, тихо) Я вам так скажу, Антонио, у вас был редкий шанс — изменить ход судьбы, войти во дворец истории героем... А вы не сумели войти даже в его переднюю,

обделавшись на лестнице... Поэтому вы мне больше не интересны! Повелеваю немедленно исчезнуть из Вероны и не возвращаться, пока не запасетесь справками, что вам можно не только венчаться, но и пожимать руку честным людям!.. (Розалине) Вас, синьора-невеста, я бы просил в дальнейшем соблюдать скромность и приличия, вести строгий образ жизни в ожидании суженого и хранить, как самую большую ценность, тот дар природы, который зреет у вас внутри... Это дитя — моя последняя надежда! В нем кровь двух проклятых домов соединилась не для смерти, а для жизни. Поэтому я, герцог Веронский, беру его под свое покровительство... (переходя на пафос)

Все слышали?! Под покровительство беру!

Родится мальчик? Быть ему Ромео!

А девочку — Джульеттой назовем...

В знак памяти любви непобежденной...

И быть ребенку — гордостью Вероны.

Приемным внуком герцога ее.

Вам всем на зависть!.. Внуки Сатаны! —

Решительно поворачивается, уходит в сопровождении свиты.

Все расходятся с площади.

Антонио идет в обнимку с Розалиной.

АНТОНИО. ...Не успел вселиться в город — уже изгнан! Нет, черт меня подери, я как-то умею разнообразить свою биографию... Знаешь, Розалина, из всех игр, в которых я набил руку, жизнь — самая азартная!..

РОЗАЛИНА (со вздохом). И самая невезучая!

АНТОНИО. Неправда, моя девочка... (обнял ее) Я выиграл тебя, ты — внука герцога. Разве это мало?

РОЗАЛИНА (прижавшись к нему). Плевать мне на герцога! Главное — это твое дитя, Антонио. Ты не откажешься?

АНТОНИО. Теперь уж точно нет. Я при всех сказал!

РОЗАЛИНА. Ты — славный. Ты даже мне начинаешь нравиться... (Целует его) Я тебе нравлюсь?

АНТОНИО. Еще бы...

РОЗАЛИНА (игриво). А что тебе хочется... для полного счастья?..

АНТОНИО. Не обидишься?

РОЗАЛИНА. Нет... Можешь не стесняться...

АНТОНИО. Если совсем честно — поесть бы хоть чего-нибудь!.. С этой свадьбой дурацкой с утра маковой росинки во рту не было. Живот свело!

РОЗАЛИНА (вскочив). Господи, как же я была? Жена называется... (Подбирает брошенные горожанами корзинки с едой) Чертовы гости! Сами жрут, а новобрачные — живи поцелуйчиками... (Приносит корзинку Антонио) Вот. Тут и хлеб, и сыр, и рыбка запечен-

ная... (Антонио набрасывается на еду) Кушай, муж мой! Кушай!.. (С нежностью смотрит на него) Когда мы заживем семьей, я тебе готовить стану... Знаешь, как я умею готовить?!

АНТОНИО (пережевывая). Представляю... Я как тебя увидел — сразу подумал: эта — умеет готовить!

РОЗАЛИНА. Ты только не бросай меня.

АНТОНИО. Сказал же...

РОЗАЛИНА. Что бы ни случилось... Поклянись!

АНТОНИО. Что еще может случиться?

РОЗАЛИНА. Мало ли... (нерешительно) Я думала: говорить — не говорить... Но ты — славный, и я не хочу, чтоб потом получилось, будто я от тебя что-то скрывала... В общем... Один из двух... тех... в беседке... ну помнишь... я рассказывала... который из Милана... так вот один... он — негр был!

Повисла долгая пауза.

АНТОНИО (довольно спокойно) Ну и что?.. (пауза) Но вообще-то, девочка, когда человек ест рыбу, такие вещи сообщать не обязательно...

На площадь возвращается Бальтазар, направляется к бочонку с вином.

БАЛЬТАЗАР (Антонио). Вино-то я забыл в

суматохе... Вовремя вспомнил.

АНТОНИО. Очень вовремя, Бальтазар... И перед тем как унести бочонок, не хочешь его чуть-чуть облегчить?

БАЛЬТАЗАР. Конечно, сеньор... Прошу! Угощайтесь! (Наливает кружку Антонио, тот залпом выпивает). Ну как... Нравится?.. А бесчестный Самсон говорит, что это хуже мочи!

АНТОНИО. Неправда! Поскольку мне почти постоянно приходится пить мочу, авторитетно заявляю: это — лучше! (Вновь подставляет кружку)

БАЛЬТАЗАР (со вздохом наполняя кружку). Разлучает нас с дружочком злая судьба... Ах, это так больно!.. У вас ведь то же самое?..

АНТОНИО (задумчиво). Почти.

БАЛЬТАЗАР. Значит, вы меня понимаете?

АНТОНИО. Как никто...

Они выпили. Бальтазар неожиданно запел. Антонио подхватил:

«Чему положено, то пусть исполнится!..

Что суждено, того не миновать...

Ах, серенада, ты, как я, — невольница!

Хочу тебе свободу даровать!..».

*Рисунки Юлии Зубревой*





Иван Охлобыстин — кинопроба

Ивану Охлобыстину

Он искреннее солнце,  
Он прелестью луны,

В нем гарь миротворца,  
В нем преданность войны.

А. Рембо

# ИВАН ОХЛОБЫСТИН:

*Будучи от природы сущностью ответственной, я не решусь оскорбить внимание любезных соотечественников формальной констатацией дат и заслуг. Посему со свойственной мне искренностью поведаю о собственном становлении.*

Впервые я упоминаюсь в летописи города Шан, датированной 1403 годом, как Единорог. К моему великому сожалению, младенческие воспоминания носят эпизодический характер: эльфы, благородные странники, орешник у скалы в виде трезубца, зловещий монах, ну и, естественно, мое своевременное появление, решившее исход битвы.

Позже мое отрочество ознаменовалось исторической беседой со смешливым Шивой. Время от времени он звонит мне из Малоярославца, теперь он педиатр. Тогда меня звали Шанкара.

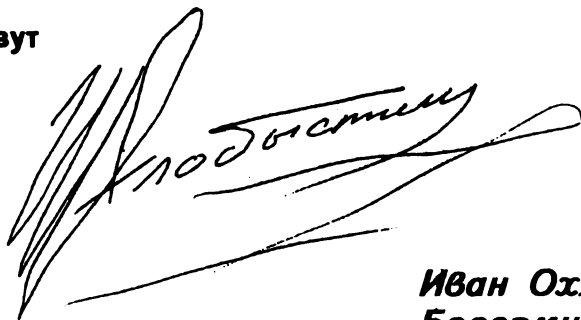
Смею оговориться, дабы не пугать читателя. Ничего не бывает позже или раньше, все случалось и случается одновременно, поэтому я до сих пор решаю исход битвы, беседую с Шивой, пишу эти строки и шествую мимо коммерческих палаток в поисках «желтой текиллы».

Итак — юность. Ну, пожалуй, самое яркое воспоминание — это гольф с Гамильтоном. Помню, он потешил мое сознание утверждением родства Генри Мак Лоя и Сюзан Варо. Хотя это личное. Да, тогда меня звали Фредерик IV Солнцеподобный.

Наконец — этот поток. Я написал много сценариев, и в большинстве случаев они нравились одному мне. «Урод» — самый неважный из них, опять же по моему мнению. Однако не рискну быть убедительным.

Что же может охарактеризовать меня в данный момент, — ну, наверное, мое новое постижение: не очень-то тигра за титьки потискаешь, укусит, как пить дать.

**Ныне меня зовут**



**Иван Охлобыстин  
Бессомненный**



## Иван Охлобыстин

## «УРОД»

С тех пор как человек получил возможность на фоне заката созерцать индустриальный пейзаж, каждый закат стал у него ассоциироваться с пожаром на атомной электростанции, а о приближении сумерек можно было судить не по алой полоске на горизонте, а по общему уменьшению светочастиц в воздухе. Вот так!

Наша история началась в маленьком русском городке с переразвитой индустриализацией и как раз в тот день, когда с самого утра дикторша заводского радиоузла оповестила городок о юго-восточном ветре, что в свою очередь означало: серая маслянистая туча, обычно висящая над заводом, наполнила рыхлой грудью на жилые районы, и смекалистые домохозяйки быстро собирали с веревок сушившиеся простыни, а на лицах немногочисленных прохожих появились респираторы преимущественно зеленого цвета.

Вечером того же дня студент, работающий дворником в ЖЭКе № 5, обнаружил на своем участке воющую собаку.

— Обломайся! — попросил он ее.

Но собака, даже не взглянув в его сторону, продолжала выть. Крепко осерчав, студент снял ватник и, оставшись в одной косоворотке, ватных штанах и кирзовых сапогах, с ножом в руке побежал за животным. Бежал он два с половиной часа. Исход погони был неожиданным: собака утонула в болоте, а он осознал себя стоящим на болотной кочке среди девственного леса. Размашисто перекрестившись, студент сел на кочку и, подняв глаза к мутномерцающему пятну полной луны, завыл тоскливо и протяжно. Вскоре его видели на своем участке, за ним гнался медведь.

Возвращаясь обратно в лес, медведь притормозил посреди пустыря и, близоруко сощутив глаза, взглянул на горящие в темноте окна районной больницы.

— У-у-у, — ласково промычал он, словно обращаясь к кому-то вдали, потом повернулся и, изредка оглядываясь назад, заковылял к лесу.

По коридору больницы шагали два молодых хирурга.

— Что это? — спросил тот, что повыше и упитанней, с признаками комсомольской активности на лице.

— Что? — переспросил его второй с умными глазами.

— Воет кто-то, — пояснил первый, заглядывая в окно.

— Собаки, — убежденно ответил его коллега. — Сегодня полнолуние.

— Вон оно что! Ясно, — успокоился высокий и спросил: — Что у тебя сегодня?

— Женщину привезли на «сечение».

— А «сечение» зачем?

— Видел бы ты ее живот! Четверо минимум.

— Ну флаг тебе в руки, Мичурин.

— Ладно уж, пойдю, — посмотрел на часы второй.

Хирурги понимающе пожали друг другу руки и разошлись по операционным.

— У-у-у, — донеслось опять из леса. И когда последний звук утонул в хвое, вместе с ним исчез городской шум.

Перестали выть собаки, затих перезвон городского трамвая, и по всему городу выбило пробки. Только транслируемый по радио государственный гимн повис в тишине, но и его вскоре коснулись искажения, он начал то ускоряться, то тянуть, то ухать, то скрежетать, как петли на дверях, пока, наконец, хрипнув последний раз, не замолк. Где-то ударил колокол, и город ожил. Собаки залаяли, свет в окнах вспыхнул, и на всех вагонах в трамвайном депо самопроизвольно зажглись фары.

— Господи! — выдохнул хирург, стягивая с лица марлевую повязку и с ужасом глядя на операционный стол. — Этого не может быть! Ему же лет тридцать!

— Тридцать, — добродушно повторил голый мужчина, свернувшийся «калачиком» на операционном столе, доверительно заглядывая хирургу в глаза.

Тот зажмурился, ущипнул себя за руку и



*Урод — Никита Высоцкий*

снова взглянул на новорожденного.

— Боже мой! Этого не может быть! Так, мне нужно срочно позвонить. — Он повернулся к двери и позвал: — Катенька!

В операционную вошла молоденькая медсестра, взглянула на «младенца» и без единого звука, тяжело, как колода, рухнула на пол. Тогда хирург стащил с рук перчатки, воровато оглянулся на стол, перешагнул через ассистента и двух медсестер, лежащих без сознания на кафельном полу, и выбежал за дверь. Судорожно схватившись за телефонную трубку, он простонал туда:

— Академию Наук. Что? А! — взглянул на часы. — А где работают круглосуточно? Давайте!

Дождаясь, пока его соединят с требуемым учреждением, врач покосился в зеркало напротив и покрылся испариной: сзади со скальпелем в ладони стоял «новорожденный» и застенчиво улыбался, руки у него были по локоть в крови. Это было слишком. И хирург опустился на пол, попутно загребая рукой телефон.

Когда поезд подошел к вокзалу, Полковник был уже одет. День выдался хороший, настро-

ение было превосходное. Полковник КГБ Х... был молод, умен и обаятелен. В его прошлом фигурировали женщины, фигурировали много и страстно, а также повышения по службе, похвальные грамоты и масса других приятностей. Кстати, со словом «масса» Полковник связывал свое будущее. В том далеком, прекрасном, но еще ненаступившем, шумели океанические волны, горел Южный Крест, гудели белоснежные пароходы, и стройный мулат с бутылкой шампанского в руке, изящно согнув загорелый стан, обращался к нему:

— Шампань?! Масса Х...

И «масса» Х..., в генеральских погонах и с корочкой удостоверения военного консультанта, неторопливо отмахивался:

— Пока не нужно.

Но это было еще там. А в данную минуту он напел себе под нос, попутно целясь из пистолета в свое отражение в зеркале на двери.

«Это было у моря, где лазурная пена. Где встречается редко городской экипаж. Королева играла в башне замка Шопена, и, внимая Шопену, полюбил ее паж...»

Поезд в последний раз дернулся и остановился. Было слышно, как пассажиры загудели в коридоре, упругой струей вываливаясь на



заплеванный перрон. В дверь постучали. Полковник убрал оружие и распахнул дверь, на пороге стоял мужчина элегантного вида, с чемоданом в руке и обходительной улыбкой на холеном лице.

— 12, 13, 14, 15? — поинтересовался он, разглядывая купе.

— Да, — согласился Полковник. — Это 12, 13, 14, 15.

— Значит, вы мой сосед? — обрадовался мужчина.

— Увы, я уже приехал.

— Жаль! А то я все время с киргизом попадаю. Боюсь я их. Разве поймешь, что у них на уме или кто.

— Что кто? — запутался Полковник.

— Я, — гордо ответил попутчик. — Натура артистическая, ломкая.

Полковник понимающе подвигал бровями и, перебросив через плечо сумку, вышел из купе и пошел к выходу.

— Всего наилучшего, — пожелал он уходя.

— До встречи, — ответил тот.

Полковник задумчиво усмехнулся. У выхода из вагона его уже ждали двое в угловатых костюмах, с одинаковыми зонтиками в руках. У ступеней на перрон он столкнулся с огромным киргизом «подшофе», киргиз все время жмурился, но упорно шел вперед, киргизу было плохо, видимо, его тошнило.

Благополучно обойдя представителя национального меньшинства, Полковник спустился к встречающим.

— Здравия желаем, товарищ Полковник! — злорадным шепотом отрапортовал один из встречающих. — Заждались. Все готово!

— Машина есть? — спросил новоприбывший.

— «Жигули», — восторженно дыхнул чесноком второй.

— Зубы чистить надо, — посоветовал Полковник. — Какое у вас звание?

— Капитан милиции, — сознался второй.

— Так вот, капитан милиции, зубы чистить надо, — нравоучительно изрек Полковник и пошел к вокзалу. Встречающие значительно переглянулись и засеменили следом.

Мимо них к дверям вагона прокатилась груженная тележка, везомая флегматичным носильщиком. Что-то выпало из одной сумки, стоящей сверху, и покатило с мелодичным звоном к ногам Полковника. Носильщик, ничего не заметив, прошел мимо. Полковник нагнулся, поднял с земли разноцветный детский шар и потряс им у уха. Шар зазвенел. Сотрудники с зонтиками многозначительно переглянулись и пожалы плечами. Полковник двинулся дальше.

Вскоре он ехал по трассе в сопровождении

хирурга и сотрудников. Сотрудники дремали на заднем сиденье, а хирург говорил:

— Уму непостижимо. Я говорю — тридцать, и он то же самое. Более того, он вырезал аппендицит у моего ассистента. И вы думаете, это было сделано плохо? Как бы не так! Легко! Так чистят не желудок, а морковку. Не всякий хирург со стажем так сможет. Это не человек, это гуманоид. Меня все время подмывало перекреститься. Гляжу: стоит изверг за спиной, со скальпелем.

Его слушали вполуха. Мимо окнаплыли мутные пейзажи вперемешку с цепью высоковольтных линий.

— А где он сейчас? — нехотя спросил Полковник.

— В больнице, конечно, — ответил хирург. — К нему все медсестры уже привыкли. Читать научили. За два дня. Сейчас сидит, читает.

— Божий дар, а не ребенок, — съязвил Полковник и снова спросил: — За ним наблюдают?

— Зачем? — хирург пожал плечами. — Он в отдельной палате. Дверь на ключ закрывают, и тем более, он совсем не агрессивен. Струшки-уборщицы его Уродом называли, он их передразнивает. Он — талант, моментально кого хочешь скопирует. Вам Урод понравится.

...Он мне уже нравится, — сказал Полковник, разглядывая огромную дыру под койкой в палате Урода.

Из дыры веяло подвалом. Рядом рыдала дежурная медсестра. Хирург ходил по палате, размахивая руками:

— Как это могло случиться? Как, я вас спрашиваю?

На что медсестра заходила новыми рыданиями. Сотрудники стояли у двери с мраморными лицами.

— Выясните, куда ведет ход, — приказал им Полковник и взял с койки книгу.

— Там плотницкая, — подсказал врач.

— «Граф Монте-Кристо», — Полковник прочел заглавие на книге. — Любопытно.

— Что любопытно? — спросил хирург у него, даже прекратив на секунду хмахать руками.

— Любопытно, что, кажется, Урод стал графом, и не просто графом, а Монте-Кристо, — ответил тот.

— Какая связь?

— Для него никакой. Пока. Он еще не прочел «Логику». И молитесь вашему хирургическому богу, чтобы он не прочел в скором времени Ницше или что-нибудь, связанное с ядерной энергией.

— Почему? — не понял хирург.

— Шучу, — серьезно ответил Полковник

без всякого намека на шутку в голосе.

В этот момент сотрудники снова появились в дверях палаты. На руках у них были бесчувственное тело плотника и столовая ложка, от плотника за версту разило перегаром, ложка была сточена наполовину.

Полковник покачал головой, разглядывая ложечку, и взглянул на плотника.

— Как вы думаете кто это? — спросил он у помрачневшего хирурга.

— Плотник Савва Васильевич Головако, а кто же? — удивился тот.

— Увы, нет, это не кто иной, как аббат Фариа, узник замка Иф.

Полковник обернулся и показал пальцем на плотника, хирурга и рыдающую медсестру.

— Арестуйте этих троих.

— За что? — помертвевшим голосом прононал врач.

— Профилактика, — пояснил Полковник, удаляясь и разглядывая на ходу подобранный на вокзале шар.

Сотрудники с готовностью надели наручники на хирурга и медсестру и, накинув халаты им на руки, повели к машине. Полковник вышел в коридор и остановился перед зеркалом в человеческий рост, осторожно поднял ногу и грациозно потянул носочек. Получилось красиво. Олигофрен, одиноко стоящий у окошка в коридоре, звонко засмеялся и восторженно захлопал в ладоши. Полковник довольно улыбнулся и, отвесив легкий поклон единственному, но преданному зрителю, вышел.

Едва поезд суетливо отстукал первые десять километров и столбы с указателем пройденного к Москве пути потянулись по убывающей, проводница распахнула дверь в купе и пропустила Урода, нагруженного тремя сумками. Она ткнула пальцем на место напротив бурята болезненного вида с мокрым платком на голове и бледного пассажира в спортивном костюме с вытянутыми коленями.

— Ваше место, милорд, — улыбаясь, заявила она новоприбывшему.

Тот подмигнул ей и ответил:

— Благодарю вас, миледи.

«Миледи» озорно хохотнула и, махнув ему на прощание рукой, вышла. Пассажир в спортивном костюме, ободрившись появлением интеллигентного попутчика, тут же представился, искоса поглядывая на сумрачного бурята:

— Волконский Степан Иванович.

— Эдмон Дантес, — в свою очередь представился Урод и повторил то же самое в сторону бурята.

Северянин досадливо крикнул и тоже что-

то сказал, но что именно, ни Урод, ни Степан Иванович не разобрали, хотя лед знакомства был все-таки сломан и река общения понесла свои мутные воды, торопясь наверстать упущенное время.

— Вы в Москву? — поинтересовался Волконский.

Урод согласно кивнул.

— Вы из Прибалтики, наверное, — продолжил свои расспросы попутчик. — На моряка похожи.

— Да, было дело, — вздохнул Урод и неожиданно для себя добавил: — Ну вот...

Изо всех сил Степан Иванович выпучил глаза, приоткрыл рот и издал интимный стон: — Ну?

Урод откашлялся и начал:

— Двадцать седьмого февраля 1815 года дозорный Нотр-Дам де-ла-Гард дал знать о приближении трехмачтового корабля «Фараон», идущего из Смирны, Триеста и Неаполя.

— 1915 года, — поправил шепотом Волконский, доставая из сумки коньячную бутылку.

— Может быть, — мужественно согласился Урод и продолжил повествование.

Полковник в обтягивающем трико танцевал в пустом, темном зале партию Ворона из балета «Лебединое озеро». Голубой неоновый свет, проникающий в зал с улицы через огромное, пыльное окно, обливал его фигуру, отчего Полковник походил на рыбку гурами в период нереста.

Отсутствие собеседника в поезде дальнего следования расценивается многими как наказание. Наличие у Степана Ивановича такого рассказчика, как Урод, с лихвой окупило все дорожные неурядицы: отсутствие горячей воды и поведение диковатого бурята, который, кстати, к этому времени уснул, но при этом все еще продолжал держать Степана Ивановича за рукав.

— Да! Удивительная жизнь! Такого не придумаешь, — разливался искренностью он. — Вот я, знаете ли, странник в душе. Работа и путешествия. Сегодня здесь, завтра там. Дороги артиста не имеют финала, кроме смерти.

Он гордо вскинул голову.

— Такова наша судьба. Но не смотрите на меня, как на героя. Я прост и незатейлив, как унитаз.

Степан Иванович еще пригубил из стакана коньяк.

— Сегодня в Калуге, завтра в Австралии. Миссионер от искусства. Тьфу ты! Не обращайтесь внимания. Я нетрезв.

Урод добродушно выслушивал все.

— Но главное — профессионализм! Не зна-

ешь язык? Учи. Я учу. Как мальчишка, но для дела. Нанял на свои деньги репетитора. Думаешь, из МИМО или Иняза? Дудки! Из Австралии. И все в нюансах: крокодилы, бегемоты, шимпанзе, акулы. Ам, и все! Съела. Кстати, хорошо, что вспомнил! Мне с ним завтра встречаться.

Волконский достал из сумки еженедельник в ультрамариновом переплете и что-то туда записал.

— Чтобы не забыть. — Он помахал блокнотом перед носом Урода. — Все записано. Мемуары, а не блокнот. После смерти издадут.

— Вы певец? — застенчиво спросил Урод.

— Более того. Я гипнотизер, — с готовностью ответил Волконский и торопливо добавил: — И иллюзионист. Хотите, что-нибудь покажу?

Урод судорожно кивнул.

— Хорошо. — Гипнотизер и иллюзионист простер руки над головой слушателя. — Простейший гипноз. Смотрите мне в глаза.

Урод зафиксировал свой взгляд на темных зрачках собеседника. Тот сначала делал какие-то пассы руками и о чем-то невнятно бормотал, но вскоре речь его стала вялой и руки безвольно опустились на колени. Взгляд Урода блуждал в границах темного круга зрачка, среди пульсирующих волокон, и ему казалось, что он лежит на каком-то берегу, весь в розовой пене, и пена все прибывает и прибывает, приносимая теплыми волнами. Вскоре вокруг него все скрылось в искрящихся пузырях разных диаметров и расцветок.

Полковник мерил шагами свой кабинет. За окном шумело столичное шоссе, и у здания «Детского мира» напротив чавкала ногами серо-зеленая человеческая масса.

— Я миллион раз предупреждал всех, чтобы мне не мешали, — раздраженно выговаривал он сидящему напротив майору с опухшим лицом, отчего тот виновато водил глазами в разные стороны и невпопад кивал. — И если через два дня вышеупомянутый Урод не будет задержан, я не могу даже себе представить, что сделают с нами.

В кабинете зазвонил телефон. Полковник поднял трубку:

— Слушаю! Да! Ведите.

Тут же дверь распахнулась, и молоденький лейтенант подтолкнул вперед истощенного Волконского, закутанного в смиренную рубашку. Полковник подошел к нему вплотную.

— Здравствуйте, не узнаете меня? — обратился он к задержанному.

Тот бессмысленно моргал тусклыми глазами.

— Вот, — указывая майору на Степана Ивановича, сказал Полковник. — Первые результаты. Загадочная история. Этот человек пришел в больницу и стал утверждать, что он и есть Эдмон Дантес из Прибалтики. Хотя перед этим он же, но еще будучи в здравом уме и ясной памяти, собирался отбыть в Москву для цветов и поцелуев. Ну, будем разговаривать? — Полковник заглянул Волконскому в глаза. — Что вы мне сегодня скажете?

Степан Иванович с готовностью открыл рот и произнес:

— Двадцать седьмого февраля 1815 года дозорный Нотр-Дам де-ля-Гард дал знать...

Полковник закрыл ему рот ладонью и приказал лейтенанту:

— Посадите его ко мне в машину, — и добавил в сторону майора: — Поедем на дачу, отдохнем, развеемся. Чуть-чуть поработаем.

Майор испуганно оглянулся на дверь.

— Но это запрещено, инструкция 17-2. Если кто-нибудь...

Полковник поморщился.

— Просто пока никто еще не представляет себе ясно масштаба случившегося. Потом будет поздно. Я беру ответственность на себя, в случае успеха вас тоже ждет повышение. Едем?

Майор на это так энергично мотнул головой, что в области шейных позвонков у него что-то хрустнуло. Он перестал кивать, но взамен ослепительно заулыбался.

Урод открыл ключами квартиру с медной табличкой над глазком «С.И. Волконский» и вошел внутрь.

Квартира Степана Ивановича представляла из себя то, что обычно представляют квартиры людей средней интеллигентной закваски, но не без «шарма». Функции «шарма» на себя брали многочисленные деревянные маски племени майя, приобретенные с этой целью в парке «Измайлово», а также разнообразные плакаты хорошей печати на хорошей финской бумаге с изображением полуобнаженных девиц в волнующих позах.

Урод аккуратно поставил сумки посреди спальни и стал разглядывать девиц. Они теоретически стояли, эротическая дрожь пробежала по их ногам и немислимым бюстам. От этого становилось сухо во рту и вспоминалась песня Пугачевой «Полночь, летите, летите».

Под плакатами, на столе, валялось несколько книг. Урод моментально подцепил одну из них и, поднеся к лицу, вслух прочел название:

— «Наука любви. Теория и практика. Элементы Кама Сутры и много другого. Санкт-Петербург. 1914 год».

Это его заинтересовало, он открыл книгу и



**Кадр из фильма**

продекламировал первый абзац:

— «Любовь — есть приношение себя на алтарь страсти партнера. Жертва должна впечатлять. Из глины страсти возрастет белоснежный лотос любви». — Урод озадаченно хмыкнул и погрузился в чтение.

...Он поднялся из глубины, когда океан штурмовал берег огромными, колючими волнами, обтачивая камни и смывая все живое. Из первой попытки покинуть воду ничего не вышло, его отнесло от берега вместе с длинным, пористым валуном, за который он ухватился. Только алая полоса на гальке напоминала о его неудаче. Тогда он спустился на глубину, отдыхая для новой попытки, давая время ране затянуться.

На одиноко стоящей в подмосковном лесу даче шло дознание. Подследственный Волконский висел, подвешенный за руки, посреди гостиной и тихо стонал. Полковник в меховой безрукавке поверх трико расхаживал вокруг него и изредка, тщательно прицелившись, погружал свой кулак в вялую плоть, при этом монотонно повторяя:

— Фамилия? Имя? Отчество?

После чего майор подносил ко рту подслед-

ственного диктофон и записывал все звуки, производимые опухшим языком незадачливого иллюзиониста. После очередного удара подследственный свистнул и потерял сознание. Полковник устало опустился на щербатый табурет.

— Конечно, это не педагогично, но очень практично, — пояснил он майору.

Тот верноподданно вытаращил глаза.

— Отвезите запись на расшифровку, — добавил начальник. — А я его в порядок приведу, — он показал на висящего.

Майор не мешкая выбежал из комнаты. Оказавшись на улице, он сел в машину. Колеса, вытолкнув из-под себя комья земли, понесли автомобиль по березовой аллее в направлении шоссе. Но едва крыша дачи перестала отражаться в зеркальце, майор остановил машину, распахнул дверцу и побегал к ближайшим кустам. Ему было плохо, его тошнило.

А Полковник танцевал вокруг бесчувственного тела партию из «Щелкунчика». Он самозабвенно жмурился, обозначая таким образом эмоциональные пики в музыке. Ему было хорошо.

Урод перевернул последнюю страницу и, не обнаружив более ничего, захлопнул книгу и бросил ее на стол. В дверь позвонили. Он пошел открывать. Замок хрустнул шестеренкой, и дверь, толстая и тяжелая, как мраморная плита, отъехала в сторону. На пороге стояла миловидная девушка с блокнотом в руках.

— Волконский? Степан Иванович? — спросила она, пристально разглядывая Урода.

Тот утвердительно кивнул и пропустил ее внутрь. Девушка вошла и огляделась.

— У вас тут мило, — заметила она и спросила: — Ну, где мы будем заниматься?

Урод на секунду задумался, но, видимо, сообразив, о чем речь, показал на спальню. Девушка сняла плащ и, оставшись в широкой цветастой юбке и черном пиджаке поверх футболки, прошла туда. Ее внимание сразу привлекли плакаты на стене, она остановилась напротив них и стала осматривать обстоятельнейшим образом каждый из них. Урод наблюдал за девушкой с неменьшим интересом. Ему стало казаться, что паркет у нее под ногами начал пениться, и пена все прибывала и прибывала. Через несколько мгновений белоснежные пузыри скрыли ее туфли и, продолжая увеличиваться, покрывали собой все большее и большее пространство вокруг. Урод тяжело вздохнул и расстегнул пуговицу на рубашке. А девушка все рассматривала финских красавиц и что-то говорила, иногда в ее речи чувствовался легкий акцент.

— Меня зовут Денис. Заниматься мы будем каждый день. Кооператив мне заплатил за месяц вперед. Надеюсь, наше сотрудничество будет плодотворным и это понравится и мне, и вам.

Денис обернулась и осеклась на полуслове. В плодотворности содружества сомневаться не приходилось: Урод стоял у двери в огромных лиловых трусах, и в его глазах светилось нечто такое, что заставило девушку на шаг отступить к окну. Урод в два прыжка настиг ее.

— Но, но, но?! — только и успела сказать она.

Майор огляделся и, переложив папку в левую руку, аккуратно придавил указательным пальцем фиолетовый пуп звонка. Полковник почему-то долго не открывал. Наконец ручка на двери задержалась, и появился хозяин с прижатым к губам указательным пальцем.

— Тс-с-с, — прошептал он. — Неожиданно мама приехала. Ругается.

За его спиной послышался шум, и вскоре на пороге появилась сухонькая старушка, волочившая за ноги «подследственного».

— Безобразие, — урчала она, сталкивая бесчувственное тело с порога и обращаясь к

Полковнику. — Даже ваш папа не позволял себе носить это домой. Неужели у вас на работе не хватает рабочей площади? Был, был случай, когда ваш прапрадедушка привел домой подозреваемого, но это был Пушкин.

— Но маман?! — попробовал возразить провинившийся сын.

— Да-с! Пушкин, — перебила его бойкая старушка. — «Я вас любил, любовь еще быть может...». Пушкина, а не дантистов или этот... крикет.

— Рэкет, — подсказал майор, преданно заглянув ей в глаза.

— Вот! — согласилась она, поправляя озорную прядь у виска. — И все стены жирными руками заляпали.

— Ай-яй-яй, — посочувствовал майор.

— Такие вот, как вы, и заляпали, — «отрезала» старушка, оборачиваясь к нему спиной. — Что за люди! Ноги вытирайте!

Майор тщательно вытер ноги и, неся перед собой папку, прошел вслед за старушкой и понурым Полковником.

— Ну что? — на ходу поинтересовался тот.

— По-моему, что надо, — ответил майор.

— Ура! — шепотом порадовался Полковник.

Вскоре они сидели на уютненькой кухне с кружевными занавесками на окнах и пили чай. Майор пил из блюдца.

— Что, дело «пришить» не можете? — поинтересовалась старушка у сына.

— Да не то чтобы... — пояснил он. — Не за что.

— Если это человек, а не марсианин или Николай Угодник, то всегда есть за что. Даже тебе. Уж поверь жене и дочери потомственных чекистов. — Она отхлебнула из маленькой голубой чашечки с витиеватой ручкой. — Да-с... Полковник поцеловал маме сухонькую ладонь и кивнул ассистенту:

— Читай расшифровку.

Майор откашлялся и начал читать:

— «Бриг. 28. Тампоны. Давай деревянными. Волконский. Фараон. Ласковый май. Зю. Считай меня... Степа. А! А! Хрен тебе, Ивановы, а не закон о кооперации! А! А! Не балуй! Я тебя умоляю. Бедро. А! А!» Все! — закончил он.

— Гм... — озадачился Полковник, беря в руки листок. — Нужно подумать. Расписать.

— Контора пишет, — вставила сакраментальную фразу мама. — Думать нечего. Волконский Иван Степанович или Степан Иванович.

— Спасибо, мама! — Полковник еще раз приложился к сухонькой ручке и встал из-за стола. — Поехали, — позвал майора, уплетающего кусок французской булки.

— Надень шерстяные носки, — посоветова-

ла на прощание растроганная старушка.

Близилось утро, и уже за окном шаркали метлами дворники, перегоняя мусор на соседние участки. Денис тихо, стараясь не разбудить спящего Урода, выбралась из-под одеяла и, собрав разбросанную по комнате одежду, вышла. В прихожей она привела себя в порядок, умеренно покрутилась перед зеркалом и наконец, убедившись, что все в порядке, открыла входную дверь и исчезла за ней.

Не успело отлететь по коридору от щелчка двери, как ее снова открыли и в квартиру вошли Полковник, майор, хирург в наручниках и десяток близнецов-оперативников. Выстроившись по указанию Полковника в шеренгу, правозащитная колонна на цыпочках прошелестела в спальню и склонилась над спящим.

— Он? — спросил Полковник.

Хирург судорожно кивнул и помышлял было что-то сказать, но вертлявая рука майора зажала ему рот. Полковник сделал ладонью в воздухе круговое движение, и майор, хирург и оперативники покинули спальню и квартиру. Оставшись в одиночестве, Полковник еще раз внимательно разглядел Урода, потом тихо вышел за всеми. Правда, на пороге он замешкался и, что-то скумекав, вернулся в квартиру. Прошелся по комнате и, сконцентрировав свое внимание на лежащих у стены книгах, взял одну из них в руки. В его голубых глазах заиграла суетливая искорка, по которой любой мало-мальски опытный игрок тут же бы определил, что сопернику пришел джокер. Полковник положил книгу обратно и, прихватив с собой на всякий случай «Практику фотографии», покинул жилище подследственного. На лестничной площадке он обратился к ожидающему его майору:

— Найдите мне всю порнографическую литературу, за последние два года ввозимую в страну. Естественно, что есть в наличии у таможни. Переройте все архивы.

— Но почему мы его не задержали? — недоуменно спросил майор, предварительно записав приказ в блокнот.

— За что? — переспросил начальник, вопросительно вскинув нервную бровь.

— Ну как? За все, — пожал плечами майор.

— За все ордена дают, — пояснил Полковник. — Здесь все сложнее и перспективнее. Посадить — не выпустить! Это не человек, а золотая жила. Успеем, уже не уйдет.

Майор проникся, на всякий случай отдал честь и прекратил интересоваться чем-либо.

Урода разбудил солнечный свет, искрящийся шпалой проникший из-за шторы, объемный и неосязаемый, словно газетная передо-

вица. Урод поднялся и, оглядевшись по сторонам, осознал себя в новой обстановке. Вытащив из кармана брюк зубную щетку, он направился в сторону ванной, где выполнил все гигиенические предписания. Десятью минутами позже он съел сваренное в кофеварке яйцо, оделся и вышел на улицу в самом радужном настроении.

По улице двигались люди, объединенные тремя факторами: временным, пространственным и социальным, к стати сказать, ни от одного из них радости не испытывая, даже более того, подобное объединение привносило в их лица оттенок какой-то особенной горести. Их объединило случайно, и в данный момент ими руководило побуждение скорее разъединиться, но этому мешали лавина малогуманных автомашин и постовой милиционер коварного поведения на перекрестке.

Урод влился в человеческую струю, и его понесло вместе со всеми, хотя в отличие от окружающих он был незримо объединен еще крепче с парой голубых, лучистых глаз Полковника. Так и брели они неразлучно, как социализм и талон на масло. С улицы на улицу, из магазина в магазин, из троллейбуса в троллейбус.

В то же самое время на другом конце Москвы по пустынной улочке, крепко задумавшись, шла Денис, на ходу рассматривая одинаковые витрины.

И опять же таки, в то же самое время неутомимый, как пчелка, майор рюкзаками затаскивал в квартиру пачки литературы порнографического содержания, тут же раскладывал ее на пустых полках финского гарнитура, выравнивая разноцветные корешки по ученической линейке и брезгливо каждый раз вытирая влажные ладони о брюки.

Домой Урод вернулся под вечер, зажимая в руках связку погремушек и полосатый волчок. Пришедши, он аккуратно положил игрушки на стол и начал раздеваться. Только он снял куртку, как в дверь позвонили.

— Входите, — крикнул он.

Дверь распахнулась. На пороге стояла Денис — Удивлен? — спросила она, переступая порог.

— Нет, — честно признался Урод и протянул ей волчок. — Нравится?

Денис не обратила внимания на игрушку, ей явно хотелось поговорить; нервно заломив руки, она «стартовала»:

— Конечно, в твоих глазах я выгляжу бог знает кем. Меня насилуют, а я, вместо того, чтобы идти в милицию, возвращаюсь обратно...

— Кто насилует? — испугался Урод, искренне проникшись.

— Ты, — мимолетно ответила она, досадуя за прерванный монолог, обдуманый накануне.

— Я? Нет, — облегченно заулыбался он.

— Ну вот, — продолжила девушка. — Возвращаюсь обратно. Это можно понять. Представь, что у меня в посольстве узнают обо всем. Позор. «Добегалась», — скажет дядя Эндрю. — Но не в этом дело.

— А в чем? — заботливо поинтересовался герой рассказа.

— А в том, что в моей жизни такое первый раз. Ты что-то переключил внутри меня, и теперь я совсем другая. Я поняла, ради чего русская женщина останавливает на ходу коня и в горящую избу лезет, это того стоит. Сегодня я перечитала всего Пушкина, Лермонтова, Достоевского и Ленина новыми глазами и приняла решение бросить себя в пламя твоей страсти.

Денис прислонилась к дверному косяку и томно вздохнула.

— Ты чай будешь? — спросил Урод, осторожно обходя ее сбоку.

Денис не сразу сообразила, о чем идет речь, но едва до нее дошло, что порожденная ее сердцем волна, полная страсти и пафоса, разбилась о волнорез бесчувствия, она рассердилась.

— Ах ты, подлец! Свинья ты бессердечная! Ты же меня изнасиловал! — зарычала она, не на шутку испугав Урода.

— Я больше не буду, — попытался он оправдаться.

— А кто будет? — взревела девушка, наступая на него.

— Дядя Эндрю, — торопливо подсказал он, уж не зная, как выпутаться из этой неприятности.

Денис, очевидно намереваясь крикнуть ему в лицо что-нибудь еще более обличительное, побагровела шеей и открыла рот, но неожиданно расхохоталась звонко, даже несколько истерично. Урод обрадовался, что на него больше не кричат:

— Уже ставить чай?

А Денис продолжало трясти от хохота. Наконец, когда первый шквал прошел, она отдышалась и крикнула в сторону кухни, утирая ладонью выступившие слезы:

— Слушай, ты не внук Распутина?

— Не, — слышался его голос. — Мой дедушка, кажется, был моряк.

Денис еще раз хохотнула и спросила:

— Надеюсь, ты меня любишь?

— Конечно, — донеслось с кухни. — Очень.

Продолжая время от времени отрывисто похихивать, девушка пошла к входной двери. На пороге она все-таки обернулась.

— Все равно, ты в этом мамонт, — сказала она и вышла на лестничную площадку.

Спустившись на два этажа вниз, она услышала хлопок двери и топот у себя над головой. Вскоре рядом оказался Урод в женском фартуке и с чайником в руке.

— Почему ты уходишь? — спросил он. — Ты на меня обиделась?

Денис, продолжая шагать, спросила у него:

— Неужели ты хочешь, чтобы я осталась?

— Да, — искренне сказал он. — Мне с тобой хорошо. Не уходи, пожалуйста.

Денис остановилась и обернулась к нему:

— Правда?

— Правда, — подтвердил Урод.

Девушка вздохнула и обняла его.

— Ты, наверное, придурок, но мне ты все-таки чем-то симпатичен, — констатировала она, целуя его.

Вода в чайнике снова забулькала и дала пар, свисток у него на носике оглушительно свистнул.

Полковник опустил распухшие ноги в таз и застонал. Майор, стоящий перед ним, озадаченно цокал губами.

— Докладывай, — сердито буркнул начальник.

— Двести томов самой похабной литературы. Все, что было в архиве у нас и на таможене. Секс, извращения, зоофилия, некрофилия, дендрофилия, — доложил майор и, сконфузившись, добавил: — Даже гомосексуализм.

— А это зачем? — спросил Полковник.

— Для общего развития, — пояснил подчиненный.

Денис общалась с Уродом на английском языке, сидя у журнального столика на ковре.

— Ты утверждаешь, что раньше язык не учил?

— Нет.

— Этого не может быть. Язык не учат за сорок минут, — изумлялась она.

— А что же делать? — спросил он.

— Ладно. Что мы, собственно говоря, сприм? Мне заплатили за месяц обучения, а не за полный курс. Все равно месяц придется напряженно заниматься.

— Чем?

— Ну, это мы придумаем, — лукаво заявила девушка, поднялась с ковра и стала расхаживать, разглядывая корешки книг на стеллажах и фотографии на стенах.

— Да у тебя узкая специализация! — усмехнулась она, переходя на русский и вытаскивая наугад книгу с голой негритяжкой на обложке. — Ты сексуальный маньяк?

— Я моряк-гипнотизер.

Денис распахнула книгу и прочла первый абзац, попавшийся ей на глаза, вслух:

— «Ее бедра, крепкие, как грецкие орехи, оказались у Мерфи в руках».

— Тьфу! — она захлопнула книгу. — Неужели тебе это нравится?

— Я еще не читал, — честно признался он. — А что, неинтересно?

— Да как тебе сказать... — замялась девушка. — Слишком реально, никакой фантазии. Я бы на твоём месте выкинула это на помойку.

— Все?

— Все.

— Но у меня ничего не останется. Что я буду читать? — спросил Урод.

— Что тебе еще-то нужно? — удивилась она. — Есть ты, рядом с тобой такая женщина, как я. Тебя это не наводит ни на какие размышления?

— Какие?

— Выкинуть это на помойку, — огорчившись его крайней недогадливости, показала Денис на книжные полки.

— Прямо сейчас? — привстал с ковра Урод.

— Чуть-чуть попозже, — вздохнула девушка, рванула на себе юбку и запела, наступая на него: — «Эх, мороз, мороз, не морозь меня...»

Майор и четверо грустных сотрудников с авоськами в руках прилежно ворошили мусор в помойных баках, в поисках казенной литературы. Неподалеку стоял Полковник и наблюдал за работой. Найдя очередную, майор подошел к начальнику.

— У меня есть план! — сообщил он.

— Чуйский? — съязвил Полковник.

— Политический, — оглянулся на сотрудников майор. — Сделать из него партийца. Вместо гомосексуализма — Маркса ему, Энгельса и других теоретиков.

Полковник чуть не задохнулся дымом собственной сигареты, зажал майору рот и зарычал на ухо:

— Опомнись. Подумай о последствиях. Тебе что, одной революции мало? Ты в КГБ служишь или в Массаже? Еще раз такая мысль в голову придет, расстреляю за измену Родине. Не дай Бог, он до этого доберется. Он все же буквально воспринимает. Народ нам не простит, начальство не одобрит.

...А тем временем спящему Уроду снилось, что он сидит голый на берегу океана, у самой кромки воды, душной летней ночью. Ветер несет из-за горизонта огромные жилистые волны, стирая их в пену о крупную гальку берега.

— Здравствуй, — доносится сзади. Урод оборачивается на голос. У него за спиной стоит высокий, франтоватый мужчина в ши-

роком, кремового цвета костюме, с воздушной косынкой на шее и тонкими, эстрадными усами.

— Я твой папа, — говорит он. — Я приехал из-за границы и привез тебе новые часы. Ты знаешь, наверное, что я пользуюсь определенной популярностью у женщин, они заслуженно считают меня тонкой, возвышенной натурой.

— Здравствуй, папа, — доверчиво отозвался Урод.

Тут же с другой стороны послышался другой голос. Он принадлежал немолодой уже женщине в традиционном вечернем платье, стоящей на гальке справа от него.

— Почему ты так редко зовешь меня мамой? — томно поинтересовалась она. — Я же тебя очень люблю. Хотя, честно признаться, я измотала себе все нервы на работе, но я на хорошем счету. Некогда перевести дыхание: работа, кухня, работа, а я не двужильная. Все добиваются, чтобы я на себя руки наложила. Встань, сынок, дай посмотреть на тебя.

Урод поднялся с камней. Мама с одной стороны, отец с другой взяли его за руки и повернули спиной к океану.

— Помнишь, я подарил тебе книгу о флоре и фауне дальних морей? — спросил отец.

— Да, — что-то припоминая, прошептал сын.

— А я каждое лето покупала тебе путевку в пионерский лагерь в Анапу? — с другой стороны спросила мама.

— Да, — снова ответил Урод.

— Помнишь, мы ездили с тобой на теплоходе и ели воблу? — спросил опять папа и словно сам себе добавил: — Господи, какой чудовищный текст!

Неожиданно вспыхнул ослепляющий свет, и Урод с ужасом обнаружил себя стоящим у края сцены. Тысячи пар глаз смотрели на него. Он рывком освободил свои руки и опустил на гальку, пытаясь прикрыться ладонями. Мама с папой сделали поклон под грохот аплодисментов и летящие в них букеты. Тугой луч света, елозивший по сцене, остановился на Уроде. Шум в зале затихал. Урод поднял глаза и огляделся. Отец, весь какой-то понурый, в мятом костюме, уходил со сцены, на ходу отряхивая плечи от перхоти. Мамы уже не было. Рядом раздался шепот:

— «Не жалею, не зову, не плачу. Все пройдет, как с белых яблонь дым»...

— Что? — тоже шепотом спросил Урод в сторону голоса.

— Текст, — пояснил голос.

— Я не знаю, — признался Урод.

— Тогда пой, — посоветовал голос и добавил: — Под фонограмму.





**Полковник — Алексей Золотницкий**

Загремели первые аккорды музыки. Зазвучал бархатный голос Элвиса Пресли. Урод изо всех сил пытался открывать рот в такт музыке. Вскоре он уже освоился и, поднявшись с колен, хотя и продолжая прикрываться ладонями, попробовал танцевать.

— Идиоты! — рычал Полковник, крупными шагами перемещаясь по бункеру. — Подонки! Сволочи! Плюралисты! — Он остановился и позвал: — Майор?! Майор?!

Майор «выплыл» из темного проема двери бесшумно, как подводная лодка.

— Я! — радостно отозвался он.

— Свинья, — невесело пошутил начальник, на что майор залился раскатистым смехом.

— Молчи! — оборвал его Полковник и после установившейся тишины сказал: — Нам сверху запретили его арестовывать. За неимением доказательств.

— Но как же? — возразил майор. — А Волконский?

— В том-то и дело! Не забывай, что он умер от дизентерии. И поди теперь, докажи, кто из них кто. Тем более, рядом с подследственным постоянно вертится иностранная подданная.

— Ну и что? — не сообразил подчиненный.

Полковник грустно взглянул на него и доверительно поинтересовался:

— Как его забрать? Все так запуталось. Без ордера на арест, с иностранкой.

— Как обычно, — скумекал майор с присущей ему сообразительностью. — По закону. По нашему советскому закону.

Полковник, сжимая в руках несколько пухлых папок, в сопровождении бдительного майора шел по тюремному коридору мимо ряда одинаковых дверей с «глазками».

— Здесь? — показал он, притормозив у одной из дверей.

— Бандит, рецидивист, — заглянув в одну из папок, отрекомендовал майор.

— Берем. Здесь? — от ткнул еще в одну.

— Член Политбюро.

Полковник отрицательно покачал головой и прошел мимо.

— Здесь?

— Жулик-компьютерщик. Путем электронного подлога переводил из банка деньги на свой счет.

— Берем, — махнул рукой начальник.

— Его сейчас нет, — вздохнул майор. — Работает на съезде в счетной комиссии.

— Здесь?  
— Кооператор, — ответил майор и, вытянув из кармана пистолет, выстрелил несколько раз в «глазок». — Не люблю я его.  
— Здесь?  
— Садист. Убийца. «Мосгаз», — отрекомендовал майор, запихивая в карман оружие.  
— Берем, — заключил Полковник и сделал пальчиком.

Денис и Урод шли по переулку.

— Я всегда придумывала себе какую-то роль, — говорила девушка. — Играла в нее. Мне некоторое время это нравилось, потом другая роль. В конце концов, кризис жанра, хочется побыть самой собой, но... В тебе кусочек от той Денис, кусочек от той и еще немного от той. Где же я сама? В какой роли меня больше? Есть уже запрограммированный набор ролей. Мы рождаемся, играем поочередно каждую из них, и умираем. Все дело в том, насколько нам удастся вжиться в тот или иной образ. Лучше всего это получается у детей.

Денис замолчала и, взяв Урода за руку, потащила к мерцающей вывеске «Видеобар».

— Пошли кино посмотрим, выпьем чего-нибудь.

— А магазин? — спросил Урод.

— Успеет тебе игрушек купить. Потом... их уже некуда девать.

Денис открыла дверь и втащила его за собой внутрь.

— У вас есть что-нибудь выпить? — поинтересовалась она у огромного бармена за темно-вишневой стойкой.

— Непьющие мы, — добродушно улыбнулся тот и предложил: — Разве что кефирчику?

— Ага, — неожиданно вставил Урод. — Два стакана.

— Две кружечки, — нежно поправил бармен и выставил на стойку две огромные пивные кружки с кефиром.

Денис хмыкнула, наивно полагая, что бармен шутит, и обернулась в надежде увидеть смешливые лица завсегдатаев. Но, обернувшись, поняла, что ошиблась. За столами, зажимая в огромных, мускулистых руках кружки с кефиром, покоились молодые люди богатырского телосложения и доверчиво смотрели на хрупкую девушку, их лица были полны сострадания. Денис скромно опустила глаза. Тут один из молодых атлетов подал голос:

— Бульдозер, не тормози, давай Арнольда. Бармен кивнул и вставил кассету.

— Присаживайтесь, кино смотреть будем, — показал он новоприбывшим на свободный столик. Те подчинились и, прихватив кружки, пошли на свои места. На экране телевизора показался Арнольд Шварцнегер. В зале вздохнули.

Полковник с подозрительной трубой в холеной руке восседал поверх кирпичной трубы на крыше, из-за плеча у него выглядывал майор с театральным перламутровым биноклем. Уходящее солнце разливало по городским крышам последние теплые лучи, отчего крыши, римский профиль Полковника и даже пыливый кот у соседней трубы были революционно-лилового цвета.

— Идут, — сообщил майор, напряженно глядявываясь куда-то вниз, откуда отдавало сыростью и запахом пережаренных полуфабрикатов.

Полковник манерно взмахнул ладонью, и ему кивнул в ответ сотрудник в окне третьего этажа дома напротив.

На экране пошли титры, бармен зажег свет и мечтательно отхлебнул глоток кефира. В зале пронесся легкий, но беспокойный шепот. Денис обернулась к сидящему рядом Уроду, и ее большие южные глаза округлились. Взлохмаченная голова Урода покоилась на большом, натренированном теле, отчего костюм, до этого просторный ему, лопнул в нескольких местах по шву. Сквозь шов на рукаве пульсировала упругая розовая мышца. Только лицо его все так же озаряла ласковая улыбка. Зрители, моментально сориентировавшиеся в произошедшем, бурно заплодировали ему. Некоторые торопливо снимали куртки и пиджаки, доставали ленточки-сантиметры и измеряли у себя объем рук. Денис схватила Урода за руку и под непрекращающиеся мясистые хлопки потащила из зала. У выхода она достала из своей сумки плащ и накинула на Урода.

— Как ты это делаешь? — возмущенно спросила она. — Зачем?

— Тебе не нравится?

Денис пальцем потрогала его руку и, замешкавшись, ответила:

— Как тебе сказать? Не то чтобы не нравится, просто это всегда так неожиданно.

Она потянула его на улицу, но, едва успев сделать шаг, снова остановилась. Ее брови удивленно взвились вверх. Напротив кафе, выстроившись в классическое «каре», стояла группа зрелых мужчин, вид которых не оставлял сомнений в роде их занятий. Все до одного были в костюмах одного покроя и шляпах на короткой прическе с подбритой шеей. Единственное, что их отличало, так это наличие режущих, колющих и тяжелых предметов в огрубелых руках: у кого-то были бритвы, у кого-то топоры, у кого-то цепи. Руку стоящего ближе всех украшала опасная бритва «Нева».

— Закурить не найдется? — грустно поинтересовался он, недвусмысленно занося руку с бритвой к уху.

Урод не нашелся что ответить и коротким ударом в ухо уложил истца на булыжную мостовую. Денис взвизгнула. Из дверей показался бармен с кружкой. Заинтересованно оценив происходящее, он поставил кружку и радостно присоединился к Уроду. Вскоре все посетители кафе участвовали в битве. То здесь, то там на мостовую ложилось покоцанное тело. Бандиты кричали и пытались вырваться. Кто-то лежал на деформированной трансформаторной будке, кто-то в проеме дверей подъезда: кто где. Бармен мутузил упитанного мужчину с цепью в руке и изображением храма Василия Блаженного на бледной груди. Нанеся по три увесистых удара по каждому куполу, бармен бросил толстяка и ушел искать новое тело.

— Век свободы не видать, — визжал и бился в руках Урода невинный рецидивист.

— Таких, как ты, я ем на завтрак, — продолжал рычать Урод.

Денис беспрерывно визжала, но столь романтическое времяпрепровождение ей явно льстило.

— 48, 93, 12, — считал что-то майор, записывая результаты в блокнот.

— Что ты считаешь? — спросил Полковник, опуская трубу.

— Освободившиеся камеры, — ответил тот.

— Пора милицию вызывать, — приказал Полковник, — и чтоб не со служебного, а из автомата. Его не упусти.

Майор кивнул и, убрав бинокль с блокнотом в карман, пошел к чердачному окну.

В дверях подъезда он столкнулся с прячущимся «Мосгазом».

— Ну что там? — добродушно поинтересовался майор.

«Мосгаз», сошедши с лица, поднял круглую чурку для раскатки теста и пошел на майора.

— Ты кого нам, падла, подсунул? Чтоб я тебя в кино видел, мразь государственная.

Майор хотел возразить, но не успел: круглый брусок звонко чокнул его по черепу, повалив на заплыванный кафель. «Мосгаз» вытащил из его кобуры пистолет и сунул за пояс. Осоловело осмотрелся напоследок вокруг и плюнул на оглушенное начальство:

— Изверг.

— Пойдем отсюда, — предложила Денис Уроду, уложившему свистящим хуком слева последнего рецидивиста.

Вся улица перед кафе была усеяна скукожившимися комочками бандитских организмов. Подразмявшиеся завсегдатаи кафе возвращались к столикам. Последним шел бармен, навстречу ему высунулся задремавший

во время фильма посетитель.

— Ты, Бульдозер, мне что-нибудь оставил?

Бармен быстро нашел в кармане спичку, вставил ее в зубы, выплюнул и, только совершив этот мудреный ритуал, ответил:

— Только тела.

Вдали взвизгнула сирена.

Денис отгадила тем временем Урода в седний переулочек.

— Может, ты инопланетянин? — дознавалась она у него на ходу. — Может, киборг-убийца?

— Нет, — искренне признался подозреваемый. — Я такой же, как все.

— Расскажи о себе, — попросила девушка.

Урод на мгновение замаялся, но все-таки решился.

— Мой дедушка был моряк, папа был тоже моряк, и я сначала был моряк, но потом меня посадили в тюрьму по доносу. Я бежал оттуда и устроился в Калужской филармонии иллюзионистом, потом меня контузило.

— Точно? А где? — обеспокоенно вмешалась девушка.

— Во Вьетнаме, — спокойно было заявил Урод, но тут же, почему-то перепугавшись сказанного, добавил: — Кажется.

— Все, — раздраженно прервала его рассказ Денис. — Не хочешь говорить, не говори. Смени тему.

Сирена где-то совсем рядом задрезжала посудой.

— Давай спрячемся, — предложила Денис, и они быстро забежали в подъезд. Едва за ними успела закрыться дверь, как мимо подъезда пронеслась машина милиции, через секунду за ней промчались двое, они кричали:

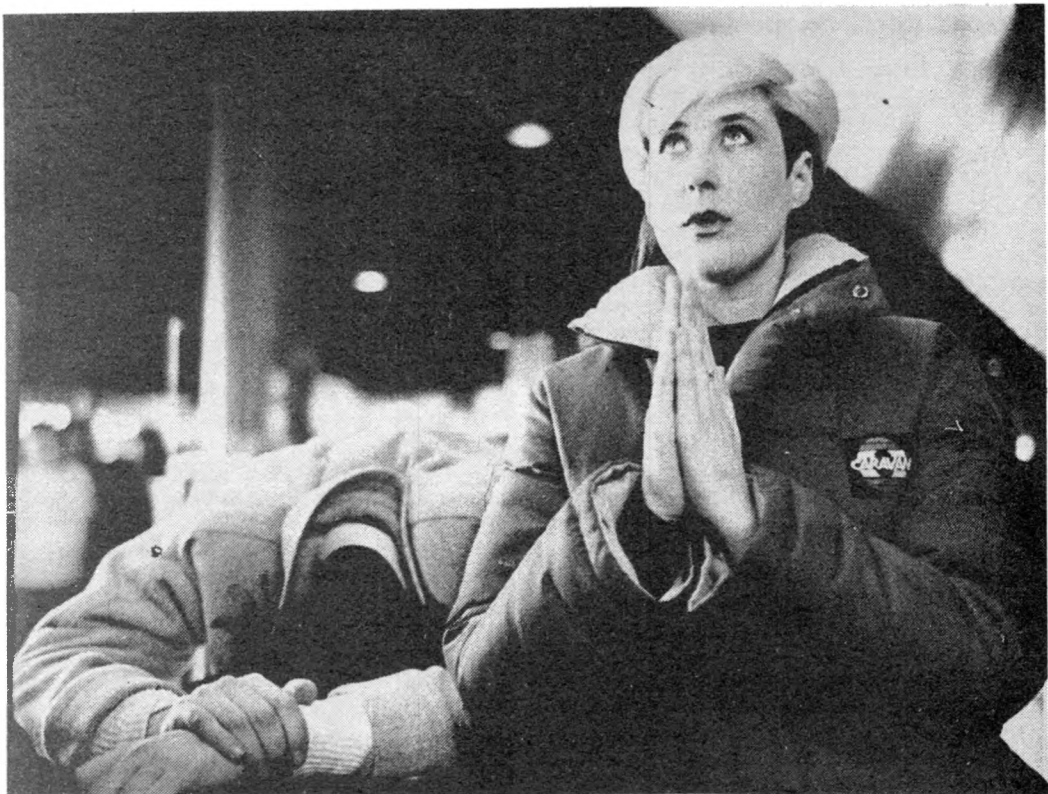
— Караул!

Хулиганское эхо разносило их крик по всему району. За патрульными, сердито топая ногами, неслась разъяренная толпа уголовников в одинаковых костюмах. Очевидно, это был дежурный наряд милиции, первый прибывший на место преступления. Денис тихо засмеялась и обняла Урода.

— Я думаю, что у тебя не все в порядке с головой, но я люблю тебя, придурок.

И она принялась целовать его с такой страстью, что брови его поползли вверх, а сам он безвольно опустился на ступени. Откуда-то сверху полилась чудесная музыка. Эхо резонировало оконными рамами, подпевая бархатными мужскими голосами: — «Что стоишь, качаясь, тонкая рябина, головой склоняясь до самого тына-р-на...».

...Едва бледный Полковник и трое строгих сотрудников окончили первый куплет, «Мосгаз», сидящий напротив них у теплой трубы с направленным в их сторону пистолетом, лас-



### *Денис — Джоанна Стингрей*

ковым жестом прервал их.

— Теперь «Клен» слабайте.

Полковник и сотрудники вынужденно грянули тоскливую есенинскую строку.

Урод, на мгновение оторвавшись от пышущих истомой губ Денис, прислушался и тихо заметил:

— Баритон фальшивит.

Сверху эхо донесло звук выстрела, и мимо окон пролетело чье-то грузное тело. Продолжили только басы и тенор. Урод удовлетворенно кивнул и поддался страсти.

«Мосгаз» подул в горячий ствол, он не любил фальши. Полковник и двое оставшихся сотрудников старались изо всех сил. Где-то в глубине двора всхлипнула впечатлительная старушка и на всякий случай перекрестилась. Очередь у винного отдела гастронома в такт песне качала головами. А дворник с классической министерской бородой, опершись о метлу, плакал навзрыд, грязным кулаком размазывая слезы по лицу.

Денис и Урод подошли к дому.

— Пока, — пожала Уроду руку девушка. — Мне нужно ненадолго съездить домой.

Тот вопросительно взглянул на нее.

— Но ты никуда из дома не выходи, я через час приеду.

Она подтолкнула его к дверям, а сама, развернувшись, быстро пошла через улицу к остановке такси. Урод прощально чмокнул ей вслед и вошел в дом.

Денис встала у обочины и, вытянув руку, принялась голосовать привередливым столичным таксомоторам.

— Здравствуйте, — раздалось у нее за спиной.

Она обернулась. Говорил Полковник с неизменным галантным полупоклоном. Он был бледен и время от времени потирал простреленный в пяти местах рукав пиджака.

— Нам необходимо поговорить, — пояснил он.

— И о чем же?

— О вашем новом знакомом. Уроде, Эдмоне Дантесе и Арнольде Шварцнегере, а так же иллюзионисте Волконском.

Денис заинтересованно повернулась к нему.

— А что вы мне хотите сказать о вышеупомянутом товарище? Человеке столь многих достоинств.

— Этот человек опасно болен, психически болен. Месяц назад ему удалось бежать из

психиатрической клиники. Я просто хочу предостеречь вас, он опасен. Очень опасен.

— Бред, — возмутилась Денис. — А кто вы вообще такой, чтобы читать нравоучения? Кто докажет, что это не фантазии, и больной он, а не вы?

Полковник молча протянул ей бордовую книжечку с тисненым гербом на обложке.

— Как врач прописал.

— Хорошо, — согласилась девушка. — Только очень быстро.

— Кофе? Коньяк? Пиво? — предложил Полковник и показал рукой на ближайшее кафе.

Фигура шла, и Полковник, как опытный танцор, знал это. Он изящно прокрутил фуэте и замер в луче прожектора, прекрасный и загадочный, как коммунизм.

Полковник и Денис вышли из кафе.

— Три дня, — умоляюще просила Денис, заглядывая собеседнику в глаза.

— День, — решительно, но спокойно констатировал тот и, отвесив полупоклон, пошел к ожидающей его черной «Волге».

Денис проводила его тревожным взглядом и нерешительно направилась к дому Урода.

Она застала его сидящим у телевизора. Урод завороченно созерцал экран телевизора, где Холмс и тугодум Ватсон преследовали очередного уголовного.

— Ну, чем ты тут занимаешься? — стараясь выглядеть весело, спросила Денис.

Урод обернулся и, оглядев вошедшую с ног до головы, голосом актера Ливанова насмешливо изрек:

— Мы-то кино смотрим тут, а вот вы, голубушка, я вижу, кофе только что пили с мужчиной высокого роста, тридцати двух лет, в темном костюме, брюнетом, уроженцем города Брежнева, неженатым, физических недостатков не имеющим, разве что небольшая накладка на правом бедре «Сергея Пупкин — друг навеки», уехавшим на машине марки «Волга», черного цвета, номер 50-32 МОС.

— Откуда ты знаешь? — изумилась Денис.

— Это элементарно! — засмеялся он. — Дедукция, Ватсон.

Денис опомнилась и, усмехнувшись, спросила:

— К слову сказать, а как моя фамилия?

Урод загрузил, выключил телевизор и уже своим голосом сознался:

— Я не знаю.

— Ландер, — представилась она.

— А меня... — начал Урод.

— Подожди! — остановила его девушка и, присев рядом, на мгновение задумалась.

Урод преданно смотрел на нее.

— Тебя зовут Том Бунстер! Ты просто забыл,

что тебя зовут Том Бунстер!

— Ну если ты так хочешь, — согласился он. — Я вообще-то не против.

Денис схватила телефон и быстро набрала какой-то номер.

— Том?! Том?! — дыхла она в трубку. — Рада тебя слышать! Ты когда улетаешь? Утром? Гениально! Я лечу с тобой, закажи мне, пожалуйста, билет. Нет, ничего не случилось. И приезжай ко мне, отметим, выпьем чуть-чуть и утром выедем от меня в аэропорт. Не шучу. Давай. — Она положила трубку и, обернувшись к Уроду, спросила:

— Где сейчас можно купить водки, много водки, очень много?

— Я думаю, в магазине, — резонно ответил он. — А зачем?

— Мы улетаем. — задумчиво пояснила девушка.

— Куда? — изумился он.

— Куда? Куда? В Австралию! — воскликнула она. — Бананы жрать, кенгуру разводить.

Урод пожал плечами:

— Подумаешь! В Австралию так в Австралию.

Спустя полчаса они сидели в такси, нагруженные ящиком водки и двумя чемоданами. Урод заинтересованно принохивался к бутылкам, таксист тоже. Машина затормозила у светофора. Таксист посмотрел на ящик, потом на часы и сглотнул. И милиционер сглотнул на перекрестке, и шахтер в шахте сглотнул, и мордастая колхозница с колючим снопом в руках сглотнула, и космонавт в космосе сглотнул, и хоккеист с клюшкой сглотнул, и разведчик с рацией сглотнул, и партизан прервал антигитлеровскую речь и сглотнул, и кронштадтский матрос сглотнул, и пионер у пионерского костра сглотнул, и младенец в люльке сглотнул, и молодожены в первую брачную ночь, прервав поцелуй, принохались и сглотнули... Все сглотнули. И было в этом что-то безудержное, от чего хотелось плакать и кричать: «УРА!»

И Том Бунстер, сидящий со стаканом водки в руке напротив Денис, тоже сглотнул. И тут же икнул.

— Ты запей, — советовала девушка. — Запей и пройдет.

Она подливала ему еще и еще из бутылки. Том глупо улыбался, но совету последовал. Когда очередная бутылка закончилась, Денис вышла в другую комнату и тихо постучала длинным ногтем в дверь стенового шкафа. Дверь приоткрылась, и оттуда высунулся раскрасневшийся Урод и протянул новую бутылку. Денис бутылку приняла и быстро направилась обратно, но, учувя что-то подозритель-

ное в поведении подопечного, вернулась и резко распахнула шкаф. Ее глазам предстало зрелище следующего рода: Урод, скрючившись в три погибели, припал к бутылке водки, отчего та неблагоприятно булькала и пузырилась. Денис вырвала бутылку и, пригрозив ему кулаком, захлопнула дверь, после чего вернулась к Тому. Том что-то хотел сказать, но не успел. Денис налила ему новый стакан.

— За меня! — провозгласила она.

Том покорно выпил. Денис налила снова.

— За тебя! — И протянула стакан.

Том взял и, немилосердно пуча глаза, выпил и его. Девушка налила еще.

— За него! — Дала стакан.

Том сделал усилие и удивился:

— За кого?

— За меня, — вздохнула она.

Том подумал, но ничего не придумал и, поняв, что запутался, выпил и это. После чего издал звук гортанью и упал. Почти одновременно со звуком падения в соседней комнате что-то зазвенело и рухнуло. Денис подбежала к двери и заглянула туда. Это из шкафа выпал аморфный организм Урода с початой бутылкой в руке. Ему было хорошо, и он улыбался. Денис горестно всплеснула руками и потащила его в ванную.

Такси лихо развернулось перед зданием аэропорта, сплугнув разноцветную стайку турок у дверей. Денис с таксистом вытащили Урода из машины и поставили к стене. Урод постоянно пытался сесть, но ему это никак не удавалось, было не на что. Денис расплатилась с таксистом и подошла к Уроду.

— Посмотри на себя! — Она ткнула ему в нос паспорт Тома.

— Видишь, до чего ты допился? Узнать невозможно.

Урод кивнул и попытался сосредоточиться на фотографии, на некоторое время ему это удалось. Девушка с огромным любопытством следила за изменениями на его лице. Сгустились брови, под глазами появилась паутинка морщин, нос стал клюквенного цвета, короче говоря, Урод мало-помалу превращался в Тома. Когда Денис убедилась, что его можно сравнивать с фотографией на документах, она повела его на регистрационный пункт. Урод старался изо всех сил выглядеть как можно уважаемее, отчего сделал лицо необычайно злое и чванливое. Девушка-пограничник за стойкой едва увидела его, как с ней приключилась истерика, она залилась слезами и выбежала прочь. На ее место пришел розовощекий сержант, но и его ненадолго хватило: едва ему удалось сделать отгиск на билете при помощи чугунного штемпеля, как его

забили конвульсии, он расплакался, бросил штемпель и убежал. Его сменил пожилой, опытный таможенник, он и не стал смотреть на стоящего у стойки, а быстро что-то чиркнул в билете, дрюкнул компостером и напоследок шваркнул штемпелем, после чего, не поднимая глаз, ладонью показал: мол, до свидания, с вами все. Урод взял свои документы и прошел к самолету. Денис облегченно посмотрела в небеса, но ничего хорошего там не нашла, кроме потолка с барельефом государственного герба и осыпающейся штукатурки, похожей на крупные овсяные хлопья «Геркулес» — главную государственную пищу.

Облака... Облака... Облака...

Кто не любил, тот не поймет. Кто не нес на своих плечах этот непосильный, сжигающий груз, тот не в состоянии оценить или как-то представить себе размеры восторга, охватывающего влюбленного при победе, и глубину поражения — при неудаче.

Влюбленный — это Данко со своим многовольтовым сердцем, вышедший из темноты леса в солнечный день и при этом хорошо понимающий, что свет его сердца уже никому не нужен, но и засунуть его обратно нет никакой возможности. Есть только два выхода: первый — выбросить его в кусты у обочины, обернуть пальцы носовым платком и стать негодяем; второй — так и носить его, горемыку, не принося ничего полезного окружающим, кроме праздного любопытства. Так становятся святыми. Осталось к этому добавить — тот, кто любил, тот поймет, почему Полковник рыдал навзрыд на коленях у своей маменьки, а добрая старушка ласково трепала его затылок и горестно вздыхала:

— Глупенький ты мой, доверчивый, обманули тебя! А ты не зевай!

Полковник сквозь рыдания всхлипнул:

— Ничего, я их и на Марсе найду. — И он погрозил в сторону Марса кулаком.

Австралия.

Машина отъехала от Денис и Урода метров на сто и, выпустив на прощание вонючее облачко, скрылась за деревьями. В пяти шагах от Урода грохотал океан, стирая огромные жилистые волны о крупную гальку. Неподалеку виднелся дом.

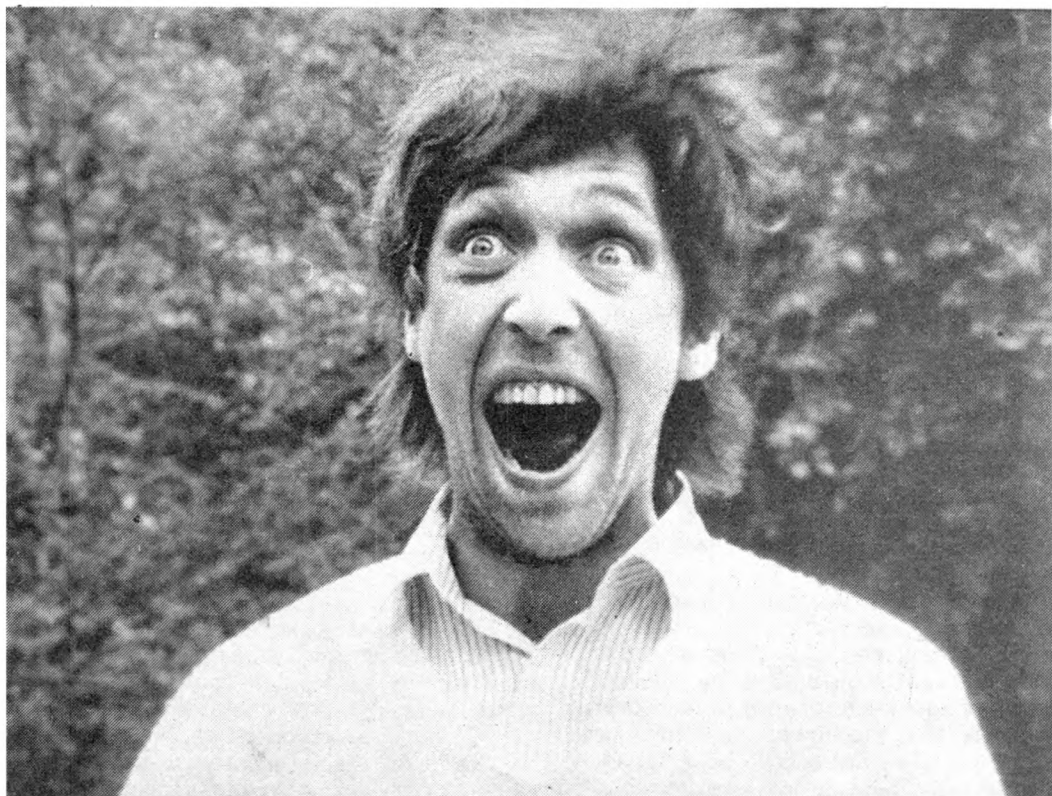
— Нам туда, — показала Денис на дом.

— Можно я здесь чуть-чуть посижу? — спросил Урод, преданно глядя на подругу.

Денис пожала плечами и, подняв один чемодан, пошла к дому.

— Только недолго, — бросила она на ходу.

Девушка отошла шагов на триста, когда Урод крикнул ей вслед:



— Я здесь уже был. Слышишь, Денис? Я вспомнил. Только скалы были выше.

— Не выдумывай, — засмеялась она и скрылась в доме.

— Да, — задумчиво сказал Урод. — Скалы были выше, а я был динозавром.

Он повернулся к скалам и зарычал. Со скал поднялась стая летучих мышей. Стая повисела мгновение в воздухе неподвижно, вдруг сорвалась и полетела к Уроду.

— Видишь Денис? — закричал он в сторону дома. — Они меня узнали. Раньше я катал их на спине.

Мыши спустились на гальку около Урода, урча и расклевывая в разные стороны головы. Урод тоже сел и взглянул на океан. Поднимался ветер.

Полковник вышел из аэропорта Сиднея и двинулся к автостоянке неподалеку. У отполированного «линкольна» кремового цвета, стоящего поодаль от остальных машин, он остановился и, быстро оглядевшись, нырнул внутрь, но в следующую секунду его натренированный организм снова оказался вне автомобиля, и Полковник, натужно улыбаясь и не переставая оглядываться, пошел дальше. Вслед за ним из автомобиля появилась восторжен-

ная блондинка и принялась к чему-то призывать уходящего, но тот был глух к призывам, лишь ускорил шаг. Блондинка выдала ему вслед еще тираду, в интонациях которой угадывалось некоторое разочарование.

На расстоянии полутора километров от аэропорта «линкольн» опять догнал Полковника и несколько раз гуднул ему в спину.

— Нет! — всплеснул он на ходу руками. — Нет! Сейчас я не могу, я занят.

Но машина продолжала ехать за ним, след в след.

— Оставьте меня, — не оглядываясь, взмолился Полковник. — Я болен, у меня неприятная болезнь. В конце концов, меня не интересуют женщины, у меня несколько извращенные пристрастия, мне нравятся мужчины, и преимущественно мужчины с усами.

Полковник, наконец, приостановился, чтобы отдышаться, и, оглянувшись на машину, замер. За рулем сидел бледный молодой человек в шляпе и при усах.

— Я от Стенли, — сказал молодой человек. — Он ждет вас!

— А! — воскликнул Полковник. — Замечательно! — Он распахнул дверцу и залез внутрь. — Будем знакомы! — И протянул руку молодому человеку, тот чуть посторонился и еще

крепче сжал руль.

— Я вас умоляю, — действительно молящим тоном попросил он. — Я уже женат.

Полковник тяжело вздохнул и уставился на дорогу.

— Вы не расстраивайтесь, — попробовал его успокоить водитель. — Мы приедем, и я вас познакомлю с Гарри. Это то, что надо. Усы опять же.

Денис и Урод сидели у огромного камина. Денис что-то рассказывала, а Урод смотрел на огонь.

— Мы с ним договорились на один день. Понял?

— Да, — ответил он. — Значит, я ненормальный гомункулус?

Денис кивнула.

— Урод? — снова спросил он.

Она кивнула и успокоила его:

— Но ничего плохого нет. У тебя есть я, а я буду с тобой.

— Почему меня ищут, я же ничего плохого не сделал? — спросил он, продолжая разглядывать пляшущие языки пламени.

— Я как следует сама не поняла. Полковник объяснил мне это тем, что если ты доберешься до описания ядерной реакции, то взорвешь в ту же секунду все вокруг. Но я думаю, это сложнее. Наверное, ты покушаешься на миропорядок условностей, и это он очень хорошо понимает. Подумай: ребенок до пяти лет усваивает всю историю мира вокруг, саму суть, но всю последующую жизнь усвоенное им раньше обрастает множеством разнообразных правил и предписаний. Каждое время диктует свои правила, каждое общество. В конце концов, суть меняется местами с условностью, любовь с расчетом, жизнь с карьерой, характер с имиджем. На этом строится жизнь большей части человечества. Ты — стихия, ураган для них. Ты своим существованием посягаешь на самое святое для этой части, ты отрицаешь порядок. Как ребенок, усваиваешь все основное, читаешь книгу и становишься ее героем, а в книгах ведь не то, что есть на самом деле, а то, как должно быть в принципе. И ты — живое воплощение этого принципа. Ты опасен, потому что твой пример заразителен.

— Разве это так? — поинтересовался Урод.

— Посмотри на меня, — усмехнулась девушка. — Я первая жертва. Меня ведь тоже ждала такая заманчивая карьера!

Водитель привез Полковника к зданию театра и протянул ему билет.

— Зачем? — не сразу сообразил тот.

— Стенли, — невозмутимо кивнул молодой человек с усами. — Это сюрприз. Хорошо, что

не опоздали.

Полковник нерешительно взял билет, выбрался из автомобиля и направился к дверям театра.

Миловидная администраторша с фонариком в руке проводила Полковника сквозь темный зал и усадила на место. Едва он успел устроиться, как занавес разъехался и загремел хачатуряновский «Танец с саблями» и на сцену выбежал Стенли в облегающей тунике и с мечом в руке. Зал взорвался аплодисментами.

— Ты посиди здесь, почитай что-нибудь, — приказала Денис, накидывая плащ. — А я быстро съезжу в город, куплю поесть и выпить, конечно.

— Давай, — кивнул Урод, расхаживая перед стеллажами с книгами. — Взрывать ничего не буду, не бойся. Мне бы какую сказочку?

— Вон там посмотри, — указала пальцем Денис на крайний шкаф и закрыла за собой дверь.

Музыка Хачатуряна, выплескивающаяся из динамиков автомобильного микрофона, глушила даже звук мотора. Полковник и Стенли пожирали друг друга глазами.

— Как ты? — спросил Полковник.

Стенли пригладил ладонью волосы:

— Помаленьку. А мама твоя как?

— Пока хорошо. Вот только печень у нее пошаливает. Тебя велено поцеловать.

— Спасибо. Как я тебе сегодня?

— Ты танцевал блестяще. Чем ты делаешь маску для лица?

— Как всегда: яичный белок и мед. А ты все сметаной?

— Да. Кстати, хотел тебя спросить: последний взрыв у нашего посольства в ФРГ — это ваша машина была?

— По-моему, Рейтера.

— Очень тебя прошу. Нам бы десяточек таких, потому что наши очень громоздкие. Мне в Кабул надо отправить.

— Ладно, передам Рейтеру, он сейчас, правда, очень важничает: его после Ирангейта повысили. А помнишь, как мы ему в «Артеке» глаз подбили? В июле, по-моему.

— В августе. Это точно, в августе.

— Вот она! — показал Стенли пальцем в окно. Там, из магазина, нагруженная множеством пакетов, вышла Денис.

— Немедленно за ней! — приказал Полковник и попросил Стенли: — Вызывай людей! — Стенли схватил телефонную трубку.

Денис ехала побережьем в желтом рейсовом автобусе и равнодушно разглядывала





пробегающие ограды домов. Вслед за автобусом, почти вплотную, наружно урча моторами, ехали десять бронетранспортеров с солдатами.

Океан бросался на скалы огромными волнами, и на скалах, неустрашимый, как смерть, Полковник вытанцовывал фигуры под музыку Чайковского. Казалось, он парил над водой. Губы и глаза его смеялись. Это было красиво.

На другой скале Стенли резал ветер мечом под музыку Хачатуряна.

Денис вышла из автобуса, и первое, что она увидела, был Полковник. Денис вскрикнула, выронила пакеты и бросилась было бежать, но тут же попала в объятия Стенли.

— Ну что же это вы? — укоряюще спокойно спросил Полковник. — Даже не поздоровались.

— Я все равно не скажу, где он, — решительно заявила Денис.

— А нам и не надо, — ласково ответил Стенли и показал Денис на ее дом, окруженный бронетранспортерами и автоматчиками.

— Чего вы хотите от меня? — спросила девушка. — Почему вы не оставите Урода в покое? Он ничего плохого не сделал. Отпустите его, я буду за ним следить. Пожалуйста. —

Она умоляюще сложила руки на груди. — Ради Бога!

— Увы, — вздохнул Полковник. — Вы же знаете, что я атеист.

— Мисс! — вмешался Стенли. — Единственное, чем вы можете ему помочь, — это убедить его сдаться без боя. Ведь солдаты получили приказ стрелять, и, упаси Боже, может что-нибудь случиться. Сами знаете, военные — народ неуправляемый.

— Да, — добавил Полковник. — Это единственный выход. Конечно, если вы отказываетесь, я отдам приказ штурмовать дом.

— Хорошо, — зло сказала девушка. — Но обещайте, что вы меня посадите вместе с ним. Стенли и Полковник переглянулись.

— Обещать не могу, но сделаю для этого все возможное, — ответил Стенли.

Денис подняла сумки с земли и тяжело пошла к дому. У дверей она оглянулась и крикнула в их сторону:

— Подонки!

Урода она нашла в том же кресле, он спокойно смотрел в окно.

— Они нашли нас, — сказала Денис, садясь рядом. — Если ты не выйдешь к ним, они будут стрелять.

— Я выйду, — спокойно ответил Урод, про-

долгая смотреть в окно.

Тут Денис взорвалась:

— Я тебе выйду! — Она выбежала из комнаты и вскоре вернулась с карабином в руках. — Мы будем защищаться до последнего. Во мне кровь викингов. Викинги не сдаются. Или нет, еще лучше... — Она бросилась к книжным шкафам и вытащила с полки какую-то книгу. — Вот. «Огненная смерть». Здесь про человека, умеющего все сжигать взглядом. Ты сейчас это прочтешь и сожжешь их к чертовой матери. — Она сунула книгу в руки Уроду. Тот равнодушно осмотрел ее и положил на стол: — Я не хочу больше читать. — Он встал и направился к двери.

— Нет! — заплакала Денис и загородила собой дверь. — Я знаю, они тебя убьют!

— Не бойся, — погладил ее по голове Урод.

— Я им нужен, точнее, они нуждаются во мне.

— Но мне ты нужен больше, — плакала девушка.

— А я буду теперь с тобой всегда. Мы будем с тобой путешествовать, а вечерами пить чай у камина и рассказывать друг другу сказки. Ты ведь любишь сказки?

Денис, заливаясь слезами, кивнула.

— Ну вот, — продолжал Урод. — А ведь самые прекрасные сказки еще не написаны, мы их придумаем сами. — Он открыл дверь и вышел на улицу.

Денис зарыдала в голос и бросилась в кресло, где только что сидел Урод. Мало-помалу ее рыдания утихали, и вскоре она подняла

мокрое от слез лицо и прислушалась к звукам на улице. Тишина. Денис напрягла слух, но не услышала ни криков, ни выстрелов. Что-то мешало ей сидеть, она сунула руку под себя и вытащила книгу, машинально открыла ее и прочла:

— «Среди улицы его, и по ту и по другую сторону реки, древо жизни, двенадцать раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой и листья дерева — для исцеления народов». К чему бы это? — все так же машинально спросила сама у себя Денис и неожиданно сообразила, что к чему. Она осторожно подошла к двери и выглянула на улицу. Ее глазам предстала следующая сцена: все пространство вокруг дома занимали стоящие на коленях, выбросившие свои автоматы солдаты, руки их были сложены на груди, глаза обращены в небо, а лица залиты слезами. На дорожке, ведущей к дому, коленапреклоненно стояли Полковник и Стенли, неистово рыдая и что-то невнятно бормоча. А по океанским волнам, как по суше, медленно уходил Урод в ослепительном сиянии, и с океана вместо обычного шума неслась дивная мелодия.

Денис прислонилась к косяку двери и тихо, сквозь слезы засмеялась.

— Я люблю тебя, придурок! — сказала она, несмотря на банальность фразы.

И, кажется, Урод услышал ее, обернулся и что-то ответил.

— А это главное! — донес до нее ветер.

Редакция готовит к печати новую книгу

Григория Горина

«СТОП, НА СЕГОДНЯ ХВАТИТ».

Ее содержание — кино и, конечно, юмор.

Предварительные заявки, в том числе и от оптовиков, просим направлять в редакцию нашего журнала по адресу:

103006, Москва, Ворониковский пер., 12.

Телефоны: 299-11-78, 299-47-74, 209-60-23

Посвящается моей матери  
Г.Д.Катанян

# В. КАТАНЯН

## СЕРЕЖУ

или Страсти по Параджанову

Главы из книги\*

### «Живым воскреснуть труднее»

Из моего дневника, 16 апреля 1978 года:

«Ты будешь в Ереване? Я даже слышать не хочу, что ты не полетишь ко мне в Тбилиси. Как тебе не стыдно?!» Мне стало стыдно, и после Еревана, где я участвовал в симпозиуме, я полетел к нему в Тбилиси.

От проспекта Руставели круто вверх идет улочка, там его дом. Он сильно коммунальный, живет много семей, хотя дом — собственность Параджановых. Вхожу во двор, и сверху, перегнувшись через перила, мне радостно улыбается племянник Сережи Гарик, парень лет пятнадцати: «Здравствуйте, дорогой Василий Васильевич, проходите!» А Сережа вместо «здравствуй» кричит на весь двор: «Вася, он не всегда такой согнутый, сейчас у него чирей в...». Никакой тайны, и все соседи в восторге.

В комнате я вижу мужчину, судя по всему, отца Гарика, мужа Сережиной сестры. Он парикмахер. Садимся за стол, что-то едим. Парикмахер время от времени говорит: «Ну я очень прошу, Сережа-джан». — «Нет, нет и нет!» — отрезает Сережа. Опять какой-то разговор, кто-то приходит-уходит, мы чему-то смеемся, а парикмахер свое:

«Ну, Сережа-джан, я умоляю тебя...». — «Я же сказал — ни за что!» И через час, уже и чай попили: «Ну, Сережа-джан, ну несколько слов!» — «Никогда! Нет!» — страстно кричит Сергей.

— Чего он от тебя хочет? — спрашиваю тихо.

— Чтобы я сказал несколько слов по-армянски зарубежным слушателям.

— А какое отношение он к ним имеет?

— Да это же корреспондент армянского радио, он все пристает с интервью.

— Господи, как в анекдоте. Я ведь думал, что это отец Гарика — он сидит за столом, как дома, да еще угощает меня...

— Сам ты отец Гарика, дурак. Он приехал за час до тебя, чтобы взять у меня интервью.

— Так ответь на его вопросы, чего ты отнекиваешься?

— Тебе еще не хватало меня уговаривать. Если хочешь, сам давай ему интервью.

— И дам. Товарищ, как вас зовут? Давайте познакомимся, что вас интересует? Я вам все расскажу про всех, всех заложу, будет очень интересная передача.

Он обрадовался, я ему наговорил про симпозиум, и мне потом пришел гонорар «от армянского радио». Затем он меня стал спрашивать про Параджанова, я начал рассказывать, но тут Сереже стало скучно, он вмешался и долго, увлеченно говорил о плане своей постановки «Давида Сасунского» — с интереснейшими подробностями. Я заслушался. Когда он замолчал, то корреспондент снова: «Ну, Сережа-джан, ну всего несколько слов по-армянски для зарубежных слушателей. Они так рады вашему возвращению, скажите только: «Я счастлив, что я в родном Тбилиси, здесь тепло, цветет персик». Что-нибудь в этом духе. Но обязательно по-армянски. Два-три слова, умоляю».

Сережа, наконец, соглашается, берет микрофон и говорит на чистом русском языке: «Моему

\* Начало публикации см. в № 6 — 1993 г.

освобождению помогли Лиля Брик и Луи Арагон. В благодарность за это я хочу вступить во Французскую коммунистическую партию!»

Вот вам и несколько слов по-армянски...

Комната у Сережи метров двадцать, темная. Даже днем горит керосиновая (электрическая) лампа, украшенная цветами и лентами. Огромная кровать красного дерева, старинный буф. В церковных окладах и рамах сусального золота — фотопортреты Светланы, как две капли воды похожей на Роми Шнайдер... Вся комната тесно-тесно заставлена и завешана — не помню уж чем. Среди музейных вещей красуется кухонный стол с утварью, таз с рукомойником, на плитке постоянно кипит чайник.

На стене галереи висит ватник с номером и сапоги — его лагерная одежда. Она как-то специально закреплена — экспонируется, и ее сразу замечают все, кто приходит. Сергей очень дорожит ватником, что не мешает ему каждый день всучивать его мацонцику. Тот с утра появляется во дворе, продавая мацони, дает Сереже банку, а денег не берет (да у того их и нет).

— Ну тогда возьми мой ватник.

— Зачем он мне? Да еще такой страшный.

— Зато теплый.

— А мне не холодно. Вай, ешь мацони и не морочь мне голову!

Мацонщик машет рукой и уходит, а Сережа аккуратно вешает ватник обратно. И так каждое утро.

Его сестра Анна Иосифовна с семьей живет на этой же галерее, но отдельным хозяйством, не в силах совладать с Сережиной безалаберностью и добротой. «Все, что ему досталось от матери, он раздарил друзьям, — жаловалась она мне. — Видите эту вазу? — На полу стояла огромная, пугающая красотой, ваза с изображением Мао Цзедуна. — Так вот, их было две, вторая с портретом Сталина. Это были мои вазы, а Сержик вазу со Сталиным кому-то подарил, а теперь она стоит 500 рублей, не меньше! Ему, оказывается, противно было видеть Сталина. Барин какой! Теперь Мао стоит один. Я запираю комнату, он и Мао способен подарить!»

Но она жалеет его, приносит кастрюлю с супом, стирает и осуждает за расточительность. А Гарик в восторге от дяди, похож на него и все время улыбается. Вечером мы сидели за столом, было много народу. Ужинали. Вдруг вбежала перепуганная Аня: «Сержик, там тебя спрашивает милиционер. Что ты опять натворил?» — «Зови его сюда!»

Все притихли, и «армянское радио» приготовило документы. Вошел милиционер, с ним какой-то тип в джинсовом костюме, с волосами, как у Анджелы Девис, и еще молодой человек, Эдик. Я их принял за понятых, но оказалось, что это друзья милиционера.

— В чем дело?

— Почему вы до сих пор не прописаны? Все готово, начальник каждый день ждет вас, а вы не являетесь. Обычно просители хотят прописаться, а милиция их не прописывает. А тут мы хотим прописать вас, а вы не прописываетесь. Так в Тбилиси не бывает.

— И это все? А я думал, что вы по делу. Садитесь за стол. Нет, нет, пока вы стоите, я с вами и разговаривать не буду, тем более о прописке. Анджела Девис (так он окрестил джинсового гостя), вам что — особое приглашение?

Все, обескураженные, сели. Ужин продолжается. Время от времени Сережа говорит Гарику: «А ну-ка достань из ящика печенье». Или: «Принеси из ящика сахар». Тот достает и приносит. Наконец, Сергей говорит: «Знаешь что? Тащи сюда весь ящик, чего там размениваться». Тот ставит на стол фанерный посылочный ящик, на нем я читаю знакомый адрес:

«Винницкая область, село Губник, участок 301/39».

Это лагерь, где сидел Сережа. Он собрал посылку друзьям-зекам, но не успел отправить. Тут пришли гости, еды в доме нет, и он стал черпать щедрыми горстями прямо из ящика: «Ешьте, урки подождут еще один день. Завтра соберем новую!»

Вскоре милиционер уже произносил пышные тосты по-грузински, где по-русски мелькало только «гениальный Параджанов». Эдик не пил, он был за рулем, а Анджелу Девис поставили вскрывать консервы из тюремной посылки.

Утром Сережа сказал: «Мы сегодня поедem в Мцхету, я тебе покажу фрески. Анджела Девис дает свою машину, повезет нас Эдик. Сейчас они с Гиви придут. Вставай».

— Кто это Гиви?

— Вчерашний милиционер. Я ему подарил отрез на костюм при условии, что он никогда не будет говорить со мной о прописке. Он не хотел брать, но был в таком состоянии, что ему можно было всучить этот буфет.

— Господи Боже, зачем же нам милиционер, чтобы смотреть на фрески?

— Он сегодня выходной и не милиционер, а просто Гиви.

...Едем. Вдруг Сережа велит остановиться на тихой улочке и скрывается в подъезде, откуда вскоре появляется с вазой клаузонне: «Я зашел к знакомым, никого дома нет, дверь открыта. Представляешь, какой они поднимут крик, когда хватятся вазы?» Я выскочил из машины: «К твоим делам не хватает, чтобы тебя еще уличили в воровстве. Отнеси обратно вазу, иначе я никуда не поеду!»

Пошли возвращать вазу. Сережа что-то крикнул по-грузински, вышел мальчик.

— Софико дома?

— На репетиции.

— А папа?

— Папа дома.

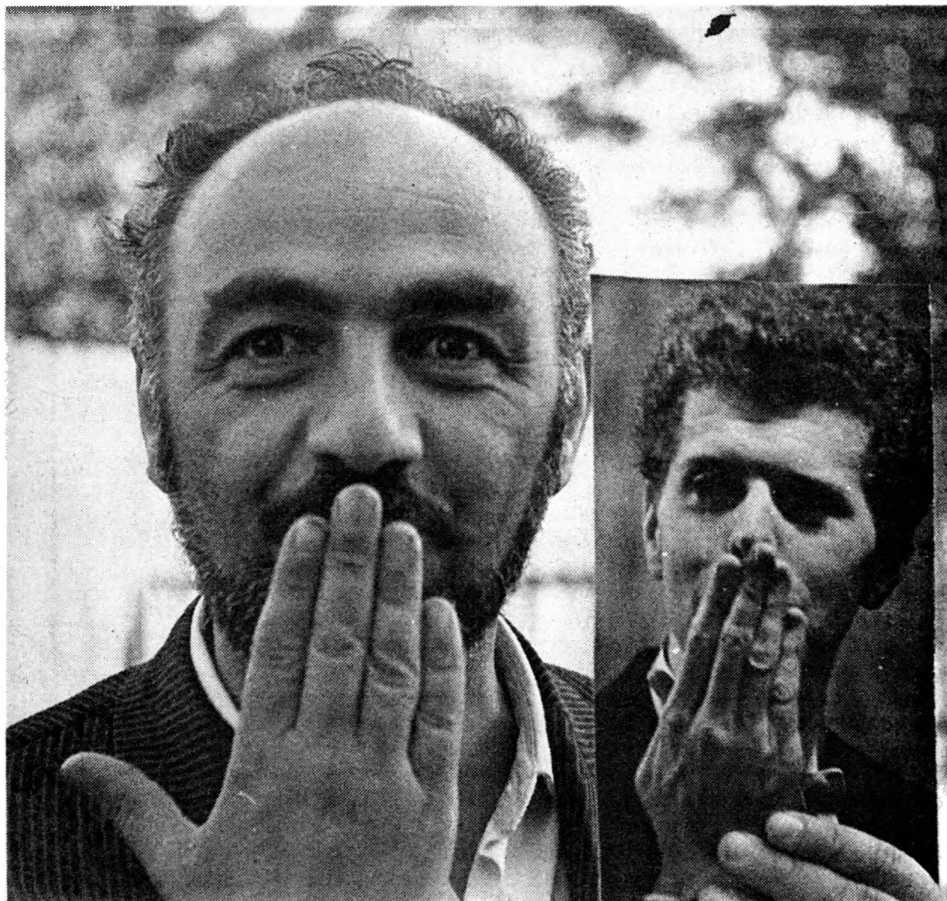
— О, здравствуйте, как я рад, заходите, — сказал папа, который оказался Георгием Шенгелая. А Софико — это Софико Чиаурели. Мы ввалились к ним поутру без приглашения, по пути чуть не украл вазу.

Приносят угощение, кофе. Вся компания плюс милиционер в штатском садится за стол. Я оглядываю стены — несколько картин Пиросмани. Входит Верико Анджапаридзе в черном стеганом халате — ведь еще утро, она дома и так рано гостей не ждая... (Лет тридцать назад я видел ее в «Даме с камелиями» на грузинском языке. Она была ослепительна.)

Гиви, как вчера, говорит витиеватый тост по-грузински (сразу видно — специалист), из которого я понимаю только «гениальная Верико». Мы все почему-то сидим одетые. Полная чертовщина: ваза, милиционер-тамада, дама с камелиями, на Параджанове пальто Михаила Чиаурели, подаренное Сереже по выходе из тюрьмы...

Слово за слово, Верико Анджапаридзе спрашивает Сережу, что он собирается делать.

— Ничего.



*С фотографией Вана Клиберна*

- Отчего же?
- Уезжаю в Иран!
- Я тебя серьезно спрашиваю!
- Правда. Уезжаю.
- Что же ты будешь там делать?
- «Лейли и Меджнун».

— Не думайте, Верико Ивлиановна, что Сережа сочиняет, — говорю я. — Он действительно подал прошение, чтобы ему разрешили уехать на два года в Иран.

Она только пожимает плечами: «Чтобы армянин — и был такой глупый». В ответ Сережа уговаривает ее ехать с нами... на ювелирную фабрику. (Это для меня полный сюрприз!) Он вытаскивает из кармана чиаурелевского пальто серебряный половник и многозначительно им помахивает.

— Что ты мне его тычешь, думаешь, я никогда не видела серебряного половника?

— Этот половник — платиновый. Наследство от мамы. Сейчас мы все поедem на ювелирную фабрику, там мой знакомый — главный ювелир города (что за должность?) — подтвердит, что это именно платина. У него такая машина: суешь туда ложку, а выходит цепь. Мы всем там надаем цепочек. Вам очень пойдет платина к черному.

И он приложил половник к ее халату. Она улыbnулась.

— А что это за медальон на вас? Какой красивый! Что внутри?

Верико, не снимая с груди, открыла крышку и показала миниатюрную фотографию мужа: «Там Миша».

— А снаружи?

— Ты же видишь — бирюза и алмазы.

Глаза его загорелись, и безапелляционным тоном знатока он заявил: «Вас обманули. Это простые камешки, подделка».

— Подделка? Да знаешь ли ты, что этот медальон мне подарил иранский шах. Какая же может быть подделка в царском подарке? Тоже мне — Фаберже...

Крыть было нечем. Вскоре мы поднялись, Верико сердечно расцеловалась с Сережей и велела ему приходить каждый день к обеду, любезно простилась с нами, и мы покатали в Мцхету. Казалось бы. На самом деле свернули на какую-то улочку и остановились у ворот ювелирной фабрички. Вызвали «главного ювелира Тбилиси», который на деле оказался просто главным инженером. Диалог такой:

— Резо, дорогой, это мои друзья, сплошь знаменитости, можешь не сомневаться. Помогите нам: мы привезли платиновый половник, как ты думаешь, сколько он может стоить?

— Платиновый??? Ну-ка покажи... Чепуха! Обычное серебро.

— Резо, не вздумай нас обдурить. С детства я знаю, что он платиновый, а теперь вдруг стал серебряным?

— Да ты что, взбесился? Нино, Нино, иди сюда. Возьми, сделай анализ.

— Начинается — анализ, шманализ. Это тебе не моча. Не можешь оценить на глаз, так лучше приходи вечером в гости. Ждем тебя, дорогой! До вечера!

И мы весело покатали в Мцхету, размахивая половником»...

На этом заканчивается моя дневниковая запись о «постлагерных похождениях» Параджанова. Их было много, этих пустых времяпрепровождений. Он пытался уйти от мрачных мыслей, которые его не покидали. Часто посреди застолья он отключался, смотрел сквозь нас и — дальше, сквозь стены. Я слышал, как по ночам он вставал и ходил взад-вперед по галерее. Все было не просто.

Когда он вышел из тюрьмы, друзья сразу бросились помогать ему, устраивать на студии Тбилиси и Еревана, на ТВ в Москве. Но он не торопился, травма была велика: «Думаешь, после того, что я видел там, я могу сразу встать к аппарату и скомандовать «Мотор!»?» Когда же ему показывали на кого-нибудь, кто, вернувшись оттуда, продолжал творческую жизнь, он отвечал: «Воскреснуть могут мертвые, живым это труднее».

Он ненавидел всю «кинематографическую общественность» за то, что она в свое время не выступила в его защиту — как будто можно было что-нибудь изменить в том ужасе, который на него свалился! И кроме того, это было несправедливо: С.А. Герасимов и Л.А. Кулиджанов, Юрий Никулин, Софико Чиаурели и братья Шенгелая пытались облегчить его участь, но при всем их авторитете — безрезультатно.

Когда он вернулся, друзья с Московского ТВ предложили ему короткометражку, «для разгону, а уж затем что-нибудь большое». Он не пошел даже разговаривать. Георгий Шенгелая договорился в Армении, что Сереже дадут там постановку, но он не откликнулся на пригла-



*Его никогда не устраивала обычная фотография*

шение. Думаю, что он не хотел и не мог снимать то, что не придумано им самим.

Я был свидетелем одной такой истории. Параджанову предложили сделать картину о скульпторе Н. Никогосяне — для ТВ Армении. Всю организацию Никогосян брал на себя, Сереже оставалось только творчество. Три дня будущий герой картины звонил нам (в Москве Сережа остановился у нас), уговаривал его приехать в мастерскую, посмотреть работы, поговорить. Наконец перезвон утих, в два часа его ждали завтракать, утрясать дела с представителями постпредства и телестудии. Все серьезно, солидно, Сережа проникся ответственностью и поехал. В три часа звонит Никогосян: «Где Сергей?» — «Поехал, ждите». В четыре опять звонок: «Его нет! Вся еда стынет, а напитки, наоборот, греются! Культуратташе обескуражен...»

Так его и не дождались. Вечером заявился домой с ящиком посуды, купил в комиссионке.

Мы изругали его, как умели, а ему хоть бы хны: «Чудаки, вы лучше посмотрите, какой я откопал для вас молочник».

Через два дня, когда поутихли трехсторонние армянские страсти (Никогосяна, Параджанова и Катаняна), его все же удалось запихнуть в мастерскую к Никогосяну. Вернулся умиротворенный: скульптуры понравились, о фильме договорились. Но когда надо было ехать в Армению, он снова выступил в роли Подколесина, и все опять ушло в застолье, в подарки, в фантазии. .. В то время я часто задавался вопросом: почему он не хочет снимать? Может быть, он боялся сделать очередную картину слабее «Теней»? Или ему — после всего пережитого — был не под силу адский процесс, именуемый съемкой фильма? Может быть, он подсознательно избегал этого труда — не только творческого, но и физически тяжелого, с жесткими сроками, дисциплиной и ответственностью? Или не хотел опять подчиняться? Ответ получался далеко не однозначный и далеко не полный. Но я не мог забыть его фразу насчет живых, которым воскреснуть труднее, чем мертвым...

Вскоре он стал говорить, что мечтает снять «Давида Сасунского». На «Арменфильме» за это ухватились, но Москва не разрешила. Сережа усмотрел в этом козни лично против него, но Ф.Т. Ермаш объяснил это сложными отношениями с арабами, которые сложились в то время. Сейчас, мол, не до «Сасунского». Не знаю, кто там прав, но постановку ему не дали. А он рассказывал очень увлеченно и собирался делать фильм на отбросах, как свои коллажи.

Сережа — как Дягилев, Кокто, Кузмин, Радлов — человек разносторонний. Он мог бы реализоваться в любом занятии: оформлять представления, витрины, кафе, делать кукол, учить, консультировать, устраивать выставки... Ничего этого он не хотел, хотя делал бы все блестяще. Ведь соорудил же он у себя на подоконнике витрину для Ива Сен-Лорана: четыре куклы в огромных шляпах с цветами, в пышных кружевных платьях, а напротив них, в упор, — стоптанный валенок. Что это?

— Неужели не видишь? Это великие княжны Мария, Татьяна, Ольга, а вот это Ксения. Узнаешь? Их расстреливают из валенка.

— Очень здорово! Но при чем здесь Сен-Лоран?

— Он прислал мне приглашение в Париж.

Композиция замечательная, и оставалось только жалеть, что ее никто не видит. «Когда-нибудь, — подумал я, — этих очаровательных кукол будут тщательно реставрировать для музея». Далеко ли ходить за примерами?

Из моего дневника, 12 января 1982 года:

«Он не может заранее ничего спланировать, да и бесполезны были бы эти планы. Он фантазирует, творит то, что видится в этот миг, то, что явилось внезапно из детства, из прошлого, из вчерашнего дня или из сегодняшнего, он отдает свои фантазии, прозрения и просто «мо» тому, кто сидит напротив».

Написано не о Параджанове, но будто о нем. Это о другом художнике — Юрии Олеше.

Я все больше убеждаюсь, что Сережа ничего не читал и не читает, литературу знает крайне плохо, о некоторых всемирно известных авторах и слыхом не слыхивал. Зато живопись и архитектуру знает отлично, в иранском искусстве и Ренессансе ориентируется, как у себя дома. Лишенный возможности видеть иностранных гастролеров, полотна зарубежных художников и современные фильмы, он как-то обо всем догадывается, чувствует, даже порой предвосхищает.

После обеда смотрели с ним монографии Шагала и Малевича, Филонова и Якулова — все было для него открытием, но обо всем он судил так точно и серьезно! Понимал сразу, с полувзгляда.

Вчера устроили ему билет на «Анну Каренину». Пришел, потрясенный балетом, долго молчал. Наутро говорит: «Вы не понимаете, что у вас под боком. Вы это видите каждый день и потеряли ощущение чуда (мы его успокоили, что не потеряли). У Плисецкой искусство новаторское. Я не видел, как танцуют за рубежом, но у нас она давно авангардистка. То, что делает Майя, не делал никто. Вот Любимов. Я его очень люблю. Но его искусство реанимационное. Так ставили и до него, правда давно. Он оживляет». (Насчет Любимова мы с ним не согласились, но переубедить его не может никто — ни мы, ни Бог, ни царь и ни герой...)

При всей его эмоциональности, спонтанности и разбросанности — сосредоточенность на творчестве. Все умеет сравнить и дать точную характеристику. Часто убийственную.»



## «Он делает искусство из всего»

Зимой 1981 года Сережа гостил у нас, и 5 декабря к нему пришел Андрей Тарковский. Они очень любили и ценили друг друга.

Пока Сережа колдовал на кухне, мы разговаривали, и Андрей сказал: «Он делает не коллажи, куклы, шляпы, рисунки или нечто, что можно назвать дизайном. Нет, это другое. Это гораздо талантливее, возвышеннее, это настоящее искусство. В чем его прелесть? В непосредственности. Что-то задумав, он не планирует, не конструирует, не рассчитывает, как бы сделать получше. Между замыслом и исполнением нет разницы: он не успевает ничего растерять. Эмоциональность, которая лежит в начале его творческого процесса, доходит до результата, не расплескавшись. Доходит в чистоте, в первозданности, непосредственности, наивности. Таким был его «Цвет граната».

Я не говорю о его неангажированности. Тут дело даже не в этом. Он для всех нас недосягаем. Мы так не можем. Мы служим».

Это была их последняя встреча. Тарковский уезжал в Италию. Он сказал: «Сережа, ты знаешь, что я небогат. Единственная моя драгоценность — этот перстенок с изумрудом. И я хочу, чтобы он был у тебя. Ты ведь любишь такие вещи».

У Сережи навернулись слезы.

В тот вечер у нас был оператор Александр Антипенко, друг Параджанова, и он всех сфотографировал.

Вообще каждый раз, когда Андрей Арсеньевич и Сергей оказывались в одном городе, они обязательно встречались. В 1978 году Тарковский приезжал в Тбилиси с творческими вечерами.

Рассказывает его бывший ассистент Александр Атанесян:

«Я помню первый приезд Тарковского в Тбилиси, потому что работал в организации, которая устраивала его вечера. Я приехал на вокзал, и тут в толпе встречающих вдруг появился странный тип: кепка из дерматина фасона «хинкали», плащ будто выкрашен чернилами, свитер задрался, и живот сверкает, стоптанные туфли без носков, в сиротских полосатых брюках, с каким-то пыльным букетом. Вид городского сумасшедшего. Кто такой, думаю? Вдруг подходит тетка: «Дядя, цветы продаете?» — «Да». — «Сколько хотите?» Он показывает на толпу ребят: «Вот мои племянники, поцелуйте их по одному разу — и букет ваш». — «Я серьезно». — «Я тоже серьезно». Она, смеясь, ушла, он погнался за ней: «Давайте три рубля». Она дает рубль, они торгуются, все в недоумении застыли. Тут я услышал его фамилию. Так это чудело — знаменитый Параджанов?»

Он возвращается без букета, спрашивает: «Ты знаешь, кто я?» — «Да, меня предупредили!». — «А у тебя как у армянина сердце не екнуло?» — «Нет». — «А кто ты такой?» — «Занимаюсь выступлениями Тарковского». — «Какая гостиница?» — «Иверия». — «Значит так: поезд опаздывает, поедem в отель, накроем стол и украсим ему номер».

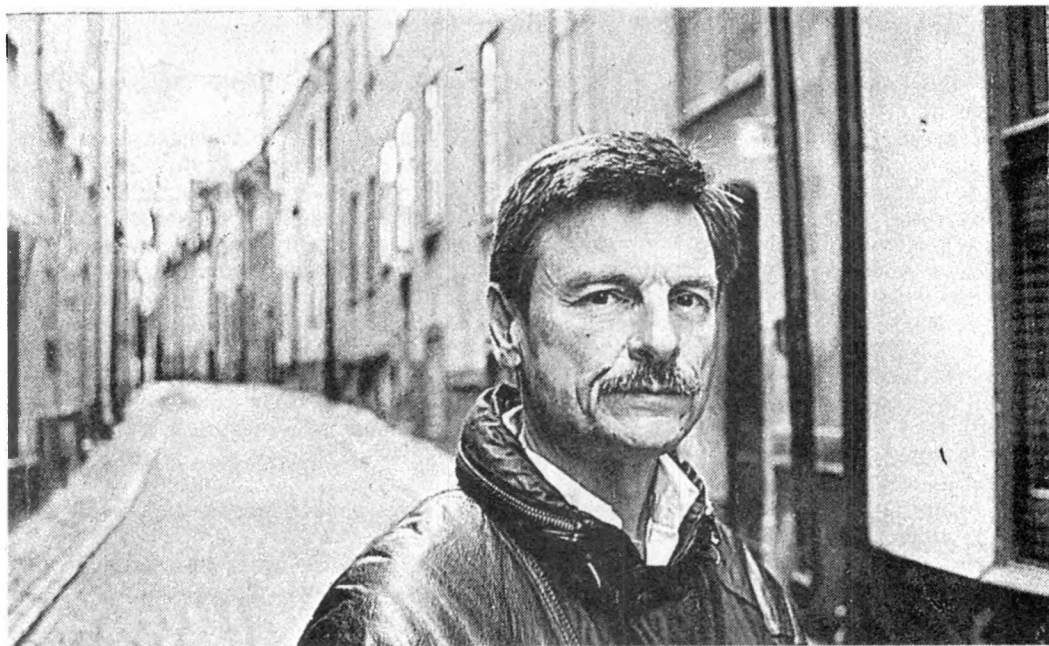
Таким был первый контакт с Сережей — постановка. Действительно, поехали в гостиницу гурьбой, что-то привезли с собой и накрыли стол.

Сережа был все время с Андреем Арсеньевичем, ходил на его вечера, возил в Мцхету, в какой-то монастырь, к себе на дачу. Идут они с Тарковским по Руставели, все с Сережей здороваются, и он говорит каждому: «Хочешь, я тебе за пять рублей покажу живого Тарковского?» А тот рядом. Люди платят и смеются. «А хотите, за три рубля — его сына?» Ему дают деньги, и он показывает на мальчика.

Десять дней Тарковский бывал у Сережи дома и однажды разговорился с его сестрой, Анной Иосифовной. «Сережа гений», — сказал он. «Какой он гений! Снимает диафильмы, а ведет себя так, будто поставил «Клеопатру...» Тарковский очень смеялся и сказал Сереже, что еще неизвестно, кто из них талантливее — он или Аня.

Тарковский был выдержан, скромен, всегда элегантен. Мы ходили на выставку одного художника, и Сережа заставил Андрея Арсеньевича выступить. Тот произнес несколько теплых слов, а когда отошли, сказал: «Сережа, я тебя прошу, никогда не заставляй меня выступать, ибо я вынужден был соврать, мне не нравятся его работы, но я не могу обидеть человека в день его праздника». Он был очень тактичный».

Но вернемся в Москву. Зимой 1981 года, за несколько дней до встречи у нас дома, Сережа пригласил друзей в ресторан «Баку» — Ахмадулину, Тарковского, Любимова, Мессерера, много было народу. Помню, что Тарковский скромно сидел с краю, весело улыбался и буквально не сводил глаз с Сережи. Он смотрел на него с восхищением.



*Андрей Тарковский*

А в феврале 1982 года, когда Параджанова вновь арестовали, Тарковский пришел к нам сильно взволнованный: «Через неделю я буду в Италии. Что можно сделать, к кому обратиться, чтобы помочь Сереже? Просить армянскую общину? Феллини? Ренато Гуттузо?»

Он долго смотрел на его работы, не торопясь уйти из дома, где было их последнее свидание. Я вышел проводить его до троллейбуса. Было темно, сильная метель обжигала лицо, и мы шли спиной. На мое чертыханье Тарковский заметил: «Сереже сейчас несоизмеримо хуже. Не-со-из-ме-ри-мо!» Я запомнил это дословно.

Активный устроитель выставок русского авангарда в Берлине, известный искусствовед и эссеист Натан Федоровский в последние годы жизни Андрея Тарковского был с ним дружен и записал несколько бесед, где Андрей Арсеньевич говорил, в частности, о Параджанове.

«Вообще Андрей о Параджанове рассказывал часто, и я впервые узнал о нем с его слов. Когда в 1982 году Тарковский приехал в Италию, я сказал ему о намерениях «Ханзаферлага» сделать книгу о выдающихся советских кинорежиссерах.

— Я могу назвать только Параджанова, — ответил Тарковский. — Он единственный, кто этого заслуживает. Больше писать книгу не о ком. Он делает искусство из всего: накроет стол к ужину — искусство, поставит в стакан засохшую ветку — искусство, сдвинет кадр всего на сантиметр — и вы ахнете... И никто о нем ничего не пишет, а если пишут, то не печатают. Особенно сейчас о нем нужно писать — он опять за решеткой. Он сидит за то, что остается художником. Устроили какую-то дурацкую провокацию, которая может стоить ему жизни. Он же больной, у него диабет. Сегодня нужно писать о нем не книгу, а статьи в газетах, письма правительству, кричать на всех углах. Нужно спасать его!»

Он сказал, что связался по этому поводу с Бергманом, Феллини, Гуэррой и Гуттузо... Он надеялся на их помощь.

Второй раз мы с ним разговаривали о Параджанове в Лондоне, где Тарковский ставил в Коvent-Гардене «Бориса Годунова». Он рассказывал, как Параджанов умеет мистифицировать и делать сумасшедшие трюки из ничего. Например, Тарковский был убежден, что «Сережа никогда не читал «Бориса Годунова», но, разговаривая с ним на эту тему, вы этого не ощутите. Наоборот, он даже предложит совершенно блестяще перепоставить какую-нибудь сцену. Сережа вообще считал, что вовсе не все надо читать и не все надо смотреть, он отлично обходился без этого. И — самое поразительное — это ничуть не мешало его творчеству. Вы заметили, что на экране у него почти ничего не происходит, а зритель медленно погружается в созерцание красоты?...»

Незадолго до съемок «Жертвоприношения», встретившись с Тарковским в Берлинской



*5 декабря 1981 г. Последняя встреча Тарковского и Параджанова*

киноакадемии, Натан Федоровский спросил его:

— Вы согласны с тем, что сегодня западная пресса провозгласила в России «золотой век» кино и его представителями названы Параджанов, Иоселиани и вы?

— Ну я назвал бы еще Сокурова. Что же касается Сергея, то он действительно работает свободно и раскованно, без комплексов и предрассудков. Он делает что хочет, несмотря на все тюрьмы, где он проводит времени больше, чем в кинопавильонах. В СССР не запугать человека невозможно, но его все же не запугали. Он, пожалуй, единственный, кто в своей стране олицетворял афоризм «Хочешь быть свободным — будь им!».

В своей книге «Запечатленное время», изданной в Германии в 1985 году, Андрей Тарковский, в частности, писал: «В истории кино мало гениальных людей — Брессон, Мидзогути, Довженко, Параджанов, Бунюэль... Ни одного из этих режиссеров нельзя спутать друг с другом. Каждый из них шел своим путем — возможно, что с известными слабостями и странностями, но всегда ради четкой и глубоко личной концепции».



**Редакция журнала «Киносценарии» открывает галерею «Дом Нащокина» при Международном художественном фонде в мае 1994 г. Галерею откроет экспозиция работ Михаила Шемякина.**



**Редакция нашего журнала выражает огромную благодарность руководителям банка «Империал» за спонсорскую поддержку в организации художественной галереи «Дом Нащокина».**

## Валерий Фрид:



Фото А. Никольского

**У моего любимого Феллини одно название я украл уже давно: воспоминания о Каплере и Смелякове, опубликованные в альманахе «Киносценарии», озаглавлены «Амаркорд-88». С легкими угрызениями совести краду второе. 58 — это «политическая» статья старого УК, в которой было полтора десятка пунктов. Наш, восьмой — «террор» — как раз посередине, на полпути.**

58 <sup>1</sup>/<sub>2</sub>**I. Москва — Подольск — Москва**

В отличие от большинства моих близких друзей — и особенно подруг — я человек толстокожий, с малочувствительной нервной системой и бедным воображением. Вежливо слушаю, но скучаю, когда рассуждают про летающие тарелочки, снежного человека, Нострадамуса, бабу Вангу и бывших супругов Глоба. Никаких предчувствий у меня сроду не бывало, а что касается вещих снов, то я и простых, невещих, не вижу.

Не было у меня предчувствия беды и в день, сильно изменивший мою биографию — 19 апреля 1944 года.

Мы — то есть я и моя невеста Нинка — стояли на перроне Курского вокзала. Стемнело, шел унылый, прямо-таки осенний дождик, и Нинкино лицо было мокрым — наверное, от дождя, но мне хотелось думать, что от слез: она ведь провожала меня в армию, а до конца войны было больше года. Вот у нее что-то вроде предчувствия было:

— Я чувствую, ты очень плохо поедешь.

А я ее разубеждал: почему это плохо? Всю войну в эвакуации я катался без билета, на подножках вагонов, на буферах, а то и на куче каменного угля — голышом, чтобы не запачкать одежду. А сегодня я ехал добровольцем в часть, и мне в военкомате дали вместе с направлением билет до Тулы — и представьте, в купейный вагон. Замечательно поеду, так я и не ездил никогда!

Но она талдычила свое:

— Нет, я чувствую: плохо поедешь.

Для себя я это истолковал просто: конечно, ей грустно расставаться неизвестно на сколько с парнем, влюбленным до слепоты. Она-то меня совсем не так любила, но относилась хорошо, в этом я не сомневался — почему же не поплакать на прощанье?

Очень гордый собой и Нинкиными слезами, я обнял ее, поцеловал и поехал в 38-й учебный запасной полк. Но до Тулы не доехал.

Только я расположился на своем месте и

по-хозяйски расстелил шинель, чтобы поспать по-человечески, как дверь открылась и в купе вошли трое: проводник, милиционер и штатский.

— Ваши билеты, пожалуйста.

На билеты трех других пассажиров они глянули мельком, а моим заинтересовались.

— Тут что-то не так, — сказал штатский. — Что за нитки?

Я объяснил, что нитками сшили все мои проездные документы в военкомате.

— Нет, это надо проверить. Сейчас будет Подольск, сойдем, выясним.

Тут я забеспокоился, даже заволновался. Стал втолковывать им, что вот, первый раз за всю войну еду как человек, в хорошем вагоне...



*Та самая Нинка*

Слезем, а как потом добираться до Тулы?

— Да ты не бойся, — утешил меня штатский. — Проверим, и поедешь дальше этим же поездом.

До Подольска было ехать еще с полчаса. Проводник вышел из купе, а с двумя оставшимися мы коротали время в дружеской беседе. Услышав, что я был студентом ВГИКа, они проявили естественный интерес к киноискусству: правда ли, что Любовь Орлова — жена режиссера Александра? Да, правда.

Поезд остановился. Мы выскочили из вагона. («Ребята, давайте побыстрее! — торопил я. — Хочется поспеть до отправления. Ведь на буферах ездил, на подножках, а тут...») — «Да поняли мы, поняли. Успеем.») Бегом мы промчались вдоль состава, вбежали в комнату железнодорожной милиции — в торце станционного здания. Там нас встретил низкорослый субъект в хромовых сапогах и пальто неприятного серо-зеленого цвета. Физиономия у него была тоже неприятная.

— Расстегнитесь.

Я расстегнул шинель; он быстро и умело обыскал меня. Теперь я сказал бы «прошмонал» — но тогда я лагерной фени не знал. И тем не менее — сам не понимаю, почему — спросил совсем по-лагерному:

— Чего ищешь, начальник?

— А что? Ничего нет?

К моему удивлению, он отстегнул цепочку английских булавок, которые мама прицепила к нагрудному карману, и отложил в сторону.

Трудно поверить, но я ведь и после этого ничего не заподозрил! Я же говорю: бедное воображение.

Милиционер куда-то исчез, а я с двумя штатскими опять помчался по платформе — в обратном направлении. Опять попросил:

— Быстрее, ладно?

И опять мне ответили:

— Успеем.

Но вместо того чтобы посадить меня в вагон, мои провожатые свернули направо. Мы пробежали через зал ожидания и оказались на привокзальной площади. Там стоял — прямо как в дешевом романе — «черный автомобиль с потушенными фарами». А попросту — черная эмка.

Вот тогда — только тогда! — я понял: это арест. За что, почему — этого я не успел подумать. Да в те времена арест был таким привычным, неприятным, но никого не удивлявшим делом, как, скажем, дождь или мороз. Я даже не испугался. А в голове промелькнули две коротенькие мысли. Об одной я вспоминаю с удовольствием, о второй — со стыдом. Собственно, первая была даже не



### *За год до ареста*

мысль, а так, виденье. Мне представилось какое-то помещение, где на грязном полу спят вповалку плохо одетые люди — то, что я часто видел в эвакуации, хотя бы на вокзалах. «Десять лет. Переваляемся!» — с уверенностью сказал мне так называемый внутренний голос.

А вторая, стыдная, мысль была такая: в рюкзаке у меня две банки, сгущенка и свиная тушонка; я их собирался съесть в Туле вдвоем с Юликом Дунским, а теперь имею право съесть все один.

Юлик тоже пошел добровольцем и получил направление в ту же часть. Только он уехал на четыре дня раньше. Когда через год мы встретились в Бутырках, выяснилась, кстати, тайна моего купейного вагона. Юлику дали билет в общий; там было тесно, и он пошел искать, где попросторней. Поэтому чекистам пришлось в поисках «объекта» пройти чуть ли не полсостава; Подольск проехали и в Москву возвращались с добычей поездом. Неудобство, конечно. Вот почему мне дали билет в купе, с точно обозначенным местом\*.

А вообще-то, как подумаешь — к чему такие сложности? Позвонили бы по телефону, сказали: «Возьмите сухари, кое-что из белья и

явитесь в такую-то комнату на Лубянку». Явились бы как миленькие, без звука!.. Но нет, они играли в свои игры: мы вроде настоящие преступники, а они вроде настоящие сыщики. Казаки-разбойники!..

Так вот, посадили меня в черную эмку, и мы поехали. Сопровождающие поглядывали на меня с пакостными улыбочками. Могу их понять: такого доверчивого идиота им, видимо, еще не приходилось арестовывать\*\*.

— На Лубянку везете? — мрачно спросил я.  
— Куда надо, — весело ответили они.

И на этом окончилась моя вольная жизнь. Могу только добавить, что когда доехали «куда надо», а именно на Малую Лубянку, и машина остановилась в ожидании, пока откроются железные ворота — прямо напротив костела, — я заговорил. (А по дороге молчал, к их разговоранию: наверное, хотели бы, чтоб уговаривал отпустить, уверял, что это недоразумение — я ни в чем не виноват.) Заговорив, сказал:

— Дайте поссать.

Они разрешили, и я с удовольствием пописал на свою первую тюрьму.

## Примечания автора

\* В военкомате, конечно, знали, что по дороге в часть нас арестуют. Вот почему, когда я пришел за документами, в комнату сбежались сотрудники из других отделов. Они смотрели на меня с интересом; а сейчас мне кажется, что и с жалостью — по крайней мере один из них, интеллигентного вида еврей капитан.

\*\* «Здесь Гете ошибается». Им приводилось арестовывать и не таких: Юлик Дунский вел себя еще глупей. Когда его привезли на Лубянку и ввели в кабинет, где сидели два подполковника и майор, один из офицеров сказал:

— Ну, товарищ Дунский, догадываетесь, почему вы здесь?

И он решил, что его как добровольца, да еще знающего немного немецкий язык, хотя бы послать в школу, где готовят разведчиков. Он тонко улыбнулся и ответил:

— Догадываюсь.

— Тогда садитесь и пишите показания о своей антисоветской деятельности.

— Пардон, — сказал Юлик. — Тогда не догадываюсь.

Происходил этот разговор 15 апреля 1944 г.

## II. ГИМНАЗИЯ

На тюремном жаргоне тех лет у каждой из

московских тюрем была кличка: Сухановка называлась «монастырь», Большая Лубянка — «гостиница». Ее гордостью были паркетные полы: до революции в этом высоком здании, огороженном со всех сторон серыми кагэбэшными громадами, помещалась гостиница страхового общества «Россия». Острили: раньше страховое, теперь страховое. А Малую Лубянку, двухэтажную внутреннюю тюрьму областного НКВД, нарекли «гимназией». Говорят, там когда-то действительно была женская гимназия.

Привезли меня туда ночью и сразу же повели на допрос. В большом кабинете было четверо чекистов: полковник, подполковник и два майора. Майоры помалкивали, а старшие вели допрос. Один из них, благообразный блондин, был серьезен и вежлив, другой, видном погаже, время от времени симулировал вспышку праведного гнева и ни с того ни с сего принимался материть меня. Известная полицейская игра — «добрый» следователь и «злой». Но я-то с ней познакомился впервые.

А вообще ничего особенного в тот раз не произошло. Мне предъявили бумагу, в которой было сказано, что я участник антисоветской молодежной группы — а про террор, который в нашем деле стал главным пунктом обвинения, не говорилось ни слова. Фамилии полковника и подполковника я забыл, майоров почему-то запомнил: один, черноволосый, с красивым диковатым лицом, был Букуров, а другой, похожий на артиста Броневского в роли Мюллера, был Волков. С Букуровым я больше не встречался, а с Волковым беседовал несколько раз и об этом расскажу позже.

По окончании допроса меня отвезли в бокс — маленькую, примерно два на полтора, камеру без окон и без мебели. Надзиратель отдал мне мамини олады из сырой картошки, открыл тушенку и банку сгущенного молока. Все это я тут же сожрал, не почувствовав, впрочем, вкуса, расстелил на полу шинель\* и сразу заснул очень крепким сном. Разбудил меня, не знаю через сколько времени, пожилой надзиратель — пошевелил сапогом и сказал с неодобрением:

— Пахали, что ли, на них...

И отвел меня в камеру.

О камерах и сокамерниках будет отдельный разговор, а пока что о следователе Волкове. Похоже, что на Малой Лубянке он был главным интеллектуалом — тем, что англосаксы называют «mastermind». Не он ли сочинял сценарии наших дел?

На допросах Волков придерживался роли строгого, но справедливого учителя. Его огорчала малая сообразительность ученика: представляете, Фрид не знает даже разницу между

филером и провокатором?! Я действительно не знал.

В первый же день я признался: да, мы с ребятами говорили, что брать плату за обучение — это противоречит конституции. Говорили и про депутатов Верховного Совета, что они ничего не решают. Но когда я пытался протестовать: разве это антисоветские разговоры? — Волков, вздохнув, терпеливо разъяснял мне, что к чему.

— Сознаться, Фрид, вы сказали бы об этом у себя в институте, на комсомольском собрании?

— На собрании? Нет, не сказал бы.

— Так как же называть такие высказывания? Советские?

— Ну... Не совсем... Несоветские.

— Фрид, вы же интеллигентный человек. Будьте логичны. Несоветские — значит антисоветские. Великий гуманист Максим Горький очень точно сформулировал: кто не с нами — тот против нас.

— Но почему антисоветская группа?

— Что же, вы сами с собой разговаривали?



*Будущие участники антисоветской группы: Юлик Дунский, Алеша Сухов, Валерик Фрид /слева направо/. 9-ый класс.*

— В компании друзей.

— Давайте я вам покажу толковый словарь Даля или Ушакова... Компания, группа — это же синонимы! Заметьте, никто не говорит, что у вас была антисоветская организация. Группа. Группа была... Вы согласны?

Я соглашался. Сначала с тем, что несоветское и антисоветское — это одно и то же,

потом что группа — это не организация, потом еще с чем-то, и еще, и еще. Соглашался, хотя уже понимал: коготок увяз — всей птичке пропасть. Но ведь мы не считали себя врагами; комсомольцы, нормальные советские ребята, мы чувствовали за собой вину — как учителя, нарушившие школьные правила. И изо всех сил старались доказать учителям, что мы не такие уж безнадежные: видите, говорим правду; то, что было, честно признаем.

Если бы мы и вправду были участниками вражеской группы или там организации — это для них разницы не составляло, — то и держались бы, думаю, по-другому. Хитрили бы, упирались изо всех сил. Конечно, под конец они все равно сломали бы нас — но не с такой легкостью. Меня ведь и не били даже. Сажали два раза в карцер\*\* на хлеб (300 г) и на воду; держали без сна пять суток — но не лупили же резиновой дубинкой, не ломали пальцы дверью.

На основании личного опыта я мог бы написать краткую инструкцию для начинающих следователей-чекистов: «Как добиться от подсудимого нужных показаний, избегая по возможности мер физического воздействия».

Пункт I. Для начала посадить в одиночку. (Я сидел дважды, две недели на Малой Лубянке и месяц на Большой.)

Пункт II. Унижать, издеваться над ним и его близкими. («Фрид, трам-тарарам, мы тебя будем судить за половые извращения». «Почему?» — «Ты, вместо того чтобы е... свою Нинку, занимался с ней антисоветской агитацией».)

Пункт III. Грозить карцером, лишением передач, избиванием, демонстрируя для наглядности резиновую дубинку.

Пункт IV. Посадить к нему в камеру хотя бы одного, кто на своей шкуре испытал, что резиновая дубинка — это не пустая угроза. (С Юликом Дунским сидел Александровский, наш посол в довоенной Праге. Его били так, что треснуло небо. А я чуть погодя расскажу о «террористе» по кличке Радек.)

Пункт V. Через камерную «наседку» внушать сознание полной бесполезности сопротивления... и т.д.

Думаю, что подобная инструкция существовала. Во всяком случае, все мои однодельцы подвергались такой обработке. Различались только частности: так, Шурику Гуревичу его следователь Генкин, грузный медлительный еврей, говорил:

— Гуревич, лично я не бью подсудимых. Я позову трех надзирателей, вас положат на пол, один будет держать голову, другой ноги, а третий будет бить вас по пяткам вот этой дубинкой. Это очень больно, Гуревич, —



дубинкой по пяткам!

Гуревич верил на слово и подписывал сочиненные Генкиным «признания». Излюбленную следователями формулу «готов дать правдивые показания» мы несколько изменили (в разговорах между собой, конечно): «готов дать любые правдивые показания». Должен сказать, что после первых недель растерянности и острого ощущения безнадежности к нам возвратилась способность шутить, относиться к своему положению с веселым цинизмом. Ведь мы были довольно молоды — 21—22 года; а кроме того, инстинкт самосохранения подсказывал, что чувство юмора поможет все это вынести.

Ну разве можно было без смеха выслушивать такое:

— Вы с Дунским пошли в армию добровольцами, чтобы к немцам перебежать.

— Расстегнуть ширинку, показать?

— Ты эти хохмочки брось! Знаешь, сколько на этом стуле сидело евреев — немецких шпионов?! — Это говорилось с самым серьезным видом. Впрочем, у них доставало здравого смысла эту версию не развивать: хватало других обвинений. А в том, что мы все подпишем, они не сомневались.

Меня следователь пугал:

— Мы из тебя сделаем мешок с говном!

— А из говна конфетку? — слабо окусывался я.

Близко познакомился с резиновой дубинкой Юлик Дунский. Было это так. В середине следствия (а мы провели на Лубянке почти год) Юлика повели на допрос не к его следователю, а куда-то в другое место. Ввели в комнату, где сидел за маленьким столом и что-то писал незнакомый офицер; подвели к шкафу — обыкновенному платяному шкафу с зеркальной дверцей — и сказали:

— Проходите.

Он не понял, даже немного испугался: в шкаф? Может, это камера пыток? Но шкаф оказался всего лишь замаскированным тамбуром перед дверью генерала Влodziмирского — начальника следственной части по особо важным делам.

Генерал был импозантен: не то поляк, не то еврей с черными бровями и седыми висками.

— Садитесь, Дунский, — сказал он. — И расскажите мне откровенно, что у вас там было.

И Юлик решил, что вот, наконец, появился шанс сказать большому начальнику всю правду, раскрыть глаза на беззакония его подчиненных: ведь не было же никакой «антисоветской группы», никаких «террористических высказываний» — все это выдумка следователя; все наши «признания» — липа!. Он стал

рассказывать, как мы вернулись из эвакуации, встретились в Москве со школьными друзьями, с Володькой Сулимовым, побывавшим на фронте и тяжело раненным, с его женой Леночкой Бубновой, с Лешкой Суховым, Шуриком Гуревичем... Да, разговаривали, да, высказывали некоторые сомнения, но чтоб готовить покушение на Сталина — это же бред, честное слово, такого не было и быть не могло!..

Генерал слушал-слушал, потом изрек:

— Я надеялся, что вы чистосердечно расскажались, а вы мне рассказываете арабские сказки?!

Достал из ящика резиновую дубинку — такую каплевидную, с гофрированной рукояткой, — вышел из-за стола, замахнулся и изо всей силы ударил по подлокотнику кресла, в котором сидел Юлий. Тот держал руки на коленях. Отнял ладони — и увидел на брючинах влажные отпечатки: так моментально вспотели руки в ожидании удара.

Юлик рассказывал, что на него навалилось такое отчаянье, такая злость — в том числе на себя, за глупую доверчивость, — что он крикнул:

— Я думал, вы действительно хотите узнать правду. Но вам не это нужно... Не буду ничего говорить!

Влodziмирский постоял немного, помахивая дубинкой, потом бросил ее на стол. Приказал:

— Уведите этого волчонка.

И волчонка повели обратно в камеру.

Меня к Влodziмирскому не водили; вот у Шварцмана, его заместителя, я побывал — в конце следствия. Это был тучный человек с лицом бледным от бессонницы. На воле я бы его принял за перегруженного работой главного инженера какого-нибудь большого завода.

— Фрид, — сказал он внушительно. — Мы вас, может быть, не расстреляем.

— Я знаю.

Он поглядел на моего следователя майора Райцеса, потом на меня и спросил:

— А как вы думаете, сколько вам дадут?

На их лицах я увидел выражение обыкновенного человеческого любопытства.

— Десять лет.

— Ну и как?

— Хватит с одного еврейского мальчика.

Оба хихикнули, и на этом разговор окончился. Меня действительно не расстреляли. Расстреляли самого Шварцмана — в 53-м вместе с Влodziмирским и другим заместителем следственной части по ОВД полковником Родосом.

Этот заслуживает отдельного рассказа.

Он зашел поглядеть на меня перед нашим переводом с Малой на Большую Лубянку. Маленький, рыжий, с неприятной розовой физиономией, он в тот раз был в штатском — в светло-сером хорошем костюме. Снял пиджак, повесил на спинку стула и стал расхаживать по кабинету, заложив за спину короткие ручки, поросшие рыжим пухом. На брючном ремне — прямо на копчике — была у него желтая кобура крохотного пистолета. По-моему, он нарочно повернулся ко мне задницей, демонстрируя эту кобуру — видимо, представлял себе зловещей и романтической фигурой.

К этому времени я уже признался во всех несуществующих грехах и твердо стоял только на том, что о наших «контрреволюционных настроениях» ничего не знали Нина Ермакова, моя невеста, и два друга детства — Миша Левин и Марк Коган. (Я не подозревал, что они уже арестованы.) Мое упрямство Родосу не понравилось и, как сообщил мне мой следователь, полковник отозвался обо мне так: «По меньшей мере мерзавец, а может быть, и хуже». Странная формула; но фразу, мне кажется, достойную войти в историю, он сказал Юлику Дунскому:

— Про нас говорят, будто мы применяем азиатские методы ведения следствия, но (!) мы вам докажем, что это правда.

Это о Родосе рассказывал на XX съезде Хрущев:

— Этот пигмей, это ничтожество с куриными мозгами, осмеливался утверждать, будто он выполняет волю партии!

Речь шла о пытках, которыми Родос лично подвергал не то Эйхе, не то Постышева — точно не помню. Про Родоса я поверил сразу — такой способен. А вот когда прочитал недавно, что и Шварцман собственноручно пытал в 37-м кого-то из знаменитостей — удивился. В этом усталом пожилым еврее я не разглядел ничего злодейского. Урок дуракам. Помните, у Гейне: «Тогда я был молод и глуп»? (А дальше у него: «Теперь я стар и глуп».)

К слову сказать, в следственной части по особо важным делам евреев-следователей было много; правда, евреев-подследственных — еще больше. На Малой же Лубянке, в областном управлении, если и были среди следователей евреи, то, как пишут про гонокочков в лабораторных анализах, «единичные в поле зрения».

«Особо важные дела» вели майоры и подполковники, а областные — в основном старшие лейтенанты.

Мой был ст. лейтенант Николай Николаевич Макаров, «Макарка», как мы его звали — за глаза, конечно. А в глаза — гражданин

следователь.

Следствие — самая мучительная, полная унижений и отвращения к себе часть моей тюремно-лагерной биографии. А первый, самый тяжелый, период следствия у меня связан с Макаровым. Но, как ни странно, об этом человеке я думаю без особой злобы — скорее даже с чем-то похожим на симпатию. Это мне и самому не совсем понятно. Может, это и есть та таинственная связь между палачом и жертвой, о которой столько написано в умных книгах? Не знаю. Никаких мазохистских комплексов я за собой не замечал. Попробую подыскать какое-нибудь другое, рациональное объяснение.

Во-первых, я уже тогда понимал, что вся эта затея (наше «дело») не его изобретение. Человек служил, выполнял работу — грязную, даже отвратительную. Но разве виноват ассенизатор, что от него разит дерьмом? Конечно, мог бы выбрать и другое занятие, с этим я не спорю.

Во-вторых, в Макарове было что-то человеческое. Например, когда вечером ему принесли стакан чая с половинкой шоколадной конфеты, он эту половинку не съедал, а брал домой, для сынишки. Да, именно половинку: шла ведь война, и с кормежкой даже у энкавдистов — во всякой случае у этих, областных, — обстояло туго. Прodelывал он это каждый раз, слегка стесняясь меня; ребенка Макарка любил, гордился его талантами — тот учился не то в музыкальной, не то в рисовальной школе.

А вот однажды произошел такой случай.

Я уже знал, что моя невеста арестована; Макаров даже разрешил мне подойти к окну, поглядеть. Окно его кабинета выходило на прогулочный дворик. Пять-шесть женщин вывели на прогулку, и среди них была она. Женщины уныло ходили по кругу; лицо у Нинки было бледное и несчастное.

Кроме полуслепой матери на воле у нее никого не оставалось: отец, арестованный еще до войны, умер в тюрьме, брат был в армии. И я считал, что Нине никто не носит передач. (Потом-то узнал: носила подруга Марришка, дочь академика Варги.) Мне же передачи мама таскала регулярно. Граммов триста сыра из передачи я запищал в маленький полотняный мешочек, туда же втиснул шматок сала и десять кусочков сахара. Мешочек с трудом, но уместился в кармане, и я брал его на каждый допрос — авось уговорю Макарку передать это Нине. И представляете, уговорил в конце концов.

— Ладно, давай, — буркнул он и сунул мне листок чистой бумаги. — Заворачивай.

Мой мешочек он отверг: видимо, боялся,

что я — стежками или как-нибудь еще — передам Нинке весточку. Я принялся сворачивать кулек, но от волнения руки тряслись и ничего не получалось.

— Террорист хуев, даже завернуть не можешь! — Следователь взял у меня бумагу и продукты, очень ловко упаковал. И тут, на мою беду, открылась дверь и вошел его сосед по кабинету Жора Чернов. Ко мне этот Чернов не имел никакого отношения, просто их столы стояли в одной комнате. Но он — исключительно ради удовольствия — время от времени подключался к допросу и измывался надо мной как-то особенно пакостно. И морда у него была противная — как у комсомольских боссов из ЦК ВЛКСМ: румяных, наглых и почти всегда смазливых. Большая сволочь был этот Жора; недаром первым из своих коллег получил четвертую, капитанскую, звездочку на погон. Макаров его тоже не любил и побаивался.

Когда Чернов вошел в кабинет, Макаров растерялся. Сказал с жалкой улыбкой:

— Вот, уговорил меня Фрид. Передать Ермаковой.

Тот молча повел плечиком, взял что-то со своего стола и вышел.

Мой следователь заметал икру. Срочно вызвал надзирателя, чтобы присмотреть за мной, а сам выскочил из кабинета. Я слышал, как хлопнула дверь напротив: там сидел его начальник, Вислов. Важно было самому наступать на себя, опередить Чернова.

Через несколько минут Макаров вернулся расстроенный.

— Знаешь, Фрид, я вот что подумал: Ермаковой обидно будет. Вроде какая-то подачка. Мы лучше сделаем официально: ты напишешь заявление, я как следователь не возражаю... Получим резолюцию начальства, и ей передадут.

Глаза у него были правдивые-правдивые — как у пса, который сожрал забытую на столе колбасу и теперь вместе с хозяином удивляется: куда она девалась?

— Да не будет ей обидно. Передайте сами! — Нет, нет. На тебе бумагу, пиши.

Я написал заявление, прекрасно понимая, что толку не будет. Так оно и получилось — но все равно, этот эпизод я ставлю Макарке в заслугу.

Думаю, что и он по-своему симпатизировал мне. Выяснилась даже какая-то общность вкусов: он, как и я, терпеть не мог Козловского, а любил Лемешева.

Кто-то, наверное, удивится: нашли, что обсуждать во время допроса! Могу объяснить. По заведенному у них порядку допросы — в основном ночные — тянулись долго, до утра.

Следователь отработывал часы — а чем их заполнить? Что нового мог он узнать от нас? Обо всех предосудительных разговорах, тех, которые имели место в действительности, мы рассказали на первых же допросах. Теперь следователям предстояло написать — желательно с нашим участием — сочинение на заданную тему: как молодые негодяи готовили покушение («терактик», говорил Макарка) на Сталина. С этим особенно торопиться было нельзя: все-таки арестовано по делу четырнадцать человек, и все «признания» надо привести к общему знаменателю. Поэтому допросы выглядели так:

Надзиратель («вертухай», «дубак» — по фене) вводил меня в кабинет Макарова, сажал на стул, отставленный метра на два от стола следователя, и удалялся.

Макаров долго писал что-то, изредка поглядывая на меня: это входило в программу психологической обработки — предполагалось, что подсудимый томится в ожидании неприятного разговора, начинает нервничать. Но я почему-то не нервничал.

Наконец Макарка поднимал голову и говорил:

— Как, Фрид, будем давать показания или мндшкскать?

Последняя часть вопроса произносилась нарочито невнятно. Я переспрашивал:

— Что?

— Показания давать будем или мндшкскать?

— Что искать?

— Я говорю: показания давать или мандавошек искать?

Так на их особом следовательском жаргоне описывалась — довольно метко! — поза допрашиваемого: сидишь, положив руки на колени, и тупо смотришь вниз — на то место, где заводятся вышеупомянутые насекомые (по-научному — площади, лобковые вши).

— Я вам все рассказал, — повторял я в который уже раз.

— Колись, Фрид, колись!..

Иногда за этим следовала матерная брань — но матерился Макарка без вдохновения, по обязанности. Обещал, что пошлет меня «жопой клюкву давить» (это, как мне объяснили в камере, значило: ушлют на север, в карельские лагеря). А иногда, для разнообразия, грозился отправить меня «моржей драть» (т. е. на Колыму).

— Я все уже рассказал, — уныло твердил я.

— Смотри, сядешь в карцер!

— За что?

— За провокационное поведение на следствии.

Я не понимал и сейчас не понимаю, что в

моем поведении было провокационным. Тем не менее в карцере сидел — два раза по трое суток.

Иногда Макаров уставал от бессмысленного сидения больше, чем я; однажды он даже задремал, свесив голову на грудь. Я, грешным делом, подумал: это он притворяется, проверяет, как я себя поведу. Но Макарка вдруг схватил трубку молчавшего телефона и крикнул испуганно:

— Але!

Положил трубку, виновато улыбнулся: ему приснился телефонный звонок.

У него было неплохое чувство юмора. Как-то раз он показал мне надпись на папке с протоколами: «Дело N...» и сверху — «ХРАНИТЬ ВЕЧНО».

— Видал? Фрид умрет, а дело его будет жить!

И принялся подшивать в папку новые бумаги.

— Шьете дело белыми нитками? — заинтересовался я. Он без промедления парировал:

— Суровыми нитками, Фрид, суровыми.

Надо сказать, что был этот старший лейтенант до неправдоподобия безграмотен. Даже слово «террор», которое чаще всех других фигурировало в протоколах, он писал через одно «р». Особые нелады у него были с названием самого массового из искусств. Он писал его таким манером: «киномотография». Я поправлял:

— Кинематография!

— Ну нехай будет по-твоему, — добродушно соглашался он и писал: «кинематография». До конца все-таки не сдавался...

Когда нас перевели на Большую Лубянку, у меня появился другой следователь, красивый глупый еврей майор Райцес. (В первый день, пока он, тонко улыбаясь, молчал, я его принял за красивого умного грузина.) На одном из допросов я упомянул про неграмотность его младшего собрата с Малой Лубянки. Майор сделал вид, что пропустил это мимо ушей. Но вооружился толстым томом, который старался прятать от моих глаз, и часто сверялся с ним. Я решил было, что это у них какое-то руководство по ведению особо важных дел, и даже приуныл. Но таинственная книга оказалась орфографическим словарем.

Этот Райцес, разговаривая со своим начальником по телефону, поднимался со стула и стоял по стойке смирно — ей-богу, не вру!

Остроумием он, в отличие от Макарова, похвастаться не мог. Прodelывал со мной один и тот же номер: когда я просился в уборную, Райцес нарочно тянул время, заставляя меня повторять просьбу несколько раз. Я ерзал на стуле, сучил ногами; следователя это забавля-

ло. Между тем каждый раз, когда в конце концов майор заводил меня в уборную, он сам, я заметил, не отказывал себе в удовольствии облегчить мочевой пузырь. И я решил отыгаться: в следующий раз, на допросе, терпеть до конца и не проситься. Так и сделал. Чувствую, майор занервничал, заерзал в кресле.

— Что, Фрид? Небось хотите в уборную?

— Нет, спасибо.

Прошло еще полчаса. Райцесу просто нестерпимо, а я молчу. Он не выдержал:

— Идемте, Фрид. (Он, опять же в отличие от Макарки, обращался ко мне на «вы».) Идемте, я вижу, вы уже обоссались.

В уборной он стал торопить меня:

— Ну?! Что вы тянете?

— Спасибо, мне не хочется.

Это я, конечно, врал — еще как хотелось! С неудовольствием поглядев на меня, он построился к писсуару. Выдержав паузу, я подошел к другому, лениво произнес:

— Поссать, что ли, за компанию.

После того случая я отказался от своей дурацкой забавы. Предвижу, что читатель — если он добрался до этого места — возмутится: неаппетитно и не по существу. А где об ужасах Лубянки? Но я подрядился писать только о том, что было лично со мной. А кроме того, я всю жизнь не любил и не люблю громких звуков и патетических оборотов речи. Ужасы, лагерный ад, палачи — это слова не из моего лексикона. Было, было плохое — очень плохое! И вены я себе пытался резать, и — взрослый мужик! — заплакал однажды в кабинете следователя от бессилия доказать хоть что-нибудь, и на штрафняк попал, и с блатными дрался: могу предъявить три шрама от ножа. Но не хочется мне писать обо всем этом, гордясь страданиями. Мне куда приятней вспоминать те победы — пусть маленькие, незначительные — над собой и над обстоятельствами, которые в конце концов помогли вернуть самоуважение, начисто растоптанное в следовательских кабинетах. Но до этого было еще далеко: процесс нравственного выздоровления начался только после окончания следствия.

А пока что вернусь на Малую Лубянку, к ст. лейтенанту Макарову. Он, разумеется, знал, что никаких террористических намерений ни у кого из нас не было. Но был сюжет, сочиненный лубянскими мудрецами, по которому каждому отводилась определенная роль.

— А скажи по-честному, Фрид, — доверительно спрашивал Макарка (без свидетелей, конечно). — Ведь вы хотели его — к-х-х-р?!

Выразительным жестом он показывал, как накидывают петлю на шею и душат товарища

Сталина.

— Говорили ведь, что грузины живут до ста лет? А поэтому...

Здесь, наверное, самое время рассказать о сути дела — дела не в чекистском значении этого слова.

В конце сорок третьего года Юлий Дунский и я вернулись с институтом из эвакуации. Встретились со школьными друзьями и приятелями. Часто собирались то у меня на квартире (родителей в Москве не было), то у Володи Сулимова. Трепались, играли в «очко», иногда выпивали. Сулимов уже успел повоевать и вернулся домой по ранению: сильно хромал, ходил с палочкой. Он был женат на своей однокласснице Лене Бубновой, дочери старого большевика, наркома просвещения. И Володькиного, и Леночкиного отца расстреляли в 37-м. В наших разговорах мы, естественно, касались и этой темы. Причем Володя был уверен, что их отцов расстреляли зазря, а Лена, идейная комсомолка, не соглашалась:

— Володя, — говорила она, — ведь мы с тобой не все знаем. Что-то, наверно, было!

Леночкина верноподданность не спасла ее от ареста. Знакомство с этой парой и сыграло главную роль в нашем деле.

Меня часто спрашивают: а кто настучал на вас? Никто. Этого не требовалось.

Разговоры в Володиной квартире подслушивались: за стеной жило чекистское семейство, Сулимовых «уплотнили» после ареста отца. Узнали мы об этом уже на Лубянке, при довольно смешных обстоятельствах.

На одном из первых допросов у Юлика стали выпытывать, что он вез в армию в своем рюкзаке. Он перечислил: еду, белье, книжки...

— А еще? — И следователь предъявил ему запись разговора:

«Бубнова: «Юлик, не дай бог, ударится обо что-нибудь. Представляешь, что будет?!»

Дунский: «Не бойся, я обложил мягким».

Бубнова: «Нет, это опасно. Обернем бумагой и вложим в шерстяной носок».

— Ну, теперь вспомнил?.. Говори, что у тебя там было?! — нажимал следователь. И Юлик действительно вспомнил: это была не бомба, не граната — стеклянный флакон с жидким мылом, которое Лена дала ему в дорогу.

Не знаю, подслушивал ли кто-нибудь нашу болтовню в квартире у меня: для этого и микрофон не потребовался бы: одна из стенок была фанерной. Но их интересовали в первую очередь дети врагов народа: Бубнова и Сулимов.

Много лет спустя мы с Юлием выстроили целую теорию — думаю, очень близкую к истине. Когда окончилась гражданская война, все комиссары слезли с коней, отстегнули от

ремней маузеры и всерьез занялись половой жизнью. Поэтому у всех у них первые дети родились в двадцать первом — двадцать вторым году. В тридцать седьмом родителей — почти всех — посадили, а самых видных и расстреляли.

Дети были тогда школьниками, с ними не связывались. Но к концу войны они повзрослели, и кому-то на Лубянке пришла в голову счастливая мысль: пугать Сталина новой опасностью. «Конечно, товарищ Сталин, вы правильно сказали: сын за отца не отвечает. Но, с другой стороны, яблочко от яблони далеко не упадет. Волчата выросли, отрастили зубы и теперь хотят мстить за отцов. Собрали вокруг себя антисоветски настроенную молодежь и готовят террористические акты. Но мы, чекисты, начеку! Часть молодежных террористических групп уже обезврежена, доберемся и до остальных. Спите спокойно, товарищ Сталин!»

Так появились на свет дела, в которых фигурировали громкие фамилии: Бубнова, Сулимов... А в соседних кабинетах — Якир, Тухачевская, Уборевич, Ломинадзе... и т.д., и т.п. Оставалось только в каждом из этих липовых дел досочинить некоторые детали.

Наше «дело» выглядело так: Сулимов поручил Гуревичу изучить правительственную трассу. (Шурик Гуревич, студент-медик, ездил практикантом на машине «скорой помощи» — иногда и по Арбату.)

Фриду велено было притвориться влюбленным и ухаживать за Ермаковой, которая жила на Арбате.

Сам Сулимов, помреж на мосфильмовской картине «Иван Никулин, русский матрос», брался принести со студии гранаты, а Сухов — пулемет, который он снимет с подбитого под Москвой немецкого бомбардировщика.

Личную готовность совершить теракт выражал Дунский; ему Сулимов доверил обстрелять из окна в квартире Ермаковой машину Сталина, когда тот поедет на дачу. Или бросить гранату.

Весь этот бред следовало оформить по всем правилам протокола, подтвердить очными ставками и собственноручными показаниями.

Поначалу мы пытались взывать к логике: бросить в проезжающий автомобиль гранату? Но ведь Нина жила на шестом этаже! Наша наивность удивляла их. Нам разъяснили:

— Бросать-то не вверх, а вниз. — Но ведь машина Сталина, наверно, бронированная?

— Да. Но на крыше каждого лимузина есть незащищенное место.

Действительно, вспоминали мы: есть на крыше «ЗИС-101» прямоугольничек, покрытый чем-то вроде кожмита. Это мы знали. А о том, чего не знали, нам любезно сообщали

следователи.

Так, от них мы узнали, что мысль совершить теракт против главы правительства и партии возникла у нас, когда услышали, что генерала Ватутина убили террористы. (Правда, услышали мы об этом только на Лубянке.)

Любопытно, что фамилия «Сталин» не должна была фигурировать в протоколах, была запретной — как имя еврейского бога. И так же заменялась иносказанием: «глава правительства и партии». Или же делался пропуск в тексте, словно опускалось нечто непечатное: «клеветали на ....., утверждая, что якобы .....,» и т.д. Почему, для чего? До сих пор не нахожу разгадки. Возможно, машинистки, перепечатававшие протоколы, не должны были даже подозревать, что такая кощунственная мысль может прийти кому-то в голову.

Надо сказать, что, с легкостью признавшись в разговорах, которые обеспечили нам срок по ст. 58-10 ч. II («Антисоветская агитация во время войны») и — 11 («Участие в антисоветской группе или организации»), все мы начинали упираться, когда дело дошло до пункта 8 через 17 — «Соучастие в террористической деятельности».

Это уж была такая белиберда, что мы не сразу поверили в серьезность обвинения. А когда поверили, многие испугались: ведь за это наверняка расстреляют!

В расстрел я почему-то не верил — но и не сомневался, что дадут 10 лет. Признаваться же в том, о чем не только не говорили, но и не думали, не хотелось.

Сейчас-то приятно было бы подтвердить: да, готовили покушение. И корреспондент молодежной газеты восхитился бы: «Вот, были ведь отважные молодые ребята, готовые riskнуть жизнью!..» (Я такое читал.) Возможно, где-то и были — но не мы. И мы не сознавались.

Тогда следствие усилило нажим. Именно на этом этапе меня попробовали дожать бессонницей. Делалось это так.

По сигналу отбоя я начинал стаскивать сапог, но в этот момент открывалась «кормушка» — оконце в двери моей одиночки, — и надзиратель негромко приглашал:

— Без вещей.

(Это значило «на допрос»; еще одно проявление бессмысленной лубянской конспирации.)

Меня приводили на допрос к Макарову, и начиналась обычная бодяга:

— Ну, Фрид, будем давать показания?

— Я вам все рассказал.

— Колись, Фрид, колись. Вынимай камень из-за пазухи.

— Все, что было, вы уже знаете.

— Ну подумай еще, подумай... Знаешь, что

сказал великий гуманист?

— Знаю. «Если враг не сдается, его уничтожают»... Но я-то не враг.

— Ничего, мы из тебя сделаем антисоветчика!

— Конечно. Это как помидор: сорвали зеленый, в темном месте созреет.

— Поменьше умничай. Кто кого сгребет, тот того и у-у... Знаешь, как там дальше?

Я знал. Отвечал без радости.

— Ну вы, вы меня сгребли.

— А следовательно?! — веселился Макаров.

— Колись, Фрид! (Или для разнообразия: «Телись, Фрид».) Мы не таких ломали!

И так далее, до бесконечности — вернее, до утра. Он еще успевал почитать газету, поговорить с женой по телефону — вполголоса и в основном междометиями, — выпить свой несладкий чай. А под конец, глянув на часы, отпускал меня: — Иди пока. И думай, думай. Меня отводили в камеру, я стаскивал сапог — но до второго дело не доходило; надзиратель объявлял: — Подъем! Это значило, что весь день я должен был сидеть на узкой койке, не прислоняясь спиной к стене и не закрывая глаз. Днем спать не разрешалось, за этим надзиратель следил, то и дело заглядывая в глазок — «волчок» на тюремном языке. Стоило мне на секунду закрыть глаза, вертухай начинал теревить заслонку волчка:

— Не спитя! Не спитя!

Можно было, конечно, гулять по камере, но в одиночке на Малой Лубянке особенно не разгуляешься: узкая келья в подвале или полуподвале, от двери до стены два метра двадцать, расстояние между койкой и боковой стенкой сантиметров пятьдесят. Окна нет вообще, неярко горит лампочка за решеткой над дверью — тоже заключенная... На душе поганно. Так проходил день. Дождавшись команды «отбой», я стаскивал сапог — и повторялась сказка про белого бычка: вызывали на допрос, Макарка спрашивал, не готов ли я дать чистосердечные показания, советовал телиться — и так до следующего утра.

На третий день я забеспокоился. И тут судьба дала мне мой шанс — в лице тюремного врача.

Раз в неделю, а может и чаще, камеры обходил испуганный человечек с рыжим, как веснушка, пятном во всю щеку. Задавал всегда один и тот же вопрос: «Клопы есть?» — и спешил покинуть камеру, боясь, видимо, что его заподозрят в сношениях с арестантами.

Прежде чем врач выскочил в коридор, я успел проговорить: — У меня температура. Он сунул мне градусник и вышел. Дверь одиночки захлопнулась.

Вспомнив опыт школьных лет, я незаметно

нащелкал температуру — ногтем по головке градусника. Врач вернулся, посмотрел на термометр: 37,7 (набивать больше я остерегся). И позволил мне лежать два часа. На мою удачу — может быть, из-за незначительности послабления, — следователю об этом не доложили. А полагалось бы. Потому что за два часа я отлично высыпался.

Приходил на допрос и чуть не валился со стула, симулируя крайнее изнеможение — но подписывать протокол о террористических намерениях все равно отказывался. Теперь уже забеспокоился Макарка

— А ну сними очки, Фрид! Ты сидя спишь.

— Не сплю. — Я снимал очки и смотрел на него широко открытыми глазами. На пятый день он сказал: — Нет, точно, ты спишь. Не может человек не спать пять суток!

— Может. Продержите меня еще дней десять, и я вам что угодно подпишу. А пока что я в здравом уме и повторяю: никаких разговоров о терроре мы не вели.

И Макаров отступился. Не думаю, чтоб он пожалел меня. Пожалел себя: надвигались майские праздники и, конечно же, хотелось погулять два-три дня. А я радовался: перехитрил их! Маленькая, а победа...

К вопросу о терроре мы с Макаровым вернулись месяца через полтора. Он показал мне протоколы допросов четырех ребят — вернее, только их подписи и ответы на вопрос, был ли в присутствии Фрида разговор о желательности насильственной смерти Сталина. Уж не знаю, какими способами он и другие следователи выбили из них нужный ответ, но только все четверо подтвердили: да, такой разговор был.

— Видишь? — грустно сказал Макарка. — Так чего же упираться? Ты избалован полностью, поверят четверым, а не одному. Давай, подписывай.

И я смалодушничал, подписал такое же признание. Но странное дело: после этого я почувствовал даже какое-то облегчение. Теперь мне было все равно — хуже быть уже не могло. Так же думали и мои однодельцы.

Легче стало и следователям. Главное признание было получено, оставалось только проверить драматургию, свести несколько линий в один сюжет, распределить роли: кому — главную, кому — второго плана. Например, про Юру Михайлова, самого младшего из нас, в одном из протоколов было написано: «Михайлов сам не высказывался, но поддерживал наши антисоветские выпады криками: «Так! Правильно!» (Смешно? Но эти крики обошлись ему в восемь лет. Из лагеря он привез туберкулез, шизофрению и умер через несколько лет после выхода на свободу, со-



*Юра Михайлов до ареста - студент ВГИКа*

всем молодым.)

Иногда в следовательских кабинетах появлялись прокуроры. Но узнавали мы об этом только в конце допроса, подписывая протокол. Рядом с подписью следователя стояло: военный прокурор такого-то ранга такой-то. Или они были советники юстиции?.. Фамилию одного я запомнил: Дорон. Кажется, о нем с похвалой отзывался недавно кто-то из огоньковских авторов. Не знаю, не знаю... Поведением эти представители закона не отличались от следователей: вопросы задавали тем же издевательским тоном, так же презрительно улыбались, так же топили нас... Шайке террористов полагался атаман. Так следователи и ставили вопрос: «Кто в вашей группе был вожаком?» По сценарию эта роль отводилась Сулимову. Но тут произошла накладка: кроме Володьки еще двое или трое на этот вопрос ответили: «Я». Это было легче, чем валить главную вину на другого. У меня хоть было формальное основание: собирались-то чаще всего в моей квартире. А вот у Юлика Дунского никаких оснований не было — кроме врожденной порядочности. По-моему, наши протоколы с этим ответом не вошли в дело, а сулимовский остался.

Случалось, что кто-то из подследственных, устыдившись, брал назад особо нелепое признание.

Так, Светлана Таптапова, девушка, которую я видел один раз в жизни, показала на допросе, что я чуть ли не вовлек ее в антисоветскую группу. (И когда бы только успел? Мы ведь с ней на том дне рождения только поздоровались и попрощались.) Но через несколько дней она объявила, что это неправда, она Фрида оговорила — и следователь занес ее слова в протокол. А чуть погодя в новом протоколе появилось новое признание: «Я пыталась ввести следствие в заблуждение. Искренне раскаиваюсь в этом и подтверждаю свои первоначальные показания в отношении Фрида». Все это



**Дом 43, где жила Нина Ермакова. Окно, из которого должны были стрелять в Сталина, как выяснилось, выходит во двор.**



я прочитал, когда знакомился с делом при подписании 206-й — об окончании следствия. И подумал: бедная девочка! Зачем упиралась? Только лишнее унижение. Все равно — нажали посильней, заставили.

Следователей должны были радовать такого рода завитки: они украшали дело, придавали ему правдоподобие. Так же, как обязательная подпись подследственного после зачеркнутого слова — скажем, «во вторник» исправлено на «в среду»: «исправленному верить». Это как бы подсказывало будущему историку: видите, какая скрупулезная точность? Значит, и всем их признаниям следует верить... Фарисейство, очень типичное для страны с замечательной конституцией и полным отсутствием гарантируемых ею прав и свобод.

Вот со мной получился маленький конфуз. Уже когда все было записано и подписано — да, хотели стрелять или бросить гранату из окна квартиры, где жила Нина Ермакова, — меня вызвал на допрос Макаров. Вопреки обыкновению, он не стал вести со мной долгих разговоров, а молча настрочил протокол очень короткого допроса — допроса, который даже и не начинался. В нем был только один вопрос и один ответ:

ВОПРОС: Куда выходили окна квартиры Ермаковой?

ОТВЕТ: Окна выходили во двор.

— Подпиши, — хмуро сказал Макаров.

Мне бы обрадоваться — а я возмутился:

— Э, нет! Этого я подписывать не буду.

— Почему?

— На Арбат выходят окна, я вам сто раз говорил. Знаем мы эти номера: сейчас — подпиши, а завтра — «Фрид, вы напрасно пытаетесь ввести следствие в заблуждение. Показаниями соучастников вы полностью изобличены, окна выходят на правительственную трассу...» Не хочу я никого никуда вводить. Я сразу так и сказал: выходят на улицу!..

— Во двор они выходят.

— Нет, на улицу.

— Во двор, Фрид, я там был, в ее квартире.

— Если вы там были, сообразите сами: вот входим в подъезд, поднимаемся по лестнице, направо дверь Нининой квартиры; проходим по коридору, налево комната — и окна глядят на улицу, на Арбат.

Макаров заколебался. Прикрыл на секунду глаза, вспоминая. Прикинул в уме и растерянно посмотрел на меня.

— Действительно. Если считать по-твоему, то получается, что на улицу. Но я тебе даю честное слово: окна выходят во двор. Я там был! Честно!

И я поверил — чувствовал, что он не валяет дурака, а говорит всерьез. Подписал протокол

и вернулся в камеру. Весь день думал: как же так? В чем ошибка? И вдруг меня осенило: ведь на каждый этаж ведет не один, а два марша лестницы. Поднялся по одному, повернулся и пошел вверх по другому. И то, что было справа, оказалось слева — и наоборот. Конечно же, окна выходят во двор!

Но все дело в том, что ни разу никто из нас не глядел в эти окна: во-первых, они были наглухо закрыты светомаскировочными шторами из плотного синего полукартона — шла война; а во-вторых, не к чему нам было глядеть: не собирались же мы в самом деле убивать Сталина.

Возможно, следователям, поверившим нам на слово, что окна смотрели на Арбат, вышел нагоняй от начальства: почему не проверили сразу? Пришлось вносить уточнение.

Впрочем, на наших сроках это никак не отразилось; никто больше не вспоминал о мелком недоразумении, и все террористы получили по причитавшемуся им «червонцу» — 10 лет ИТЛ, исправительно-трудовых лагерей.

Да мы и сами не придавали этой путанице большого значения. Во двор, не во двор — какая разница?\*\*\* Во всяком случае, на очной ставке с Сулимовым, когда он рассказал, что по его плану должны были из окна Ермаковой бросить в проезжающего Сталина гранату, но Фрид предложил стрелять из пулемета, я спорить не стал. Сказал:

— Этого разговора я сейчас не помню, но вполне допускаю, что он мог быть.

Очную ставку нам устроили не в начале, как полагалось бы, а в самом конце следствия. Ведь целью ее было не установить истину, а наоборот, запротokolировать совпадения наших лжепризнаний — к этому моменту весь сценарий был уже коллективно написан и отредактирован.

Вид у Володы был несчастный, лицо худое и бледное: у него на воле никого не осталось, арестовали по нашему делу и жену, и мать, так что он сидел без передач. А у меня в кармане был апельсин — витамины, присланная мамой. (Я захватил в надежде: вдруг очная ставка с Нинкой?) И вот, подписав протокол, попросил разрешения отдать этот апельсин Сулимову.

— Лучше не надо, — мягко сказал Володыкин следователь...

Самыми легкомысленными участниками сколоченной на обеих Лубянках «молодежной антисоветской террористической группы» были, думаю, я и Шурик Гуревич. Когда нас свели на очной ставке, мы забывались тем, что ответы диктовали стенографистке не человеческим языком, а на безобразном чекистском жаргоне:



*Юлий*

— Сойдясь на почве общности антисоветских убеждений, мы со своих вражеских позиций клеветнически утверждали, что якобы...

Стенографистка умилялась:

— Какие молодцы! Говорят, как пишут!\*\*\*\*

А вот об очной ставке с Юликом Дунским у меня осталось странное воспоминание. Иногда мне кажется, что здесь какая-то aberrация памяти. Было это уже перед подписанием 206-й статьи — об окончании следствия.

Равнодушно повторив все, что было сказано раньше на допросах, и поставив подписи, мы попросили разрешения проститься — и они разрешили.

Мы обнялись, поцеловались — и расстались, как нам казалось, навсегда. Мне почудилось, что на лицах следователей мелькнуло что-то вроде сострадания... Или мне все это только привиделось и не было такого? Как они могли разрешить? А вдруг я, подойдя близко, кинусь на Дунского и перегрызу ему горло? Или он выколет мне пальцами глаза?.. Да нет, наверно, было это. Ведь знали же они прекрасно, что ни за что ни про что отправляют мальчишек в лагерья...\*\*\*\*\*



*Валерий*

### **Примечания автора**

\*) Шинель мне досталась так. Когда я в первый раз отправился в армию, отец, подполковник медицинской службы, дал мне свою офицерскую. На Ярославской пересылке я ее проиграл в «очко» прибалтанным ребятам-разведчикам и получил на сменку новенькую солдатскую. Тогда я огорчился, а ведь оказался в выигрыше: солдатская шинель в сто раз удобней для походной — и тюремной — жизни. В отличие от офицерской она не приталена; расстегнешь хлястик — вот тебе и одеяло, и матрац. В тот первый раз из Ярославля меня вернули в Москву, «в распоряжение военкомата», а через несколько дней послали в Тулу. Куда я приехал, уже известно.

\*\*) Карцеры, в которых я побывал на обеих Лубянках, — это каморки в подвале, примерно метр на полтора, без окна, с узенькой короткой скамейкой, на которой и скрючившись не улежишь. Дают 300 граммов хлеба и воду; на третий день полагается миска щей. Но забавная и приятная деталь: по какому-то неписаному правилу — скорее всего тради-

ция царских тюрем — эту миску наливают до краев. И дают не то, что в камеры — одну гущу!.. Говорят, были карцеры и построже — холодные, с водой на полу. Но я в таких не сидел.

\*\*\*) Про эпизод с окном, выходящим не туда, мы с Дунским рассказали Алову, Наумову и Зорину. К нашему удовольствию, они использовали его в своем сценарии «Закон».

\*\*\*\*) «Якобы», «клеветнически» — главные слова в протоколах. Если кто-то утверждал, например, что Сталин диктатор, то утверждал, разумеется, «клеветнически», а слово «диктатор» предварялось обязательным «якобы» — словно составляющий протокол дважды отрещивался от богохульника: чур меня, чур!

\*\*\*\*\*) Они отправили в лагерь не одних мальчишек. По делу проходили еще три девочки и одна пожилая женщина. Вот состав участников «группы»:

1. Сулимов Владимир Максимович. К моменту ареста инвалид войны, помощник режиссера на «Мосфильме» (поступал во ВГИК, но не прошел: сказал на экзамене Григорию Александрову, что ему не нравятся его комедии). Получил 10 лет с конфискацией имущества. Умер в лагере.

2. Сухов Алексей Васильевич. Умнейший был парень, наверно, самый одаренный из всех — но не простой, «с Достоевщиной». Получил 10 лет, умер в лагере. Вскоре после нашего ареста на Лубянку попал и Лешкин младший брат, школьник Ваня. Этому повезло больше: отсидел свое и вернулся домой — возмужавший, красивый.

3. Гуревич Александр Соломонович. Перед арестом — студент-медик. Отбыв 10 лет в лагере (где познакомился со своим тезкой Солженицыным) и еще два года на «вечном поселении», вернулся в Москву и переменял профессию — стал экономистом. До тюрьмы был женат, но жена не дождалась его. Шурик женился снова: сначала в ссылке на очень славной полуяпонке-репатриантке. Потом развелся и женился на москвичке. Уехал с ней и маленькой дочкой в Израиль, где и умер — на десятый день новой жизни.

4. Дунский Юлий Теодорович. Мой одноклассник. Как и я, до ухода в армию — студент сценарного факультета ВГИКа. 10 лет в лагерях и 2 года на «вечном поселении». Вернувшись в Москву, мы закончили институт и стали сценаристами. Женился Юлик поздно, но счастливо. В последние годы жизни тяжело болел (астма и последствия лечения кортикостероидами), очень страдал и в марте 1982 года застрелился, не дожив четырех месяцев до 60-ти лет.

5. Фрид Валерий Семенович. Это я. 10 лет в лагере и два — в ссылке.

6. Михайлов Юрий Михайлович. До ареста студент-первокурсник режиссерского факультета ВГИКа. Ему ОСО дало поменьше: восемь лет. Отбыв срок, вернулся в Москву совсем больным и вскоре умер.

7. Бубнова Елена Андреевна. До ареста — студентка ИФЛИ. Срок — если не ошибаюсь, 5 или 7 лет — отбывала не в лагерях, а на Лубянке. После освобождения работала в московском Историческом музее, ушла на пенсию — а в прошлом году, я слышал, умерла.

8. Левенштейн Виктор Матвеевич. До тюрьмы — студент Горного института. Школьное прозвище «Рыбец» (мама имела неосторожность назвать его при одноклассниках рыбьонькой). В протоколах это превратилось в подпольную кличку. Получил пять лет, отбыл их. Работал в Москве, канд. тех. наук. Эмигрировал в США.

9. Таптапова Светлана — отчества не помню. Срок — пять лет. Сейчас, насколько мне известно, в Москве, логопед, доктор медицинских наук.

10. Каркмасов Эрик. Об этом своем «сообщнике» ничего, кроме имени, не знаю: ни разу в жизни не видел. Он был приятелем Сулимова. Получил, кажется, пять лет.

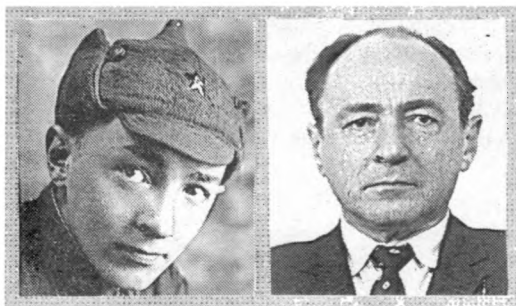
11. Ермакова Нина Ивановна. До ареста —



*Михаил Левин*

студентка Станкоинструментального института. Срок — три года. Попала под амнистию 1945 года; освободившись из лагеря, была выслана в Бор, пригород Горького. Там познакомилась со своим будущим мужем — тогда доктором физико-математических наук, а теперь академиком В.Л. Гинзбургом. Живет в Москве; мы дружим и время от времени видимся.

12. Левин Михаил Львович. Он на год старше остальных и к моменту ареста кончал физфак МГУ; несданным остался один только экзамен. Изъятая у него при задержании «Теория возмущений» очень обрадовала чекистов, но оказалось — математический труд. Миша получил три года. Срок отбывал в одной из «шараг» — спецлабораторий. В 45-м освобождился по амнистии, был сослан в Бор; потом работал в Тюмени, затем в Москве. Профессор, доктор физико-математических наук, отец трех детей. Эрудит и человек многих талантов, он был всю жизнь окружен друзьями, поклонниками и поклонницами. Этим летом умер — несправедливо рано.



**Марк Коган до и после.**  
*/Подпольная кличка Моня/*

13. Коган Марк Иосифович. В детстве его звали Монькой (а в протоколы вошло: «Подпольная кличка — Моня»). До тюрьмы — студент Юридического института. Получил 5 лет, отбыл их, работал юрисконсультom в Кызыл-Орде, окончил заочно два института. Женится на девушке, с которой познакомился в лагере. Сейчас женат на другой; отец двух детей и дед двух внуков, а кроме того кандидат юридических наук и один из самых авторитетных московских адвокатов.

14. Сулимова Анна Афанасьевна, мать Володы. Ее отправили не в лагерь, а в ссылку, где она страшно бедствовала — по словам моей мамы, даже милостыню просила. В наше «дело» она попала, по-видимому, из-за того,

что дома у них хранились драгоценности — приданое ее сватьи, матери Лены Бубновой. Та, говорили, до того как выйти за революционера, была замужем за кем-то из миллионеров Рябушинских. Ленину мать посадили заодно с Бубновыми: драгоценности остались дочери. А Володина мать уцелела. Она вела хозяйство, изредка продавая по камешку: деньги нужны были — ведь война, цены на продукты бешеные. Будь Володыкина воля, он бы живо разбазарил все богатство — проел и пропил бы вместе с нами. Но мама не позволила. Чекисты об этом знали и конфисковали драгоценности, не оставив на воле никого из Сулимовых. Просто и остроумно.

Наверное, нужно объяснить, почему Особое Совещание — ОСО — не стригло всех под одну гребенку: в нашем деле мера наказания варьирует — от 10-ти с конфискацией до ссылки.

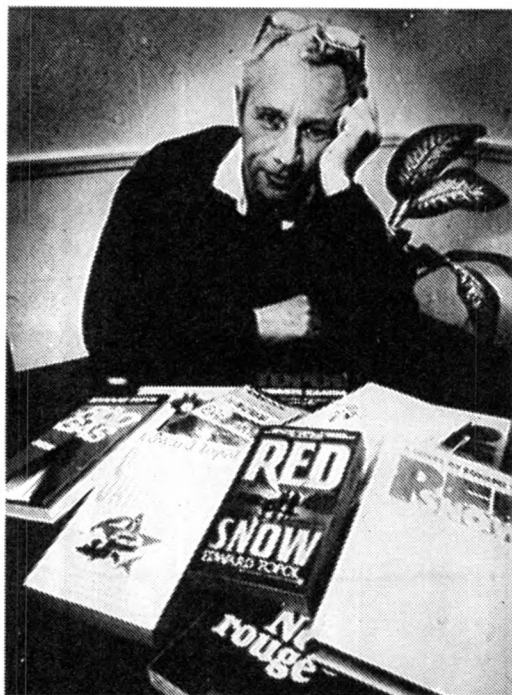
Во-первых, даже для правдоподобия надо было выделить «террористическое ядро» — это те, кому влепили по червонцу.

Во-вторых, Левина, скажем, и Когана арестовали месяца на три-четыре позже, чем нас, главных. Они были морально подготовлены и не стали подписывать, как мы, все подряд. И восьмой пункт с них сняли.

В-третьих, за Мишу Левина и Нину Ермакову хлопотал академик Варга, бывший в большом фаворе у Сталина. Дочь Варги Маришка была ближайшей подругой Нины, а Мишина мать, член-корреспондент Академии наук Ревекка Сауловна Левина, работала вместе с Варгой. К слову сказать, ее тоже посадили — несколько погодя, по так называемому «аллилуевскому делу». Ревекке Сауловне пришлось куда хуже, чем нам: на допросах ее жестоко избивали, вся спина была в рубцах. На свободу она вышла полным инвалидом, уже после смерти Сталина.

И еще — маленькое примечание к примечаниям. Я пишу по памяти и заранее приношу извинения за возможные неточности — в отчествах, названиях учреждений и т.п. Заодно хочу исправить чужую неточность. О нашем деле мне встречались упоминания в нескольких публикациях. И во всех — одна и та же ошибка: Володю Сулимова называют сыном «репрессированного» в 37 году председателя СНК РСФСР Дан.Ег. Сулимова». Но наш-то не Данилович, а Максимович. Его отец был работником не такого высокого ранга, как одонофамилец, но достаточно ответственным, чтобы удостоиться расстрела.

# Эдуард ТОПОЛЬ



## САМЫЙ ЛУЧШИЙ РАССКАЗ

Из книги «Асины рассказы»

Самый лучший «Асин рассказ» написал не я. Мне его прислали по почте из Калифорнии, и когда я открыл конверт и стал читать, я не только смеялся от удовольствия, но у меня весь день настроение было просто замечательное. Я даже знакомым хвастался: смотрите, какое замечательное письмо я получил из Калифорнии! Почему оно замечательное? Потому что меня в этом письме очень хвалили за «Асины рассказы». А я вам честно скажу — нет человека, которому не нравится, когда его хвалят. И я тоже это люблю. И мне хочется написать еще что-нибудь такое, чтобы меня опять похвалили. И вот получается такой интересный круг: стоит одному читателю потратить немного времени и послать хорошее письмо писателю, как писа-

тель уже пишет новый рассказ, и тогда другие читатели пишут письма писателю, и тогда писатель опять пишет новый рассказ, и так каждый из них приносит друг другу хорошее настроение и радость жить в этом мире.

Я это все говорю не для того, чтобы кто-нибудь опять написал мне хорошее письмо (хотя почему бы и нет?), а чтобы показать, как важно быть добрым друг к другу и не стесняться сказать другому человеку что-нибудь хорошее.

Ну вот, теперь я хочу дать слово своему читателю, пожилому человеку из Калифорнии, который прислал мне самый смешной и трогательный «Асин рассказ». Зовут его Жорж Думбадзе. И вот что он мне написал:

«Глубокоуважаемый Земляк и Журналист

AIR MAIL!!!



Письмо из Калифорнии  
от Марма Дуббаде  
Глубокоуважаемому Зиньку  
и Журналисту с большим  
сердцем!

②

с большим сердцем! Прошу у Вас разрешения посвятить эти страницы Вашей дорогой племяннице Асе.

Начинаю с птиц.

Как-то у нас в Калифорнии в городе Сугленде, где я живу, случилось очень сильное землетрясение. Вся посуда на кухне была разбита, книги и вазочки валялись на полу, штукатурка отвалилась от стен и потолка и засыпала все полы. Когда мы с женой оправились от паники, первое, что спросила жена, было: «А как насчет канарейки Пичи?!». Я побежал в спальню, где висела клетка с нашей желтой птичкой, и — о ужас! — клетка валялась на полу! Я поднял клетку и увидел, что Пичи жива, но стоит на одной ноге. На следующий день жена увидела, что Пичи все еще стоит на одной ноге, и попросила меня отвезти птичку к канареечному доктору. Доктор оказался очень красивой дамой, и я ей сказал, что землетрясение сломало ножку моей канарейке. Доктор взяла лупу в одну руку, а в другую — мою канарейку Пичи, повернула ее вниз головой и стала внимательно осматривать ее ножки. А потом сказала: «Нет, сэр, землетрясение у вашей канарейки ногу не сломало. У нее просто подагра».

— Подагра?! — удивился я. — Да вы что? У

нас в России великие князья и высший свет страдали этой болезнью — из-за икры и шампанского!

— Правильно, — сказала доктор. — Но я вижу по клетке, что вы даете вашей Пичи аристократическую пищу. А вы измените теперь ее рацион на обыкновенные семена.

Конечно, я выполнил этот приказ, и через две недели действительно простая пища вылечила птичку. А кроме Пичи, у меня живут еще два воробья. Когда-то я нашел их в траве — двух крошечных птенцов. Принес домой и выходил их, кормя так же, как вы своих воронят, часами через пипетку. Им теперь обоим по восемь с лишним лет. Но и это не все. Еще приютились у нас два котенка, черный и белый. Выросли и сделались расистами — белый ненавидит черного, а черный — белого. Так что один спит в моей спальне, а другой — в спальне у жены. И имя белого кота Наполеон, а черной кошки — Жозефина.

А теперь самое главное — о собаках.

Как-то жена мне сказала: «Жорж, у нас есть неполная». Я удивился: «Как так? У нас есть дочь, две племянницы и племянник, и все — с семьями. Ты что, говорю, хочешь теперь на старости лет сына русского происхождения — будущего президента Америки?» —

# ЗЕМЛЯТРЕСЕНИЕ



# ВСАПУЛВЕДЕ

«Нет, — говорит жена, — я хочу собаку. А поскольку, — говорит, — я из Бостона, то купи мне бостонского бульдога!» Ну что делать? Пошел я в городской собачник и попросил дать мне бостонского бульдога. «Простите, — сказал мне собачий менеджер, — но бостонского бульдога у нас нет, а есть английский бульдог по имени Сюрприз». Подвел ме-

ня к клетке, и я вижу — сидит там не бульдог, а сам премьер-министр Черчилль, точнее сходства невозможно придумать, только сигары не хватает. Я решил, что купить такую замечательную собаку мне будет не по карману, она, наверное, стоит 75 или даже 100 долларов. Но собачий заведующий мне сказал: «Откуда вы взяли такие суммы? Этот бульдог стоит 5 долларов, и если вы его купите, то я еще дам впридачу вот эту цепочку-поводок, которая в два раза дороже, чем сам Сюрприз».

Конечно, я купил этого пса, и по дороге домой он, сидя рядом со мной на переднем сиденье автомобиля, положил свою тяжелую голову на мою ногу и смотрел на меня снизу своими круглыми глазами, как будто говорил «спасибо за то, что ты меня приютил».

Когда жена увидела эту покупку, она не поверила, что такая собака стоит всего 5 долларов, и сказала: «Да, это сюрприз в самом деле — такая чудная собака!» А я должен был срочно ехать на работу, поэтому я отдал жене цепочку-поводок и поручил ей заботиться о Сюрпризе, пока я не вернусь с работы. А работа у меня такая, что домой я приезжаю поздно. Вот и в тот день я вернулся домой в 12 часов ночи. Вошел в дом и слышу голоса жены и дочери из кухни: «Жорж! Папа! Убери эту сумасшедшую собаку! Она нас весь день продержала на кухне! Она, наверное, решила, что это только твой дом, а мы тут какие-то чужие грабители, и она нас тут стережет!»

Увидев меня, Сюрприз подбежал ко мне, стал радостно лизать мне руки и вилять коротким хвостом. Я надел на него цепочку и вывел гулять. Бульдог сразу потащил меня вперед, обнюхивая тротуар и издавая при этом такие звуки, как машина для чистки ковров. Наконец, он добрался до первого телеграфного столба и задрал ногу, но не так, как это делают все собаки, а еще выше, совсем вертикально, как на голосовании поднимают руку. Но от такого маха ногой он не устоял на своих остальных трех, опрокинулся на спину, и — в мгновение ока я стал мокрым от пояса до ботинок. Пес лежал на спине, я смотрел на него и думал, что мне никогда не приходилось видеть таких метких стрелков, даже в армии. Глаза у Сюрприза были очень печальными. По-моему, он просил ими прощения. Я махнул рукой и повел его домой. Дома жена увидела, в каком я виде, и тут же решила, что пса надо отдать назад, в собачий приют.

Утром с тяжелым сердцем я повез Сюрприза назад. Менеджер собачьего приюта встретил меня и спросил, что случилось. Я доложил о вчерашнем происшествии и спросил, что теперь с этой собакой будет, если я оставлю ее здесь, в питомнике. Ответ был ко-

роток: «Вы были его последний шанс, завтра Сюрприз будет на живодерне». Я спросил: а почему у этого пса такие странности? И менеджер мне сказал: «Сэр! Вы приехали из старой России. Неужели вы не видели там принцев и князей редкого происхождения с разного рода странностями? У этой собаки столько королевских кровей и смесей, что она стала немного дегенератом...»

Между тем, пока я разговаривал с менеджером, Сюрприз прижимался ко мне и, подняв морду, смотрел на меня умоляющими глазами, как будто говорил: «Ради Бога, друг мой человеческий, не погуби меня!»

Конечно, я забрал Сюрприза домой.

Дома я сказал жене: «Если ты хочешь, чтобы пса убили, — твое дело, но я не могу видеть его гибели». И скоро моя жена и дочь полюбили этого пса. И что вы думаете? Теперь у меня четыре поколения Сюрпризов. Все они — чемпионы на собачьих выставках, они сделали меня известным человеком в обществе, и теперь мы вчетвером — я, жена, дочь и ее муж — водим их гулять.. Представляете, какая это картина, когда четыре бульдога — все в отца — ложатся у телеграфного столба, задрав ноги?..



Рассказывая Вам о птицах, я забыл сказать, что кормлю в своем саду множество диких птиц, высыпая им каждое утро семена на землю. Гам стоит в воздухе, они слетаются ко мне отовсюду, стоит мне выйти из дому с кормом в руках.

И вот недавно я по опыту узнал, что за все, что мы делаем в этом мире, есть большая награда. Да, недавно я был смертельно болен, перенес две операции и был готов отдать душу Господу. Ко мне приходили священнослужители — мой православный священник, католический и баптистский пасторы — и все молились за меня. Однажды пришел очень симпатичный молодой человек с маленькой аккуратной бородкой, он взял меня за руку и сказал: «Жорж, вы очень больны. Я знаю, что вы христианин, но, если вы не возражаете, я, раввин, тоже помолюсь о вашем здоровье». Я пожал ему руку и ответил: «Дорогой раввин, я не такой дурак, чтобы в эту минуту отказаться от лишней небесной страховки». Он рассмеялся, сказал, что лучшего ответа еще не получал, а затем очень душевно попросил Господа помочь мне. Потом сел в ногах моей кровати, и мы с ним долго беседовали. Я рассказал ему о том, что пишу сейчас для Вашей Аси истории о своих птицах и собаках. И вот привожу Вам слова этого раввина дословно: «Дорогой Жорж, вам 84 года, и знаете, почему? Потому что Господь Бог позвал к себе вашего Ангела Хранителя Георгия и приказал ему следующее: «Ангел Жорж, там внизу, в Саполведа, в Калифорнии живет хороший парень, он старик сейчас и очень болен. Ты поддержи его еще немного на земле. Очень уж он помогает мне по охране моих маленьких творений». Ангел ответил: «Благословен Господь сердца и Правды». И вот — я вышел из госпиталя, поправляюсь и забочусь опять о Божьих творениях.





Не знаю, как долго Он во мне нуждается, на заботы обо всем, что живет, есть моя жизнь. Я никогда не кладу полено в огонь камина, предварительно не потряса его над газетой. Сотни букашек падают на газету, и я выношу их во двор, на траву — пусть живут! Ведь нет ничего маленького и ничего большого в глазах Творца.

Простите за долгое письмо, — я целую ручку Вашей дорогой племяннице Асе, привет

ей от старого Георгия Думбадзе, русского американца».

Вот такое письмо получил я из Калифорнии. Я не приписал к нему ни слова. Я прочел его, перепечатал, и каждое слово вошло мне в душу, и пока я печатал, я все думал: а кого я обидел? Кому отказал в поддержке? Кому не помог? Ведь нет ничего маленького и нет ничего большого в глазах Творца...

## МОЯ КОШКА ДЖИНА ЛОЛЛОБРИДЖИДА

Да, у меня была кошка с именем и фамилией — Джина Лоллобриджида. Слушайте, как было дело.

Я много лет жил в деревне под Москвой в Доме творчества «Болшево». Дом творчества — это такой санаторий для писателей, где можно целый день ничего не делать, а когда уже совсем делать нечего, то можно сочинять всякие киносценарии, книжки или пьесы для театра. Но это я шучу, конечно, у меня там была комната в деревянном домике-коттедже, и в этой комнате я с утра стучал на машинке, сочинял кино, а потом, когда уже ничего не сочинялось, я уходил гулять в лес или на речку. И вот однажды зимой, в ноябре, кажется, когда уже были сильные морозы и снег, мы пошли с одной артисткой, Тамарой Носовой — очень смешной артисткой, — так вот, мы пошли с ней погулять, подышать воздухом. До леса мы не дошли, замерзли, повернули обратно. Идем по деревенской большевской улице и видим — на белом снегу кусочек черного угля шевелится. Небольшой такой кусочек, может быть, меньше, чем мой кулак. И — шевелится. Станет на лапки, сделает несколько шагов по наскользному машинами снегу мостовой, поскользнется и — кувырк, падает.

Ах ты, думаю, котенок какой глупый! Тебя же машины задавят! Иди-ка сюда! И — хочу его догнать, сграбастать, но... ничего подобного! не могу поймать — убегает! На своих крохотуленьких ножках убегает — так бочком, бочком, и еще хвостик трубочкой поднял, понимаешь! Я чуть сам не поскользнулся и не шмякнулся носом о мостовую, когда за ним погнался.

Артистка Носова, конечно, смеется надо мной — тоже мне, говорит, котенка догнать не может!

Совсем я на этого котенка разозлился — да ну его, говорю, не нужен он мне, я его согреть хотел, а он... Ну и убегай себе, говорю, ка-

тись!

И пошел своей дорогой.

Идем мы с Носовой по улице и я так вкось смотрю — что такое? Догнал нас черный уголек, скользит по льдистой мостовой лапками, а догнал! Ах ты, думаю, и — раз, подхватил его под пузико и за пазуху сунул, под дубленку. А дубленка у меня замечательная была, с длинным нестриженным мехом, как тулуп, — ну теплая-ая! Я в ней и на Крайний Север летал, и в Сибирь — нигде не замерзал! И слышу — возится там мой котенок, еще глубже за пазуху прячется, греется. Ладно, думаю, о'кей, грейся. Пришли мы домой, в Дом творчества, я и говорю Носовой:

— Том, а Том, тебе нужен котенок?

— Нет, — говорит, — не нужен. У меня дома собака, боксер.

— А что же мне теперь с ним делать? — говорю. — Не могу же я его выбрасывать, я ведь его уже согрел!

— Конечно, — говорит, — раз согрел, не имеешь права выбрасывать! И вообще, — говорит, — запомни: кого согрел, того не имеешь права выбрасывать, нечестно это, понял?

Делать нечего, пошел я с котенком домой, в свою комнату. Думаю, что мне с ним делать? Сходил на кухню, взял у повара блюдце и банку с молоком, принес в свою комнату, налил котенку, говорю: «Пей». А он не пьет. Я его мордочкой тычу в блюдце с молоком — опять не пьет. Ах ты, думаю, ну что с ним делать, не понимает, что это молоко, наверное. Намочил я палец в молоке и сунул котенку в рот. А ротик-то у него, Боже мой, крохонький. Стал он мне палец облизывать своим красненьким язычком — мне и смешно, и щекотно... Так и поселился у меня этот котенок, и я назвал его Уголек. Через несколько дней он уже сам молоко лакал из блюдца и бегал по всей комнате за бумажкой, которую я перед ним на нитке дергал. Толстенький стал,

как колобок, и — я забыл вам сказать — очень красивый. Потому что он не весь черный был, а, оказалось, у него очень аккуратный белый галстучек и все четыре лапки в белых перчатках, и на лбу — маленькая беленькая звездочка, ну, не звездочка, а такое маленькое беленькое пятнышко, как звездочка. И от этого мордочка сразу казалась такой умненькой, и весь котенок в этом белом галстучке и белых перчаточках — такой аккуратный, интеллигентный, что все, кто приходил ко мне в гости, тут же брали его на руки, гладили, рассматривали.

И вот одна гостья — уже не помню, кто — так внимательно его рассмотрела, что вдруг говорит:

— А это и не мальчик совсем, а девочка. Кошка это, а не котенок.

Ну стал я думать, как мне ее назвать. Я сразу решил, что у моей кошки должны быть имя и фамилия. Только какие? Было два варианта: или американская артистка Лиза Минелли, потому что у меня на стенке висел ее портрет, или Джина Лоллобриджида. Но Лиза Минелли не годилась, потому что Лиза — это русское имя, придет кто-нибудь в гости и обидится, что я ее именем кошку называл, а во-вторых, все будут думать, что Лиза от слова «лизать» или «лизаться», или даже «подлизываться», а моя кошка совсем даже не была подлизой, а, наоборот, росла очень грациозной, игривой, задиристой и самостоятельной. Даже скажу вам по секрету, что она очень быстро научилась аккуратно ходить в туалет, и у нас с ней на эту тему почти никогда не было скандалов.

Ну вот и стал я ее называть Джинной Лоллобриджидой. Всю зиму прожила она у меня в комнате, на улицу выходить боялась, только любила сидеть на окне, смотреть, как воробьи по снегу скачут. И много у меня с ней было в ту зиму приключений и забавных историй.

Во-первых, она научилась будить меня рано утром. Вообще-то я терпеть не могу рано вставать, я люблю поздно ложиться и поздно вставать, а вот Джина — как раз наоборот. И стала она меня перевоспитывать. Я ей не разрешал у меня на кровати спать, у нее было свое место — в кресле. И вот она займет с вечера кресло и спит себе, а я слушаю радио или книжку читаю и ложусь, конечно, поздно. И поэтому сплю себе утром до завтрака. А Джина — нет. Она выпитая, проснется в шесть утра, залезет рядом со мной на тумбочку, где радио стоит или книжки лежат, усядется и смотрит мне в лицо, ждет, когда я начну просыпаться. Хитрющая была — никак не перехитришь. Только-только я шевельну ресницами, она уже понимает — ага, это я уже не сплю, это я притворяюсь, что сплю, и — прыг с тумбочки на пол, и в обход



мою кровать обегает, и — шарк — шечочет лапкой мою высунутую из-под одеяла ногу. Ну я как заору: «Джина, отстань!» А ей только того и надо, чтоб я проснулся, — уж она по всей комнате понеслась, как белка, шарах — на окно, шарах — под койку, шарах — по



письменному столу, шарах — по моей кровати. Набегается, сядет возле моей кровати близко-близко и смотрит, хитрющая, ждет — погонюсь я за ней или тапочек в нее брошу, или подушкой запущу. Уж тут радости! Снова, как вьюн, по всей комнате, ну только что не хохочет, не умеют кошки хохотать, а жалко!

Ну, потом я научился так спать, чтоб под утро просыпаться лицом к стенке — чтобы ей моих ресниц не видно было, ага. И что вы думаете? Как она меня будила? А так: лапкой своей, самой подушечкой, чуть-чуть коснется моей щеки и тут же уберет лапку. Вот когда говорят «нежно, как кошка лапой», — так это про мою Джину. Я много в жизни нежностей видел, но никто меня никогда так нежно не гладил по щеке рано утром, как эти два существа — Джина и моя маленькая племянница Ася.

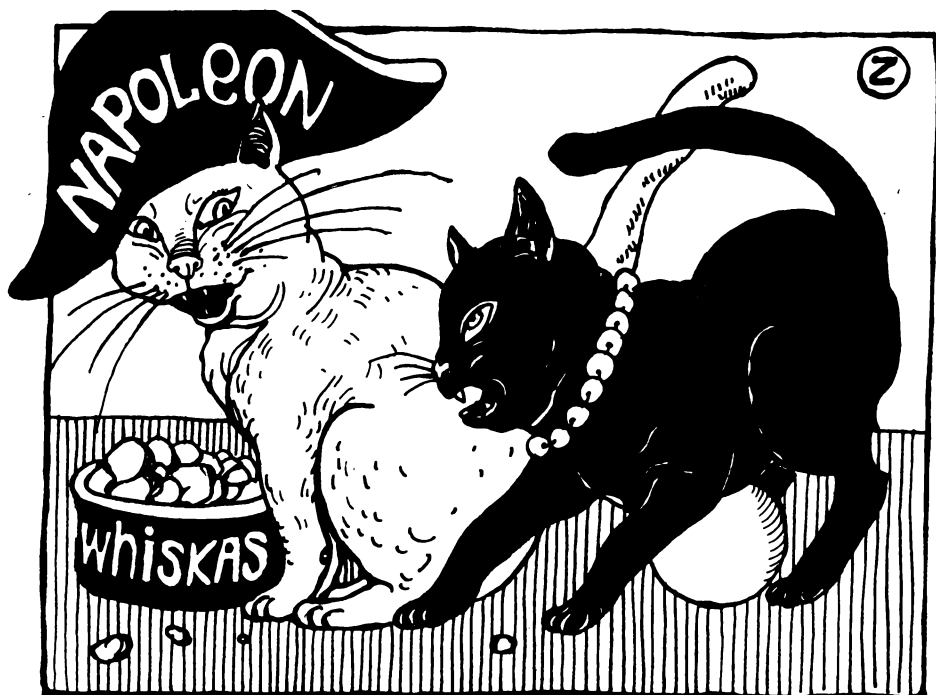
Ну вот, и научила меня Джина рано вставать и зарядку делать. Потому что до завтрака чем мне еще было заниматься?

А после завтрака я ей всегда приносил из столовой котлету или сосиску, или молоко, и садилась мы с ней за работу. Я на машинке стучал, а она сквозь окно воробьев считала. Потом, через пару часов, надоест ей воробьев считать и мою машинку слушать, она — прыг на письменный стол или на плечо мне, или даже прямо на пишущую машинку. Я ее прогоню, а она опять — мол, хватит работать, антракт, давай поиграем во что-нибудь. А во что мне с ней играть? У нее только одна была игра — чтобы я ее ловил, а она от меня убегала. По всей комнате.

Потом я стал ее приучать на улицу выходить. Помню, первый раз открыл двери на улицу, на мороз, и говорю ей: «Хватит дома

сидеть, иди погуляй по снегу». А она смотрит то на меня, то на дверь. Потом вышла на крыльцо, понюхала снег, потрогала его лапкой и — шмыг домой. Ах ты, думаю, неженка какая! Взял ее на руки, пошел на улицу и посадил ее в сугроб. «Закаляйся!» — говорю. Ох как она обиделась! Хвост задрала трубой и бегом в дом, спряталась под кровать и целый день там сидела, не хотела со мной общаться, обиделась.

Но все-таки мало-помалу стала она привыкать выходить на улицу. Особенно когда солнечный день выдавался. Я говорил: «Джина, пойдем погуляем», брал ее на руки и выходил из дома. Отходил от дома на несколько шагов, останавливался на тропе посреди сугробов, ставил ее на снег и ждал, что она делать будет. А она походит вокруг моих ног, понюхает снег, а потом так осторожно вперед крадется по тропе — сделает шагок и ждет, еще шагок — опять ждет. Мне смешно смотреть на эту трусиху, ка-ак свистну, она — тут же домой наутек. Но день за днем все смелей и смелей становилась моя Джина Лоллобриджида, уже на десять шагов впереди меня идет, потом на двадцать, и скоро я с ней совсем как с собакой гулял — бывало, крикну: «Джина, ко мне!» — и она тут же подбегает, трется возле ног и идет рядом, как черная собачонка. И так разохотилась по снегу гулять, что уже стала со мной в догонялки и ловитки на улице играть. Выпустишь ее, а она — шмыг куда-нибудь в кусты за сугробы, и ищи ее. Или — скок, скок по снегу и на дерево какое-нибудь залезет метра на два и смотрит на меня — погонюсь я за ней или нет, полезу в сугроб или не полезу. И однажды так забаловалась, так разыгралась, что уже не на два метра, а на самый верх де-



рева вскарабкалась. Я снизу кричу: «А ну слезай!» — а она дразнит меня и еще выше лезет. А там ветки тонкие, и я вижу, что ей уже самой страшно, да она на такой тонкой верхушке не может развернуться, вот и лезет все вверх и вверх.

Стал я ее звать — и по-хорошему, и по-плохому, и шапкой в нее кидал, и снежками пробовал, и дерево тряс — ничего не помогает, влезла моя Джина на самую-самую верхушку дерева, раскачивается там, пищит, а слезть не может. Пошел за стремянкой. А смеркалось уже. Еле-еле я в котельной у кочегаров какую-то стремянку нашел, но короткую — два метра. Приставил к дереву стремянку, полез по веткам, но — какое там! Джина ведь на самой-самой верхушке, мне туда не добраться — ветки подо мной обломаются. Уселся я посреди дерева, стал ее звать к себе, говорю: «Джинушка, деточка, ну слезай, пожалуйста, иди сюда». А она висит на макушке дерева, ухватилась всеми четырьмя лапами за ветку — и ни вперед, ни назад, боится с места тронуться. Так и не смог я ее уговорить, слез с дерева и с досады хотел идти домой, думаю — пусть она посидит там, сама спустится. И вдруг вижу — огромный кот, ну — огромный сидит под деревом и смотрит на мою Джину.

— Ах ты, — говорю, — негодяй! А ну пошел

отсюда!

А он отошел на несколько метров и опять сел себе в снег и сидит, ждет, когда я домой уйду. Ну что мне делать? Стал я этого кота прогонять. Отгоню его от дерева, только домой двинусь, смотрю — опять его глаза из-за кустов светятся. Темно ведь уже, ночь скоро. Ну, я чуть не плачу. Зову Джину, а она не слезает, сидит себе там наверху, сжалась в комочек и уже не пищит даже, не мяукает, вообще не отвечает. У меня уже и ноги замерзли, и нос, и вообще — надоела мне эта история, но как я ее брошу, если тут рядом этот котище разгуливает?

Ладно, пошел я домой, включил в своем домике весь свет и еще настольную лампу на окно поставил и направил свет на дерево, где моя Джина сидела. Чтобы видеть мне через окно, когда этот кот на дерево ползет.

И вот представьте себе — всю ночь я возле этого окна просидел, караулил мою Джину Лоллобриджиду, чтобы ее этот кот не обидел. Музыка включил на полную громкость, кофе пил, чтобы не уснуть, и каждый час выходил на улицу звать мою Джину. А она не слезает. Холодно, мороз, снег скрипит под ногами, котище, конечно, ушел давно, но я все равно не спал — а кто его знает, вдруг он вернется? Так и досидел я до рассвета, а на рассвете... Подошел я опять к дереву и говорю: «Джинушка, ну слезай, пожалуйста», и



вдруг вижу — ползет моя кошка вниз, пищит, мяукает, а ползет, а я ей говорю: «Вот молодец, смелей, прыгай!» — и дубленку свою снимаю и держу на руках, чтобы было ей куда прыгать. А у нее, наверное, лапы так замерзли, что она уже и держаться не может за ветки, прямо кубарем катится по дереву, только сучки трещат, и — бах, прямо мне на руки, в дубленку, и сорвалась с ветки!

Прижал я ее к груди, как родную дочку, и — домой!

Дома налил ей молока, а она и не пьет — залезла под теплую батарею и сидит там, молчит, не шевелится даже. Так целый день под теплой батареей и просидела, только к вечеру вышла, попила молока и опять — к теплу. Грелась после такой морозной ночи.

Все-таки не отдал я ее коту в обиду, всю ночь высидел без сна у окна, а уберег свою Джину, и она мне такой же верностью платила. Вот послушайте, как.

Были у меня в ту зиму всякие дела в городе, в Москве — то на киностудию поехать, то к племяннице Асе, ну мало ли дел в Москве? И вот я поставлю утром Джине молоко в блюдце, котлету и колбасу положу в мисочку и говорю: мол, я уезжаю, ты не скучай, вот тебе еда, кушай. Потом заведу свою машину

и уезжаю в город, в Москву. А возвращаюсь, конечно, поздно вечером, а иногда и ночью даже. Думаю, как там моя Джина? Заезжаю во двор нашего Дома творчества, ставлю машину в гараж и — бегом домой. Смотрю: моя Джина сидит на подоконнике, выглядывает меня, а захожу в комнату — она прямо ко мне, и трется головой об ноги, и трется, и мурлычет. Включаю свет — что такое? Молоко с утра стоит нетронутое, котлета и сосиски не съедены — ну не прикасалась кошка к еде целый день, и все тут! Ты, говорю, почему не ела тут ничего без меня? А она мурлычет, головой об ноги трется, и пока я ее не возьму на руки, пока не поглажу, не скажу всякие теплые слова, мол, Джинушка моя, Лоллобриджидушка, — она не отойдет от меня. И только потом, через пару минут, когда и погладишь ее, и извинишься за то, что целый день меня не было, — только тогда она спрыгнет с колен на пол, медленно так подойдет к мисочке и не спеша, с достоинством начинает молоко лакать. И вот так она меня приучала пораньше домой приезжать — не ела без меня, и все тут. И соседи мне рассказывали, что когда меня нет, она целый день сидит на подоконнике — ждет. Уж они с ней пробовали и заигрывать, и кормить ее через форточку — она на них ноль внимания.

Только слушала шум машин на шоссе и мою машину еще издали узнавала — уж не знаю, как, все-таки кошка, у нее слух кошачий! Как услышит мою машину, забегает по подоконнику, на задние лапки становится, чтобы побыстрее мою машину увидеть, и когда видит, что это действительно я, опять садится и ждет спокойно.

Вот какая была моя Джина Лоллобриджида! Верная кошка!

А теперь слушайте, как мы с ней расстались.

Дело к весне шло, и настала мне пора уезжать из России навсегда.

Стал я думать, что мне с моей Джинкой делать, кому отдать в хорошие руки. Ведь Джина моя выросла уже, стала такой красивой и грациозной кошкой, что с ней даже в цирке можно было выступать. Вся черная в белых перчаточках, при белом галстучке-бабочкой и на лбу белая звездочка. Много разных артисток просили у меня отдать им Джину. Но я артисткам не доверяю: позовут их в какой-нибудь другой город в кино сниматься — они и бросят мою Джину, кому попало. Нет, не доверяю я артисткам, знаю я их!

И тут как раз приходит ко мне наш садовник Степан Федорович, приходит и говорит: «Слыхал я, — говорит, — ты куда-то уезжаешь и не знаешь, куда тебе твою Джину пристроить». — «Ага, — говорю, — действительно». — «А чего ж ты, — говорит, — своей Асе ее не отдашь, племяннице?» А я говорю: «Потому что Ася со мной тоже едет, я без нее не могу долго жить». — «Понятно, — говорит, — так эта вот... Я, — говорит, — дом себе тут купил неподалеку, так моя жена хочет кошку в доме завести, может, она придет познакомиться с твоей Джинкой?» Так, думаю, это — дело, это серьезные люди. «А сад, — говорю, — у вас есть?» — «Есть, — говорит, — и дом, и сад, ей у нас хорошо будет, ты не сомневайся. Так что, звать мне жену?» — «Нет, — говорю, — мы с Джинкой сами поедем с твоей женой знакомиться. И дом посмотрим, и сад. Если ей у тебя понравится — твоя будет Джина».

Завел я машину, посадил Джину на заднее сиденье, Степана Федоровича — на переднее, и поехали мы смотреть его дом и сад. А там нас хозяйка встречает, молока наливает Джине в блюдце, но Джина не пьет, а сразу

— представьте себе — идет весь дом обнюхивать. «Ага! — говорит хозяйка. — Мыши у нас по ночам скребутся, все сухари поели за печкой, вот будет теперь хозяйка в доме, наведет порядок!»

А Джина вышла в сад, а там вишни цветут белыми цветами, пчелы жужжат — хорошо. Мне самому нравится, я бы и сам тут остался. «Ну что? — говорю я своей Джине. — Нравится тебе тут? Будешь тут жить?» Молчит моя кошка, не отвечает, а молчание, как вы знаете, знак согласия. Да я и по глазам вижу, что уже хочется и ей свой дом иметь — чтоб и кухня была своя, и столовая, и спальня, и сад, чтобы все, как у людей, а не то что какая-то комнатенка в Доме творчества у писателей!

Ладно, говорю, Джина ты моя Лоллобриджида! Живи тут с миром! А я поеду в эмиграцию, посмотрю, как там люди живут, в других странах...

И — поехал. Только не сразу, не на другой день, конечно. А — осенью, в октябре. И вот перед самым отъездом были у меня какие-то дела в Болшево, под Москвой. То ли мне нужно было там сувениры купить, то ли чемодан я искал в дорогу, не помню. Только думаю: дай-ка я заеду посмотрю, как там моя Джина живет, попрощаюсь. И заехал. Спрашиваю у хозяйки: «Здравствуйте, как тут моя Джина поживает?» «А вот она, — говорит, — в углу с котятами. Нужен вам котенок?»

А я смотрю — действительно, в углу, в старой кошелке три черных уголька-котенка и один беленький, а рядом Джина сидит и облизывает каждого. Посмотрела на меня и опять стала их облизывать, будто и нет ей до меня никакого дела. Но я и не обиделся — вон у нее сколько хлопот, четверо котят! А хозяйка опять спрашивает:

— Вы уже назад приехали? Нужен вам котенок?

— Нет, — говорю. — Я уезжаю. Надолго.

— Жалко, — говорит. — Нужно этих котят в хорошие руки отдать.

— Правильно, — отвечаю. — Только артисткам не отдавайте! Знаю я их!

Так и уехал. И живу теперь в Америке, в Нью-Йорке, и думаю: а у кого там эти котятка живут, у хороших ли людей?

## ПРО МОИХ ВОРОНЯТ

Как-то весной был в Подмосковье ураган. То есть вдруг налетел такой сильный ветер, что деревья трещали, провода рвались и на землю падали, и даже с какого-то дома крышу сорвало. Вот какой был ураган!

Я в то время жил под Москвой в Доме творчества писателей, в деревянном котедже, посреди парка над рекой. И когда налетел ураган, деревья у меня за окном прямо до земли наклонились, ветер рвал с них моло-

дые листья и даже на речке волны поднялись — такой был сильный ветер! А потом сразу — раз, и тихо стало. Улетел ураган дальше, в другие страны. А я пошел посмотреть, что же он натворил в нашем парке.

Только вышел из коттеджа — слышу в парке вороны кричат. Ну, так кричат — сил нет, как будто что-то ужасное случилось! «Ка-ар! Ка-ар!» — громко, будто по репродуктору. Пошел я на этот крик, думаю: что там такое случилось? И вот вижу: две вороны ныряют сверху к земле, к одному месту, и кричат там: «Кар!» Взлетят от земли и опять к этому же месту спускаются, и опять там кричат: «Ка-ар!» Думаю: что там такое? Подхожу и вижу: два крохотных вороненка сидят в траве, к земле прижались, головками во все стороны испуганно ворочают, а две вороны — папа и мама — подлетают к ним, прямо в лицо кричат им свое «кар!» — требуют, чтобы они с ними взлетели. Я сразу понял, что это ветер выбросил воронят из гнезда, да только, думаю, как же они теперь в гнездо вернуться, они ведь такие крохотные — прямо, как спичечный коробок, куда до гнезда долететь! А тут вижу: и гнездо рядом в траве валяется, и его ветер с дерева сорвал. Совсем беда.

И пока я стоял да смотрел на эту беду, вдруг вижу: вороны мои взрослые отлетели куда-то в сторону и там такой крик подняли, еще громче прежнего! Прямо над самой травой вьются, вьются и кричат: «Кккар! Кккар!» — и все ближе к воронятам, ближе, и вдруг смотрю — а это из травы кот выглядывает, здоровый такой котяра. Вороны над ним вьются, кричат, хотят клюнуть, а он от них лапой отмахивается и к воронятам крадется. Ах ты, думаю, сукин кот! Нет, не достанутся тебе воронята, ишь чего захотел — маленьких воронят съест? Дудки!

Взял я этих воронят и отнес в свой коттедж, на веранду. Вороны — папа и мама — до самого коттеджа меня провожали, кричали над головой: «Кар, кар!» Мол, отдай, отдай! А как я им этих воронят отдам, они же не могут их на руки взять и в новое гнездо отнести. Так что зря они на меня кричали, я их воронят от кота спас. Ну, в общем, стали эти воронята у меня на веранде жить. Такая большая веранда, стеклянная, светлая, два дивана там стояли и столик, мы там вечерами чай пили. И вот посадил я там воронят и говорю им: «Будете тут жить. Тут вас никто не обидит».

Закрыл дверь на веранду и окна закрыл, чтобы кот сюда не забрался, и пошел в общую столовую обедать. Только вышел из коттеджа — опять эти вороны, папа и мама, — на меня налетели, опять кричат: «Кар! Кар!» Вот, думаю, привязались, сейчас я покормлю ваших воронят, не беспокойтесь. Взял в столовой свою котлету и отнес воронятам, нак-



рошил перед ними и котлету, и хлеб и говорю: «Ешьте». А они не понимают. Сидят под диваном, съежились, только красными глазенками хлопают. Ладно, думаю, ничего, проголодаетесь — скушаете. Оставил им эту еду, сам ушел в свою комнату.

До самого ужина я в своей комнате работал, даже забыл про воронят, а когда пошел ужинать, зажег свет на веранде, смотрю — ничего не съели мои воронята, сидят себе, как сиротиночки, под диваном. Думаю, что же это такое, чем же мне их кормить? Пошел в столовую на кухню к повару: дай мне свежего мяса кусочек, может, воронята свежее мясо будут кушать. Ну, повар дал мне маленький кусочек. А этот маленький кусочек я еще на маленькие кусочки порвал и принес воронятам, положил перед ними и говорю: кушайте. А они опять не едят. Вот, думаю, негодня — я им свою котлету отдал, даже свежее мясо им



принес, а они не едят! Нет уж, думаю, я вас заставлю кушать.

Взял я кусочек мяса в щепотку, а другой рукой пробую воронятам клювы открыть, а они — ни в какую, не открывают клювы — и все тут! Пробую дать им котлету — то же самое. Совсем я разозлился на них. Стал одним пальцем даже так легонько бить их по клювам и ругать при этом.

— А ну-ка, открывайте клювы! Ну-ка, открывайте, негодники! Я кому сказал?!

И вдруг один вороненок ка-ак разозлился, ка-ак открыл клюв. «Ка-ар» — говорит. И даже хотел меня клюнуть.

А я — не тут-то было! Я как увидел, что он клюв открыл — раз! — и бросил ему в клюв кусочек котлеты.

И так я научился этих воронят кормить. Возьму в щепотку кусочек котлеты или мяса, или хлеба, а другим пальцем бью их по клювам, ругая всякими словами, чтобы они поскорей разозлились, а как они разозлятся — «Ка-ар!» — тут я им — раз! — и заталкиваю каждому кусочек еды.

Правда, должен честно сказать, пачкуны они были ужасные! В туалет ходить не умели, прямо у меня на веранде пачкали. Не успеют поесть — сразу напачкают, я за ними убирать не успевал. Весь диван перепачкали, и вообще у меня из-за них с нашей уборщицей тетей Дорой постоянно были скандалы. Тетя Дора обычно приходила по утрам убирать коттедж. А если я спал допоздна, она меня не будила, сидела себе тихо на веранде, на диванчике, отдыхала, чай пила с конфета-

ми и печеньем и ждала, когда я проснусь. А тут вдруг на веранде мои воронята поселились, весь диван перепачкали — негде тете Доре даже чаю попить и посидеть утречком. Очень она на воронят злилась, я даже боялся, как бы она их на улицу не выбросила — там бы их, конечно, кот в две минуты сцапал. Поэтому я стал веранду на ключ запираю — на всякий случай. А тетя Дора, конечно, еще больше разозлилась, не буду, говорит, я за этими воронятами убирать, это в мой обязанности не входит! Мне, говорит, за это не платят! Мне, говорит, платят, чтобы я за писателями убирала и артистами, а не за воронятами!

— Ах, так? — говорю. — Не хотите за моими воронятами убирать, тогда нечего и мои конфеты кушать!

В общем, поссорились мы с тетей Дорой и стал я сам своей коттедж убирать — и за собой, и за воронятами. Вот какие хлопоты были. Накормить их нужно — раз, убрать за ними — два, а тут еще эти вороны — папа и мама — прохожу мне не давали. Стоит мне выйти из коттеджа — тут же налетают, прямо перед лицом кружат и кричат: «Ка-ар! Кар!» Требуют своих воронят. А то еще совсем черт знает что выдумали: я иду по тропе между деревьев из коттеджа в столовую, а они летать надо мной с ветки на ветку, кричат, отламывают всякие сухие сучки, ветки и шишки и бросают на меня сверху. Представляете? Это вместо благодарности за то, что я их воронят от кошки спас, что кормлю их целыми днями и даже с уборщицей из-за них поссорился. И так я однажды на них разозлился из-за этого (они мне прямо по голове тяжелой шишкой угодили), что схватил воронят, вынес на крыльцо своего домика, положил на ступеньки и говорю: «Нате, забирайте своих воронят!»

Ой, что тут началось! Вы бы их видели! Стали эти вороны к детям своим подлетать, толкают их крыльями, кричат им: «Кар! Кар!» — и взлетают на соседнее дерево — показывают: мол, летите за нами, летите за нами! Воронята крылышки раскрывают, а полететь не могут, падают. А папа с мамой еще больше кричат и опять к ним подлетают, опять их толкают с крыльца — летите, мол. Вижу: совсем воронят затолкали, те уже и крылышки не раскрывают, лежат в траве, а тут на этот крик опять наш кот пришел и стоит поодаль, наблюдает.

— Ну? — говорю я воронам — папе и маме. — Что будем делать? Или, — говорю, — вы забираете своих воронят в гнездо, или их сейчас кот съест. Решайте!

А они что могут решить, у них же нет рук отнести воронят в гнездо. Пришлось мне опять забрать воронят к себе на веранду — не отдавать же их коту на съедение!



Стал я дальше с ними мучаться. Прожорливые они стали — сколько ни принесешь из столовой, все съедят, а потом напачкают. Прямо беда мне с ними, уже ко мне и гости перестали приходить. А не кормить их тоже не могу — они уже подросли, ходят по веранде и, как увидят, что я из столовой иду, сразу: «Кар! Кар!» Мол, есть хотим. А повар мне больше одной котлеты не дает, и вот вижу я, что нам с ними на троих одной котлеты мало. Решил их простым хлебом кормить. А они хлеба не хотят, им, видишь ли, мясо подавай! А где я его возьму? За мясом нужно в Москву в магазин ехать.

В общем, так я с этими воронятами завозился и замучался, что уже вообще про всех своих знакомых забыл. И вот сижу я как-то на веранде перед моими воронятами, бью их пальцем по клюву, хочу хлебом накормить, а они, конечно, клювы не раскрывают, не хотят простой хлеб есть. А я ругаю их всякими нехорошими словами, даже повторять тут стыдно.

И вдруг слышу — кто-то хохочет у меня за спиной. Поворачиваюсь: Боже мой, Аня! Моя знакомая приехала ко мне в гости из Москвы, стоит у меня за спиной, шоколадное мороженое на палочке облизывает и слушает, как я воронят ругаю.

Стыдно мне стало ужасно! Говорю ей:

— Что ты хохочешь? Лучше дай им кусочек шоколада от твоего мороженого, а то они хлеб не хотят есть!

Она отломилла шоколадную корочку от мороженого, и тут как раз один вороненок на меня разозлился и говорит: «Ка-ар!» А я — раз и сунул ему в горлышко кусочек шоколада. Он — бум, и уснул в ту же минуту — голову прямо на бок уронил, глаза закрыл — я думал, он умер! И так я на эту свою знакомую рассердился! «Ты, — говорю, — отравила моего вороненка своим шоколадом!» Чуть мы с ней все-речь не поссорились из-за этих воронят, но — слава Богу! — вороненок через минуту проснулся, просто этот шоколад такой питательный и сытный, что он сразу уснул. Со мной, между прочим, тоже так бывает: стоит мне что-нибудь сытное съесть, я почти в ту же минуту засыпаю, ничего с собой не могу поделаться...

Короче говоря, сколько у меня хлопот было с этими воронятами — не могу передать! И от кошки их стереги, и корми по три раза в день, и убирай за ними веранду, и еще родители-вороны проходу мне не дают, не могу из коттеджа никуда выйти, налетают на меня, кричат, сухие ветки и шишки бросают сверху.

Надоела мне эта жизнь, прямо вам скажу.

Думаю, хватит с меня! Открыл однажды дверь с веранды на улицу и говорю своим воронятам:

— Все! Хватит с меня! Идите на все четыре стороны! Вы уже вон какие здоровые вымахали! Идите и сами себе корм добывайте! Нечего тут тунеядцами жить! Ну-ка, марш! Марш на улицу, в парк!

А они не идут. Сидят возле двери, снизу так на меня смотрят, а в парк не идут.

— Ну, ваше дело, — говорю. — Я вас больше сторожить не намерен. Вот дверь открыта, где хотите — там живите. А я спать пошел.

И пошел спать действительно.

А утром — в самую рань, в пять часов утра, наверное, едва солнце взошло, слышу у меня за окном: «Ка-ар!» Нет, думаю, не встану, хватит с меня этих вороньих карканый. А за окном опять: «Ка-ар! Ка-ар!» И так требовательно, и голос незнакомый — не тех ворон, папы и мамы, а какой-то тонкий, молодой: «Каар!» Ладно, думаю, придется встать. Встал, выглянул в окно. А у меня прямо под окном была цветочная клумба, я там ромашки разводил и настурции. И вот я вижу — в моей клумбе посреди ромашек сидит один из моих воронят.

— Чего тебе? — говорю.

А он меня увидел и сразу так радостно:

— Ка-а-ар!

И вдруг открывает крылья и взлетает мне на окно, на раму. И смотрит на меня сверху своим черно-красным глазочком, и опять:

— Ка-а-ар!

И с оконной рамы на ветку дерева перелетает, и опять на меня оглядывается: «Ка-а-ар!» — мол, видишь, я уже летаю, я просто тебя разбудил, чтобы спасибо сказать за все, что ты для нас сделал. Честное слово — именно так я его понял в то солнечное утро, да и как иначе можно было это понять? Мы с ним посмотрели друг другу в глаза, поняли друг друга, и у меня даже теплый комок под горло подкатил — вот, думаю, ничего в мире зря не пропадает, никакое доброе дело, даже маленький вороненок придумал, как мне спасибо сказать за то, что я его с братом от кошки спас и выкормил.

— Ладно, — говорю я ему. — Не стоит благодарности. Лети с Богом!

И вижу — он с ветки на другую ветку перелетает, а там его второй вороненок ждет, и вот они уже оба полетели по парку, с дерева на дерево, с дерева на дерево и издали мне еще на прощание так весело кричали: «Ка-ар! Ка-ар!» — что я сам не удержался и крикнул им тоже вдогонку:

— Ка-а-ар!

И засмеялся, счастливый.

# ШУРКА — ДВАЖДЫ ЭМИГРАНТ

Каждый раз, когда я приезжаю в гости к белому королевскому пуделю Шурику, я даю себе слово написать о нем рассказ. Не потому что он королевский или уж очень какой-то особенно умный, а потому что у него удивительная судьба: он дважды эмигрировал из Советского Союза.

Я знаю много эмигрантов — и детей, и взрослых, — и каждый любит рассказывать, как он переживал, когда эмигрировал, как его обыскивали на таможне, где он жил в Вене, и так далее. И почти все говорят, что такое пережить можно только раз в жизни. А вот пудель Шурка пережил эмиграцию дважды, и за это я называю его Шурка — Дважды эмигрант Советского Союза.

А теперь слушайте, как все это случилось.

Пуделю Шурику было шесть лет, когда его хозяйка собралась эмигрировать. Жил Шурик в Москве, в хорошей квартире, ни про какую Америку ничего не слышал и никуда дальше подмосковной дачи уезжать не мечтал. Он очень любил свою хозяйку и мужа ее любил, своего хозяина. И хозяйка Шурика очень любила. Может быть, она и мужа своего тоже любила, я не знаю, но, наверное, пуделя Шурку она любила больше. Потому что, когда она собралась в эмиграцию, она оставила в Москве и мужа, и квартиру, и любимый автомобиль «Жигули», и всех-всех друзей, а взяла с собой только белого королевского пуделя Шурку. И Шурка вместе ней проходил таможенный досмотр на шереметьевской таможне, видел, как пограничники гоняют его хозяйку с тяжеленными чемоданами от одного стола к другому, как обыскивают и отнимают у нее какие-то вещи, как даже кольцо с руки сняли — он весь изнервничался, глядя на это, он был готов по первому знаку ринуться защищать ее, но она только говорила: «Тихо, Шура, не нервничай, тихо. Сидеть!» И Шурка терпеливо сидел. Он отсидел 16 часов в таможенном зале, изнывая от жажды, но ни ему, ни его хозяйке не разрешали даже выйти воды попить...

И вот прилетают Шурка с хозяйкой в Вену, идут в ХИАС на площадь Брамса, а там им говорят, что собак в Америку не пускают. Там даже такое объявление висит, я сам видел, что ХИАС ни собак, ни кошек, ни птиц в Америку не перевозит. И все эмигранты рассказывают разные ужасные истории про то, как приходится всех собак, кошек и птиц бросать в Италии, потому что животных, мол, в Америку не пускают, там своих достаточно. Это, конечно, не совсем правда, я знаю

несколько собак, которых хозяевам удалось привезти в Америку, но еще больше я знаю собак, которые действительно остались в Италии и бродят там по улицам Остии и Ладисполи целыми компаниями. И когда я приезжаю сейчас в гости к дважды эмигранту Шурику, я всегда вспоминаю другого королевского пуделя — черного пуделя Джека, с которым дружил в Ладисполи. Этот Джек тоже приехал в Италию из Советского Союза, прожил с хозяевами в Ладисполи несколько месяцев, а потом остался один. Бросили его хозяева в Италии, а сами сели на хиасский автобус на центральной площади Ладисполи, у фонтана и уехали или в Америку, или в Канаду,





или даже в Австралию. А Джек думал, что они на время уехали, может быть — на Круглый рынок или на Американо. Ведь они приказывали не заходить с ними в автобус, а сидеть у фонтана, вот он и сидел, ждал их возвращения. Сутки сидел, двое, трое суток — целую неделю сидел черный пудель у фонтана, встречал каждый хиасский автобус из Рима и ждал своих хозяев: а их все не было и не было. Разные бродячие собаки приходили к нему и звали побродить вместе с ними, но Джек был не бродячим псом, а домашним, он верил людям, а не собакам, а потому никуда от фонтана не отходил целую неделю. Худой и голодный, с потерянными глазами, он дремал на автобусной остановке и все заглядывал в глаза отъезжающим эмигрантам и обнюхивал их чемоданы, он уже наизусть выучил расписание хиасских автобусов, но все же боялся отойти от фонтана — а вдруг да появятся хозяева... Через неделю его впервые погрызли бродячие собаки. За что — не знаю, может быть, просто из презрения к слабому, ведь слабых всегда бьют — и на Западе, и на Востоке, и у людей, и у собак, хотя, на мой взгляд, это совсем некрасиво — бить слабого за то, что он слабый, тем более если этот слабый вовсе не слабый, а просто преданный. Но мое мнение никого не интересует — ни людей, ни собак, что с этим поделаешь? Короче говоря, погрызли Джека бродячие собаки, прокусили

ему ухо и ногу за то, что он из-за своей преданности стал слабый и не хочет с ними по помойкам ходить. И на следующий день тоже погрызли, и на третий день тоже...

И вот Джек не выдержал. Ночью, когда автобуса из Рима все равно нет, он дополз до ближайших мусорных ящиков и, стесняясь, чтоб никто не видел, что он — королевский пудель! — в помойке копается, съел все, что нашел — и капусту, и яблоки, и кислое молоко из гнилых бумажных пакетов. И стал Джек бродячей собакой, да еще какой! Худой, сильный, шерсть заблестела, он бегал теперь по Ладисполи во главе целой своры бродячих эмигрантских и итальянских собак. Но куда бы ни вводила его ночная бродячая собачья жизнь, он каждое утро, ровно в семь часов прибежал к фонтану на центральной площади в Ладисполи, вертелся в толпе эмигрантов у хиасского автобуса и не понимал, почему этот автобус только увозит и увозит людей, когда же он начнет их привозить и привезет, наконец, его хозяев.

Многим эмигрантам он очень нравился, некоторые даже хотели его приручить — хотя бы на время, пока они живут в Италии, и я тоже звал Джека пожить со мной, но гордый королевский пудель Джек ни к кому в дом не шел, а предпочитал бродячую жизнь, чтобы ранним утром бежать на площадь, к фонтану, встречать своих хозяев. Так он и остался в моей памяти — веселый и голод-

подобного совершенства; он напивается, катается по земле и, следовательно, подскрекает к вечному протесту.

Короче, перед нами борьба между над-бы отправить Шурку обратно. И представьте себе — отправила! Купила Шурке билет на самолет, все деньги, какие у нее были, заплатила за этот билет — целых 250 долларов, и специальную клетку ему купила, потому что без клетки одиноких собак в самолет не пускают, и повезла Шурку назад, в венский аэропорт. И там они стали прощаться — хозяйка ревет и Шурка плачет. Понимает, что это — прощание. Потом сделали Шурке снотворный укол, уложили в клетку, и улетел он в Москву. А хозяйка проводила Шурку и... заболела с горя. Целую неделю провалялась в гостинице у мадам Бетины с высокой температурой, не пила, не ела — совсем как Джек в Ладисполи. А Шурка по ней в Москве тосковал — хоть и дома опять, а без хозяйки плохо.

Так шло время — месяц, другой, третий... Я где-то читал, что разлука уносит любовь. Мол, все можно забыть в разлуке — даже любимых. И сам знаю эмигрантов, которые до того эмигрировали из своего прошлого, что родную маму забыли и даже писем ей не пишут, а не то чтоб сюда ее забрать. Но в Шуркиной истории все не так. Не забыла его хозяйка, не выбросила из сердца. Приехала в Америку и стала выяснять, как же ей Шурку из Москвы выписать. Еще и работы не было, и с жильем было неясно, а она только и твердила всем, чтоб нашли ей человека, который в Москву летает, что она все свое эмигрантское барахло продаст и любые деньги заплатит, лишь бы ей привезли из Москвы ее собаку. А ведь она очень красивая женщина, мужа бросила в Москве, и не только мужа, а вот пуделя не сумела бросить — аж в Канаде нашла-таки человека, который летает в Москву по разным своим делам. И уговорила этого канадца привезти ей Шурку.

И вот представляете — прилетает этот канадец в Москву, в командировку, идет к Шуркиному хозяину, показывает ему письмо от хозяйки, вдвоем они оформляют Шурке все медицинские документы, делают ему новые прививки, получают разрешение на выезд, покупают ему билет на самолет из Москвы до Нью-Йорка, и Шурка второй раз в своей жизни эмигрирует из Советского Союза.

Тут нужно хотя бы несколько слов сказать об этом благородном канадце. Я очень хочу, чтобы этот канадец стал когда-нибудь героем моей книжки и чтоб мои читатели его полюбили так, как он полюбил Шуркину хозяйку за то, что она не бросила в Москве свою собаку. Он с нее никаких денег не взял за то, что привез ей Шурку; более того — по дороге, в Брюсселе, когда самолет сделал там остановку на несколько часов, чтоб горячим заправиться, этот благородный канадец отвез Шурку в специальную собачью парикмахерскую, и там, в этой дорогой парикмахерской, Шурку выкупали в шампуне, высушили, специальными щетками и расческами расчесали ему белую королевскую шерсть, и Шурка прилетел в Нью-Йорк ну прямо по королевски.

И вы бы видели, что произошло в нью-йоркском аэропорту Кеннеди!

Они не виделись целый год. Целый год пропел с той минуты, как они прощались в Вене. И теперь в Нью-Йорке хозяйка стоит в аэропорту, красивая и нервная, и ждет Шурку и его проводника-канадца. И выходит Шурка из самолета, он-то не знает, куда его везут и зачем, вокруг него все запахи чужие, незнакомые, и усталое от полета через океан собачье сердце стучит от страха перед новым миром, и вдруг среди этих тысяч чужих запахов он еще издали унюхивает что-то родное — свою хозяйку!

Никакой поводок не удержал Шурку, никакие таможенники не смогли остановить — ринулся Шурка на этот запах со всех ног, перескочил через таможенный турникет, сшиб кого-то из пассажиров, и — прямо к ней, к хозяйке. А она уже и сама бежит к нему по аэровокзалу, плачет от счастья, и так они сталкиваются друг с другом с разбегу, что падают оба на пол и начинают целоваться, совсем как люди. Плачут от радости и целуются, а вокруг стоит толпа пассажиров, ничего не понимает, но все улыбаются. И канадец постоял, постоял, посмотрел на эту сцену и еще больше полюбил Шуркину хозяйку за такую преданность и, я думаю, женился бы на ней, да только вспомнил, что у него в Канаде жена и дети. А преданность, как вы видите из Шуркиной истории, выше и сильнее какой-то там любви или увлечения...

*Рисунки Юлии Зубревой*

# НЕСКОЛЬКО СКАЗОК

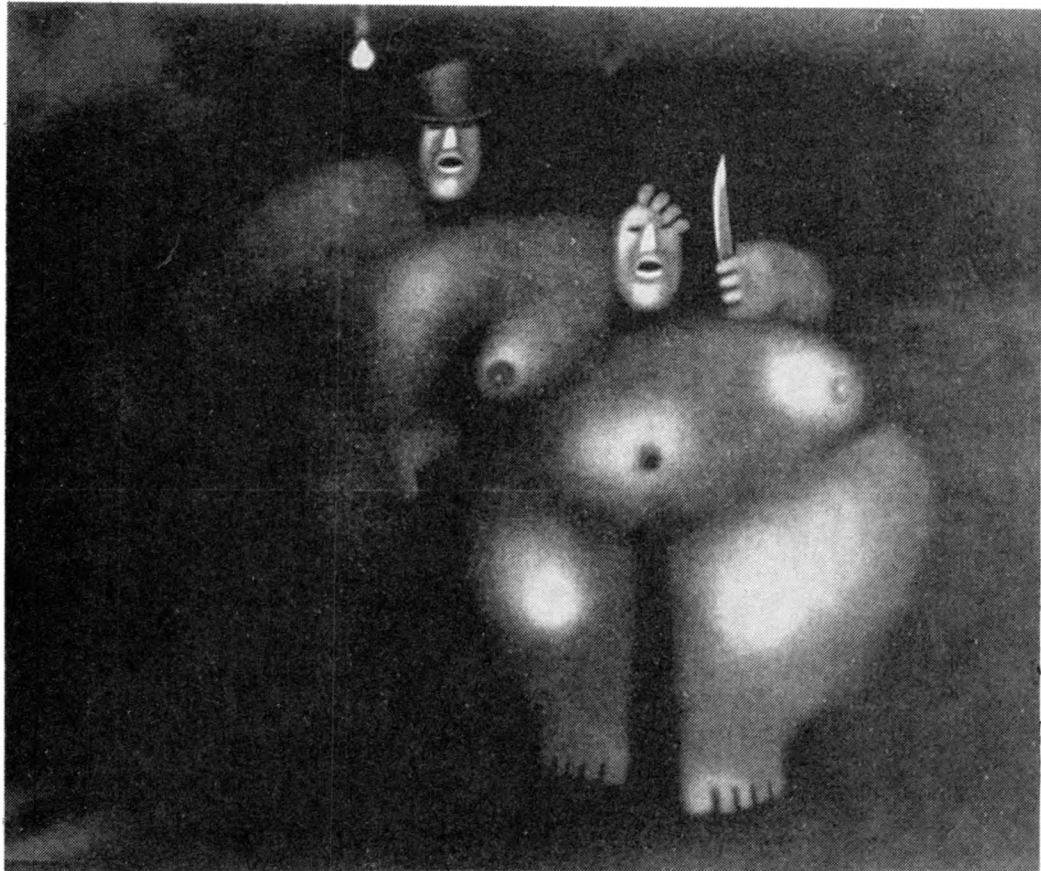
Алексея Алексеевича САМОРЯДОВА

## *Сказка про последнего ангела*

У Николая Коннова с хутора Казанского жена рожала. Сидел он дома, ждал, тут женщины вдруг выбежали, кричат: беги сына встречай. Он заходит в дом, и видит: жена его родила овцу. Лежит овца на постели, вся в крови и блеет, а жена, плача, гладит ее. Выбежал он из дома: Боже ты, Боже, ведь мы еще все живы, что же ты делаешь, — и поскакал в степь.

Не знаю, сколько он ехал, только видит, на холме хутор заброшенный и церковь на площади. Выехал он на площадь, а возле церкви люди, все лицами темные и молча роют землю ножами. А рядом мальчик сидит, лет десяти, на лавке и на него смотрит. Подъехал он ближе, а мальчик встал и говорит: езжай домой, Коннов. Бог отвернулся от русских, я ваш последний ангел остался. Езжай, и живи, как есть, лучше не будет.

Перегнулся тогда Коннов с седла и ножом хватил его по горлу. Раз отвернулся, то и ангела нам последнего не надо, мы другога Бога сыщем. И ускакал.





## *Мертвый Алеша*

Алеша и Лена очень любили друг друга и не могли жить друг без друга и дня. Было им по семь лет и учились они в одном 1-ом «В» классе, сидели они тоже вместе. Никто не знал, что они очень сильно любят друг друга, они не рассказывали никому и скрывали это от других, это им было и не трудно, потому что они разговаривали, но никто не слышал, им не надо было и видеть друг друга, они слышали голоса свои.

Алешу Бог призвал к себе в помощники, Лена поклялась не забывать Алешу, но через десять лет забыла. Алеша воевал на небе за Божью славу.

## *На катке*

Виталик очень сильно любил Веру Фурсову. Он учился в четвертом классе, а она в седьмом, и за ней ухаживало много мальчиков, и плохих хулиганов и хороших отличников. Вечером, когда она каталась на катке, у Виталика так защемило сердце, что он не выдержал и взмолился неизвестно кому, и к нему явился вдруг взрослый мальчик Егор, который был не простой мальчик, а черт. Хочешь, я сделаю так, что когда она будет спать, ты окажешься в ее комнате, спросил он Виталика. Виталик согласился, и Егор привел его ночью к спящей Фурсовой. Хочешь делать, все что хочешь, сказал Егор, она не проснется.

Всю ночь Виталик сидел у ее постели и смотрел на нее спящую. На следующий день Егор снова явился к нему. Что же ты ничего не сделал спросил он у Виталика, и снова ночью привел его к спящей Фурсовой. И снова Виталик просидел у ее постели. На третью ночь Егор спросил его, хочешь, я сделаю так, чтобы она была голой? Виталик увидел Фурсову голой, ему стало плохо, что у нее между ног волосы. Убей ее, я не люблю ее больше, почему волосы, закричал он. Правильно, давай убьем ее, согласился Егор. Но тут вмешался Бог и все прекратил.

Виталик очнулся, когда у него был жар, но скоро болезнь прошла. Он вновь встретил на катке Фурсову в синем трико, возле нее были мальчики, она смеялась, ему стало так горько и тоскливо, что он заплакал, и ему стало очень легко.

## *Серебряный мизинчик*

Катя все время грустила и чего-то ждала. Все дети смеялись над ней, она убегала от них и сидела около кладбища. Как-то одна старая женщина подошла к ней и сказала: ты хорошая девочка, все твои желания сбудутся, и ты будешь самой счастливой, только отрежь себе мизинчик и похорони его. Катя сделала все, как она сказала. Ей было очень больно, она отрезала свой мизинец, и он стал серебряный. Катя похоронила его и жила без мизинца. Родители ее поругали, да и бросили.

Когда она выросла, к ним в город приехал один парень. Он и Катя сразу полюбили друг друга и поженились. Он был такой хороший, что все завидовали Кате, а она была очень счастлива. Это ее мизинчик стал ее мужем.

## *Три друга*

Три друга, терпеливый, веселый и грустный, они играли всегда вместе, когда им исполнилось по 6 лет, пришло время Богу рассмотреть эти создания и воздать им по заслугам.

## *Волшебные дети*

Очень опасно, обижать, дразнить, расстраивать волшебных детей. Они вспыльчивы и обидчивы, хотя по ним и трудно это определить из-за внешнего спокойного характера и поведения. Месть их столь ужасна, что человек может потом годами испытывать на себе проклятие этих

волшебных детей. Может быть, все закончится и смертью. Волшебные дети, свойства их необъяснимы...

## *Любопытный мужик Сергей Волков*

На хуторе Каменском было, этой весной, сам слышал.

Мужику Сергею Волкову не спалось, и вышел он из дома во двор, покурить. Сел у сарая на лавку, сидит, курит, за каменный забор смотрит. На улице тихо, темно, небо в тучах, да в таких низких, что прогнулись они чуть не до деревьев, но повыше.

Хутор этот, Каменка, и в солнечный день место страшное, с одной стороны гора, а за ней Александровская степь, с другой стороны гора, но поглаже, там дорога на Уранбаш, а потом и совсем не понятно, но можно и как-то до Оренбурга добраться полями, точно не знаю. И сидел этот Сергей Волков и курил, в третьем часу ночи, было ему сорок два года.

Вдруг слышит, кто-то вдоль улицы идет, ближе к их стороне, а асфальта у них нет, и шаги легкие. И вот вдоль его забора идет человек, до пояса видно, темный весь, черный даже, мужчина. Сергей сам по себе смелый да любопытный был, взял да и окликнул:

— Куда идешь, дядя? Ночь на дворе.

Человек остановился у забора, посмотрел на Сергея и отвечает весело да вкрадчиво:

— Это верно, что ночь, верно, а ты что не спишь?

— Да вот, бесы одолели, сижу томлюсь, — говорит Сергей, а сам всматривается в человека, а рассмотреть не может, черный силуэт и все.

— Что? — обозлился вдруг человек. — Что ж ты, дурак, говоришь, чего не знаешь, какие такие бесы, кто тебя, дурака, томит!

Вгляделся Сергей и вдруг увидел, что у того, где глаза должны быть, два красных огня разгораются алее алого.

Сергей Волков вдруг поднялся с лавки и молча в дом пошел, а самого аж закачало у крыльца. Он так ослабел, что одна нога совсем отнялась, и он, за перила цепляясь, заполз в дом, дверь запер, добрался до койки и к жене лег, уже совсем пьяный и холодный. И чувствует, что силы его оставляют, что умирает он, а пошевелинуться не может, только запищал как щенок, заскулил.

Жена очнулась, муж холодный, руки, ноги коченеют, а он по-щенячьи визжит, совсем тихо, и слезы из глаз бегут. Она перепугалась сначала, но женщина сильная была, стала его водкой оттирать, потом схватила кнут, перевернула мужа и давай сечь, по спине, рукам, ногам, и секла его час, пока он уже своим голосом не закричал, и тело его рубцами не разгорелось и закраснело.

## *Саша*

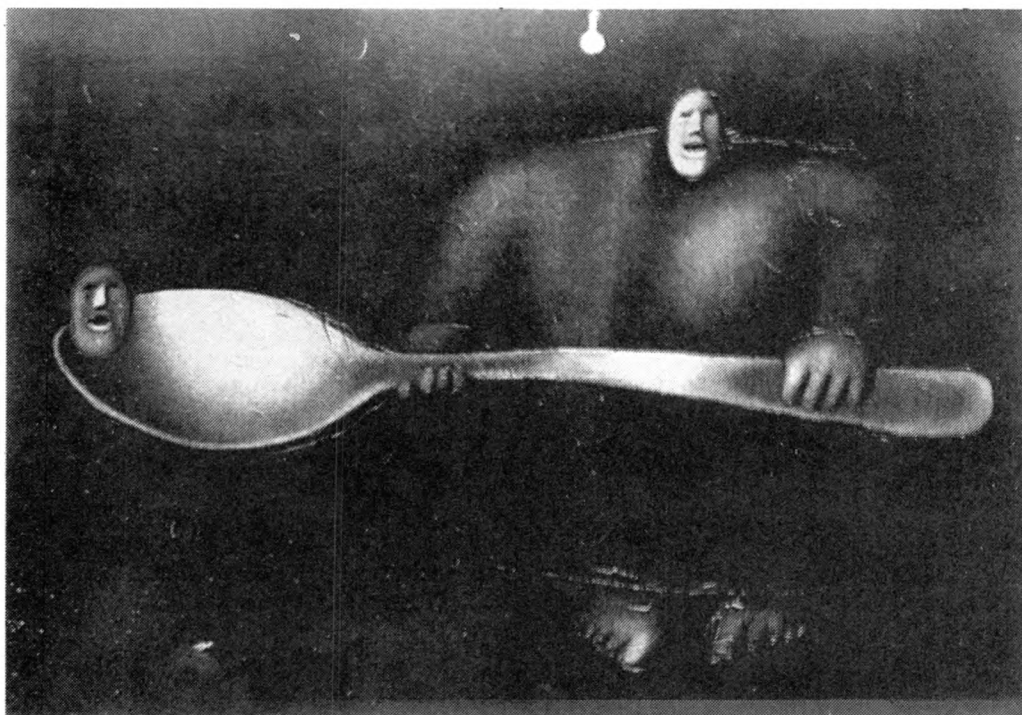
За Шашиным домом был хлебозавод. И когда хлеб пекли, до Шаши доносился кислый хлебный дух. Раньше Саша не понимал, был маленький. Хлебный дух мешался с запахом железной дороги и горящей травы, и у Шаши перехватывало дыхание. Ранним серым утром он сидел на балконе и, слыша карканье ворон, плакал от счастья, что все кончилось. Он вспоминал, как в прошлой жизни ему тесаком рубили пальцы.

## *Девочка Смерть*

В одном детском саду стали умирать дети, а один мальчик Петров знал от чего. К ним в сад приходила девочка смерть, но с ней никто не хотел играть, и она усыпляла детей. Петров стал с ней дружить, и она забрала его. «Мне здесь плохо, — сказал ей Петров, — я не хочу жить, со мной никто не играет, я люблю грустить.» И больше дети не умирали.

Когда мальчика Петрова хоронили, он улыбался. Похоронили его у часовни. Одна старуха посмотрела на него и сказала матери: что вы печалитесь, радуйтесь, ваш сын.. (сказка незакончена)





*Художник О. Целков*

## *Сказка о пасечнике Василии Вавилове*

Жил человек Василий Вавилов и он, закрывая глаза, видел Бога, и тот говорил ему, живи по слову моему и будешь ты счастлив. И слушался он Бога во всем и был счастлив, долго, всю жизнь.

Говорил Он ему, когда пахать и что сеять, когда траву косить и какие деревья рубить, где и какой зверь водится и в каких местах рыбу ловить и как дом и семью свою уберечь, и как говорил Он, так и делал Василий Вавилов.

Говорил Он строить ему, отрывать степные колодцы в долинах и холмах заповедных и окладывать камнем родники степные, в коих он, Бог, в жажду и зной отдыхает.

Сказал Он идти ему к Демидову, что умрет он завтра, скажи сыну его про жизнь твою, приведи дочь свою Наталью. Если он будет слушать тебя, отдай ему свою дочь в жены, будет же счастлив тоже, как и ты, пусть живет в доме своем на другой стороне от Салмыша в Александровской степи, и пусть дом его будет для всех путников открыт, а для чего, он потом узнает. Второму же сыну ничего не говори. Он пусть живет как сумеет, его доля проста.

Удивился Василий Вавилов и спросил Бога, зачем открываешь мне это все, почему мне говоришь, что и как делать и для чего меня перед другими выбрал.

Просто люб ты мне, земля под тобой священна и мила мне, отвечал Бог.

И слушался он Бога и был счастлив, долго, всю жизнь.

---

**Благодарим участников Ялтинского кинофорума, коллег и друзей за оказанную помощь в организации похорон нашего сына и брата Алексея Саморядова. Спасибо за любовь и память.**

***Семья Саморядовых, город Оренбург.***

# СО Д Е Р Ж А Н И Е

- Ретро*
- 3 А. Чанцев «Якобы кино» (про Плевацкую)  
9 В. Набоков «Помощник режиссера»  
3 «Дело Плевацкой» — архивные материалы
- Из классики зарубежного кино*
- 23 Вим Вендерс, Петер Хандке «Небо над Берлином»
- «Приз Эйзенштейна»*
- 67 Петр Лудик, Алексей Саморядов «Дикое поле»
- Продолжение следует*
- 86 Григорий Горин «Записки Брата Лоренцо»
- Новое имя*
- 106 Иван Охлобыстин «Урод»
- К 70-летию Параджанова*
- 129 Василий Катанян «Сережу или Страсти по Параджанову»
- Мемуары*
- 140 Валерий Фрид «58 1/2»
- Проза кинодраматургов*
- 155 Эдуард Тополь «Асины рассказы»  
171 Сказки Алексея Алексеевича Саморядова

Главный редактор Н.Рюрикова

Редакционно-общественный совет: В.Азнерников, Э.Акопов, И.Васильева, Г.Горин, А.Инин, Е.Клейнер, А.Кривичина, А.Мамилев, А.Медведев, В.Мережко, Н.Рязанцева, М.Сергиенко (отв. секретарь), П.Финн, В.Фрид, А.Червинский, В.Черных.

Выпускающий редактор Л.Гапон, корректор И.Шорсткина

Рукописи не рецензируются и не возвращаются

---

Сдано в набор 11.03.94. Подписано к печати 13.04.94. Формат 70х100/16. Усл.печ.л. 14,5. Усл.кр. отт. 14,5. Печать офсетная. Бумага типогр. офсетная. Гарн. «гельветика». Заказ № 2705

---

Адрес редакции: 103006, Москва, Воротниковский пер., 12

Телефоны: 299-11-78, 299-47-74, 209-60-23

Чеховский полиграфкомбинат

142300, г. Чехов, Московской обл.

Оригинал-макет подготовлен в компьютерном центре издательства «Дивин»



**ВИМ ВЕНДЕРС «НЕБО НАД БЕРЛИНОМ»**  
Читайте в номере на стр.23

**Последний  
сценарий  
ФАССБИНДЕРА  
«КОКАИН»**

**читайте  
в следующем  
номере**

**наш индекс 70434  
в Приложении к  
Каталогу Роспечати**

**КИНО** сценарии **№2**

